

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tolstoyleo.ru/> приятного чтения!

Собрание сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой

О жизни

L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt: et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Ainsi, toute notre dignité consiste dans la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, non de l'espace et de la durée. Travaillons donc à bien penser: voilà le principe de la morale.

Pasca]*[1].

Zwei Dinge erfüllen mir das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nacdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir... Das erste fängt von dem Platze an, den ich in der äusseren Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Grosse mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, überdenn noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. Das zweite fängt von meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit an, und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstande spürbar ist, und mit welcher ich mich, nicht wie dort in blos zufälliger, sondern allgemeiner und notwendiger Verknüpfung erkenne.

Kant.* [Krit. der pract. Vern. Beschluss].[2]

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга».

Ев. Иоан. XII, 34.

Вступление

Представим себе человека, которого единственным средством к жизни была бы мельница. Человек этот – сын и внук мельника и по преданию твердо знает, как надо во всех частях ее обращаться с мельницей, чтобы она хорошо молотла. Человек этот, не зная механики, прилаживал, как умел, все части мельницы так, чтобы размол был спорый, хороший, и человек жил и кормился.

Но случилось этому человеку раздуматься над устройством мельницы, услышать кое-какие неясные толки о механике, и он стал наблюдать, что от чего вертится.

И от порхлицы до жернова, от жернова до вала, от вала до колеса, от колеса до заставок, плотины и воды, дошел до того, что ясно понял, что все дело в плотине и в реке. И человек так обрадовался этому открытию, что вместо того, чтобы, по-прежнему, сличая качество выходящей муки, опускать и поднимать жернова, ковать их, натягивать и ослаблять ремень, стал изучать реку. И мельница его совсем разладилась. Стали мельнику говорить, что он не то делает. Он спорил и продолжал рассуждать о реке. И так много и долго работал над этим, так горячо и много спорил с теми, которые показывали ему неправильность его приема мысли, что под конец и сам убедился в том, что река и есть самая мельница.

На все доказательства неправильности его рассуждений, такой мельник будет отвечать: никакая мельница не мелет без воды; следовательно, чтоб знать мельницу, надо знать, как пускать воду, надо знать силу ее движения и откуда она берется, – следовательно, чтобы знать мельницу, надо познать реку.

Логически мельник неопровержим в своем рассуждении. Единственное средство вывести его из его заблуждения состоит в том, чтобы показать ему, что в каждом рассуждении не столько важно само рассуждение, сколько занимаемое рассуждением место, т. е. что для того, чтобы плодотворно мыслить, необходимо знать, о чем прежде надо мыслить и о чем после; показать ему, что разумная деятельность отличается от безумной только тем, что разумная деятельность распределяет свои рассуждения по порядку их важности: какое рассуждение должно быть 1-м, 2-м, 3-м, 10-м и т. д. Безумная же деятельность состоит в рассуждениях без этого порядка. Нужно показать ему и то, что определение этого порядка не случайно, а зависит от той цели, для которой и производятся рассуждения.

Цель всех рассуждений и устанавливает порядок, в котором должны располагаться отдельные рассуждения, для того чтобы быть разумными.

И рассуждение, не связанное с общей целью всех рассуждений, безумно, как бы оно ни было логично.

Цель мельника в том, чтобы у него был хороший размол, и эта-то цель, если он не будет упускать ее из вида, определит для него несомненный порядок и последовательность его рассуждений о жерновах, о колесе, плотине и о реке.

Без этого же отношения к цели рассуждений, рассуждения мельника, как бы они ни были красивы и логичны, сами в себе будут неправильны и, главное, праздны; будут подобны рассуждениям Кифы Мокеевича*, рассуждавшего о том, какой толщины должна бы быть скорлупа слоновяго яйца, если бы слоны выводились из яиц как птицы. И таковы, по моему мнению, рассуждения нашей современной науки о жизни.

Жизнь есть та мельница, которую хочет исследовать человек. Мельница нужна для того, чтобы она хорошо молола, жизнь нужна только затем, чтобы она была хорошая. И эту цель исследования человек не может покидать ни на одно мгновение безнаказанно. Если он покинет ее, то его рассуждения неизбежно потеряют свое место и сделаются подобны рассуждениям Кифы Мокеевича о том, какой нужен порох, чтобы пробить скорлупу слоновяго яиц.

Исследует человек жизнь только для того, чтобы она была лучше. Так и исследовали жизнь люди, подвигающие вперед человечество на пути знания. Но, рядом с этими истинными учителями и благодетелями человечества, всегда были и теперь есть рассудители, покидающие цель рассуждения и вместо нее разбирающие вопрос о том, отчего происходит жизнь, отчего вертится мельница. Одни утверждают, что от воды, – другие, что от устройства. Спор разгорается, и предмет рассуждения отодвигается все дальше и дальше и совершенно заменяется чуждыми предметами.

Есть старинная шутка о споре жидовина с христианином. Рассказывается, как христианин, отвечая на запутанные тонкости жидовина, ударил его ладонью по плечи так, что щелкнуло, и задал вопрос: от чего щелкнуло? от ладони или от плечи? И спор о вере заменился новым неразрешимым вопросом.

Что-то подобное с древнейших времен рядом с истинным знанием людей происходит и по отношению к вопросу о жизни.

С древнейших времен известны рассуждения о том, отчего происходит жизнь? от невещественного начала или от различных комбинаций материи? И рассуждения эти продолжают до сих пор, так что не предвидится им никакого конца, именно потому, что цель всех рассуждений оставлена и рассуждается о жизни независимо от ее цели; и под словом жизнь разумеют уж не жизнь, а то, отчего она происходит, или то, что ей сопутствует.

Теперь, не только в научных книжках, но и в разговорах, говоря о жизни, говорят не о той, которую мы все знаем, – о жизни, сознаваемой мною теми страданиями, которых я боюсь и которые ненавижу, и теми наслаждениями и радостями, которых я желаю; а о чем-то таком, что, может быть, возникло из игры случайности по некоторым физическим законам, а может быть и от того, что имеет в себе таинственную причину.

Теперь слово «жизнь» приписывается чему-то спорному, не имеющему в себе главных признаков жизни: сознания страданий и наслаждений, стремления к благу.

«La vie est l'ensemble des fonctions, qui résistent à la mort. La vie est l'ensemble des phénomènes, qui se succèdent pendant un temps limité dans un être organisé».

«Жизнь есть двойной процесс разложения и соединения, общего и вместе с тем непрерывного. Жизнь есть известное сочетание разнородных изменений, совершающихся последовательно. Жизнь есть организм в действии. Жизнь есть особенная деятельность органического вещества. Жизнь есть приспособление внутренних отношений к внешним».

Не говоря о неточностях, тавтологиях, которыми наполнены все эти определения,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
сущность их всех одинакова, именно та, что определяется не то, что все люди
одинаково бесспорно разумеют под словом «жизнь», а какие-то процессы,
сопутствующие жизни и другим явлениям.

Под большинство этих определений подходит деятельность восстанавливающегося кристалла; под некоторые подходит деятельность брожения, гниения, и под все подходит жизнь каждой отдельной клеточки моего тела, для которых нет ничего – ни хорошего, ни дурного. Некоторые процессы, происходящие в кристаллах, в протоплазме, в ядре протоплазмы, в клеточках моего тела и других тел, называют тем словом, которое во мне неразрывно соединено с сознанием стремления к моему благу.

Рассуждение о некоторых условиях жизни, как о жизни, все равно, что рассуждение о реке, как о мельнице. Рассуждения эти, может быть, для чего-нибудь очень нужны. Но рассуждения эти не касаются того предмета, который они хотят обсуживать. И потому все заключения о жизни, выводимые из таких рассуждений, не могут не быть ложны.

Слово «жизнь» очень коротко и очень ясно, и всякий понимает, что оно значит. Но именно потому, что все понимают, что оно значит, мы и обязаны употреблять его всегда в этом понятном всем значении. Ведь слово это понятно всем не потому, что оно очень точно определено другими словами и понятиями, а, напротив, потому, что слово это означает основное понятие, из которого выводятся многие, если не все другие понятия, и поэтому для того, чтобы делать выводы из этого понятия, мы обязаны прежде всего принимать это понятие в его центральном, бесспорном для всех значении. А это-то самое, мне кажется, и было упущено спорящими сторонами по отношению к понятию жизни. Случилось то, что основное понятие жизни, взятое вначале не в его центральном значении, вследствие споров о нем все более и более удаляясь от основного, всеми признаваемого центрального значения, потеряло наконец свой основной смысл и получило другое, несоответствующее ему значение. Сделалось то, что самый центр, из которого описывали фигуры, оставлен и перенесен в новую точку.

Спорят о том, есть ли жизнь в клеточке или в протоплазме или еще ниже, в неорганической материи? Но прежде чем спорить, надо спросить себя: имеем ли мы право приписывать понятие жизни клеточке?

Мы говорим, например, что в клеточке есть жизнь, что клеточка есть живое существо. А между тем основное понятие жизни человеческой и понятие той жизни, которая есть в клеточке, суть два понятия, не только совершенно различные, но и несоединимые. Одно понятие исключает другое. Я открываю, что мое тело все без остатка состоит из клеточек. Клеточки эти, мне говорят, имеют то же свойство жизни, как и я, и суть такие же живые существа, как и я; но себя я признаю живым только потому, что я сознаю себя со всеми клеточками, составляющими меня, одним нераздельным живым существом. Весь же я без остатка, мне говорят, составлен из живых клеточек. Чему же я припишу свойство жизни – клеточкам или себе? Если я допущу, что клеточки имеют жизнь, то я от понятия жизни должен отвлечь главный признак своей жизни, сознание себя единым живым существом; если же я допущу, что я имею жизнь, как отдельное существо, то очевидно, что клеточкам, из которых состоит все мое тело и о сознании которых я ничего не знаю, я никак не могу приписать того же свойства.

Или я живой и во мне есть неживые частицы, называемые клеточками, – или есть сонмище живых клеточек, а мое сознание жизни не есть жизнь, а только иллюзия.

Мы ведь не говорим, что в клеточке есть что-то такое, что мы называем брызнь, а говорим, что есть «жизнь». Мы говорим: «жизнь», потому что под этим словом разумеем не какой-то х, а вполне определенную величину, которую мы знаем все одинаково и знаем только из самих себя, как сознание себя с своим телом единым, нераздельным с собою, и потому такое понятие неотнормировано к тем клеточкам, из которых состоит мое тело.

Какими бы исследованиями и наблюдениями ни занимался человек, для выражения своих наблюдений он обязан под каждым словом разумеет то, что всеми одинаково бесспорно разумеется, а не какое-либо такое понятие, которое ему нужно, но никак не сходится с основным, всем известным понятием. Если можно слово «жизнь» употреблять так, что оно обозначает безразлично: и свойство всего предмета, и совсем другие свойства всех составных частей его, как это делается с клеточкой и

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 животным, состоящим из клеточек, то можно также употреблять и другие слова, – можно, например, говорить, что так как все мысли из слов, а слова из букв, а буквы из черточек, то рисование черточек есть то же, что изложение мыслей, и потому черточки можно назвать мыслями.

Самое обычное явление, например, в научном мире – слышать и читать рассуждения о происхождении жизни из игры физических, механических сил.

Да едва ли не большинство научных людей держится этого... затрудняюсь, как сказать... мнения не мнения, парадокса не парадокса, а скорее шутки или загадки.

Утверждается, что жизнь происходит от игры физических и механических сил, – тех физических сил, которые мы назвали физическими и механическими только в противоположность понятию жизни.

Очевидно, что неправильно прилагаемое к чуждым ему понятиям слово «жизнь», уклоняясь далее и далее от своего основного значения, в этом значении удалилось от своего центра до того, что жизнь предполагается уже там, где, по нашему понятию, жизни и быть не может. Утверждается подобное тому, что есть такой круг или шар, в котором центр вне его периферии.

В самом деле, жизнь, которую я не могу себе представить иначе, как стремлением от зла к благу, происходит в той области, где я не могу видеть ни блага, ни зла. Очевидно, что центр понятия жизни перестановлен совсем. Мало того, следя за исследованиями об этом чем-то, называемом жизнью, я вижу даже, что исследования эти и не касаются почти никаких известных мне понятий. Я вижу целый ряд новых понятий и слов, имеющих свое условное значение в научном языке, но не имеющих ничего общего с существующими понятиями.

Известное мне понятие жизни понимается не так, как все понимают его, и выводные из него понятия тоже не сходятся с обычными понятиями, а являются новые, условные понятия, получающие соответствующие выдуманные названия.

Человеческий язык вытесняется все более и более из научных исследований, и вместо слова, средства выражения существующих предметов и понятий, воцаряется научный воляпюк, отличающийся от настоящего воляпюка только тем, что настоящий воляпюк общими словами называет существующие предметы и понятия, а научный – несуществующими словами называет несуществующие понятия.

Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия. Если же можно употреблять слова как попало и под словами разумеать, что нам вздумается, то лучше уж не говорить, а показывать все знаками.

Я согласен, что определять законы мира из одних выводов разума без опыта и наблюдения есть путь ложный и ненаучный, т. е. не могущий дать истинного знания; но если изучать явления мира опытом и наблюдениями, и вместе с тем руководствоваться в этих опытах и наблюдениях понятиями не основными, общими всем, а условными, и описывать результаты этих опытов словами, которым можно приписывать различное значение, то не будет ли еще хуже? Самая лучшая аптека принесет величайший вред, если ярлыки на банках будут наклеиваться не по содержанию, а как удобнее аптекарю.

Но мне скажут: наука и не ставит себе задачей исследования всей совокупности жизни (включая в нее волю, желание блага и душевный мир); она только делает отвлечение от понятия жизни тех явлений, которые подлежат ее опытным исследованиям.

Вот это было бы прекрасно и законно. Но мы знаем, что это совсем не так в представлении людей науки нашего времени. Если бы было прежде всего признано понятие жизни в его центральном значении, в том, в котором все его понимают, и потом было бы ясно определено, что наука, сделав от этого понятия отвлечение всех сторон его, кроме одной, подлежащей внешнему наблюдению, рассматривает явления с одной этой стороны, для которой она имеет свойственные ей методы исследования, тогда бы было прекрасно и было бы совсем другое дело: тогда и место, которое заняла бы наука, и результаты, к которым бы мы приходили на основании науки, были бы совсем другие. Надо говорить то, что есть, а не

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
скрывать того, что мы все знаем. Разве мы не знаем, что большинство
опытно-научных исследователей жизни вполне уверены, что они изучают не одну
только сторону жизни, а всю жизнь.

Астрономия, механика, физика, химия и все другие науки вместе, и каждая порознь, разрабатывают каждая подлежащую ей сторону жизни, не приходя ни к каким результатам о жизни вообще. Только во времена своей дикости, т. е. неясности, неопределенности, некоторые науки эти пытались с своей точки зрения охватить все явления жизни и путались, сами выдумывая новые понятия и слова. Так это было с астрономией, когда она была астрологией, так было и с химией, когда она была алхимией. То же происходит и теперь с той опытной эволюционной наукой, которая, рассматривая одну сторону или некоторые стороны жизни, заявляет притязания на изучение всей жизни.

Люди с таким ложным взглядом на свою науку никак не хотят признать того, что их исследованиям подлежат только некоторые стороны жизни, но утверждают, что вся жизнь со всеми ее явлениями будет исследована ими путем внешнего опыта. «Если, – говоря? они, – «психика» (они любят это неопределенное слово своего воляпюка) неизвестна еще нам, то она будет нам известна». Исследуя одну или несколько сторон жизненных явлений, мы узнаем все стороны; т. е., другими словами, что если очень долго и усердно смотреть на предмет с одной стороны, то мы увидим предмет со всех сторон и даже из середины.

Как ни удивительно такое странное учение, объяснимое только фанатизмом суеверия, оно существует, и, как всякое дикое фанатическое учение, производит свое гибельное влияние, направляя деятельность человеческой мысли на путь ложный и праздный. Гибнут добросовестные труженики, посвящающие свою жизнь на изучение почти ненужного, гибнут материальные силы людей, направляясь туда, куда не нужно, гибнут молодые поколения, направляемые на самую праздную деятельность киф Мокеевичей, возведенную на степень высшего служения человечеству.

Говорят обыкновенно: наука изучает жизнь со всех сторон. Да в том-то и дело, что у всякого предмета столько же сторон, сколько радиусов в шаре, т. е. без числа, и что нельзя изучать со всех сторон, а надо знать, с какой стороны важнее, нужнее, и с которой менее важно и менее нужно. Как нельзя подойти к предмету сразу со всех сторон, так нельзя сразу и со всех сторон изучать явления жизни. И волей-неволей устанавливается последовательность. Вот в ней-то и все дело. Последовательность же эта дается только разумением жизни.

Только правильное разумение жизни дает должное значение и направление науке вообще и каждой науке в особенности, распределяя их по важности их значения относительно жизни. Если же разумение жизни не таково, каким оно вложено во всех нас, то и самая наука будет ложная.

Не то, что мы назовем наукой, определит жизнь, а наше понятие о жизни определит то, что следует признать наукой. И потому, для того, чтобы наука была наукой, должен быть прежде решен вопрос о том, что есть наука и что не наука, а для этого должно быть уяснено понятие о жизни.

Скажу откровенно всю свою мысль: мы все знаем основной догмат веры этой ложной опытной науки.

Существует материя и ее энергия. Энергия движет, движение механическое переходит в молекулярное, молекулярное выражается теплом, электричеством, нервной, мозговой деятельностью. И все без исключения явления жизни объясняются отношениями энергий. Все так красиво, просто, ясно, и, главное, удобно. Так что, если нет всего того, чего нам так хочется и что так упрощает нашу жизнь, то все это надо как-нибудь выдумать.

И вот вся моя дерзкая мысль: главная доля энергии, страстности деятельности опытной науки зиждется на желании выдумать все то, что нужно для подтверждения столь удобного представления.

Во всей деятельности этой науки видишь не столько желание исследовать явления жизни, сколько одну, всегда присущую заботу доказать справедливость своего основного догмата. Что потрачено сил на попытки объяснений происхождения органического из неорганического и психической деятельности из процессов организма? Не переходит органическое в неорганическое; поищем на дне моря –

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 найдем штуку, которую назовем ядром, монерой*.

И там нет; будем верить, что найдется, – тем более, что к нашим услугам целая бесконечность веков, куда мы можем спихивать все, что должно бы быть по нашей вере, но чего нет в действительности.

То же и с переходом из органической деятельности в психическую. Нет еще? Но мы верим, что будет, и все усилия ума употребляем на то, чтобы доказать хоть возможность этого.

Споры о том, что не касается жизни, именно о том, отчего происходит жизнь: анимизм ли это, витализм ли, или понятие еще особой какой силы, скрыли от людей главный вопрос жизни, – тот вопрос, без которого понятие жизни теряет свой смысл, и привели понемногу людей науки, – тех, которые должны вести других, – в положение человека, который идет и даже очень торопится, но забыл, куда именно.

Но, может быть, я и умышленно стараюсь не видеть тех огромных результатов, которые дает наука в теперешнем ее направлении? Но ведь никакие результаты не могут исправить ложного направления. Допустим невозможное, – то, что всё, что желает познать теперешняя наука о жизни, о чем утверждает (хотя и сама не веря в это), что все это будет открыто: допустим, что все открыто, все ясно как день. Ясно, как из неорганической материи зарождается через приспособление органическое; ясно, как физические энергии переходят в чувства, волю, мысль, и все это известно не только гимназистам, но и деревенским школьникам.

Мне известно, что такие-то мысли и чувства происходят от таких-то движений. Ну, и что ж? Могу ли я или не могу руководить этими движениями, чтобы возбуждать в себе такие или другие мысли? Вопрос о том, какие мне надо возбуждать в себе и других мысли и чувства, остается не только нерешенным, но даже незатронутым.

Знаю я, что люди науки не затрудняются отвечать на этот вопрос. Решение этого вопроса им кажется очень просто, как просто всегда кажется решение трудного вопроса тому человеку, который не понимает его. Решение вопроса о том, как устроить жизнь, когда она в нашей власти, для людей науки кажется очень просто. Они говорят: устроить так, чтобы люди могли удовлетворять своим потребностям; наука выработает средства, во-первых, для того, чтобы правильно распределять удовлетворение потребностей, а во-вторых, средства производить так много и легко, что все потребности легко будут удовлетворены, и люди тогда будут счастливы.

Если же спросишь, что называется потребностью и где пределы потребностей? то на это также просто отвечают: наука-на то наука, чтобы распределить потребности на физические, умственные, эстетические, даже нравственные, и ясно определить, какие потребности и в какой мере законны и какие и в какой мере незаконны.

Она со временем определит это. Если же спросить, чем руководствоваться в определении законности и незаконности потребностей? то на это смело отвечают: изучением потребностей. Но слово потребность имеет только два значения: или условие существования, а условий существования каждого предмета бесчисленное количество, и потому все условия не могут быть изучены, или требование блага живым существом, познаваемое и определяемое только сознанием и потому еще менее могущее быть изученным опытной наукой.

Есть такое учреждение, корпорация, собрание, что ли, людей или умов, которое непогрешимо, и называется наука. Оно все это определит со временем.

Разве не очевидно, что такое решение вопроса есть только перефразированное царство Мессии, в котором роль Мессии играет наука, а что для того, чтобы объяснение такое объясняло что-нибудь, необходимо верить в догматы науки так же бесконтрольно, как верят евреи в Мессию, что и делают правоверные науки, – с той только разницей, что правоверному еврею, представляющему себе в Мессии посланника божия, можно верить в то, что он все своей властью устроит отлично; для правоверного же науки по существу дела нельзя верить в то, чтобы посредством внешнего изучения потребностей можно было решить главный и единственный вопрос о жизни.

Глава I
Основное противоречие человеческой жизни

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Живет всякий человек только для того, чтобы ему было хорошо, для своего блага. Не чувствует человек желания себе блага, – он и не чувствует себя живущим. Человек не может себе представить жизни без желания себе блага. Жить для каждого человека все равно, что желать и достигать блага; желать и достигать блага – все равно, что жить.

Жизнь чувствует человек только в себе, в своей личности, и потому сначала человеку представляется, что благо, которого он желает, есть благо только его личности. Ему сначала кажется, что живет, истинно живет только он один. Жизнь других существ представляется ему совсем не такою, как своя, – она представляется ему только подобием жизни; жизнь других существ человек только наблюдает и только из наблюдений узнает, что они живут. Про жизнь других существ человек знает, когда хочет думать о них, но про себя он знает, ни на секунду не может перестать знать, что он живет, и потому настоящею жизнью представляется каждому человеку только своя жизнь. Жизнь других существ, окружающих его, представляется ему только одним из условий его существования. Если он не желает зла другим, то только потому, что вид страдания других нарушает его благо. Если он желает добра другим, то совсем не так, как себе, – не для того, чтобы было хорошо тому, кому он желает добра, а только для того, чтобы благо других существ увеличивало благо его жизни. Важно и нужно человеку только благо в той жизни, которую он чувствует своею, т. е. свое благо.

И вот, стремясь к достижению этого своего блага, человек замечает, что благо это зависит от других веществ. И, наблюдая и рассматривая эти другие существа, человек видит, что все они, и люди, и даже животные, имеют точно такое же представление о жизни, как и он. Каждое из этих существ точно так же, как и он, чувствует только свою жизнь и свое благо, считает только свою жизнь важною и настоящею, а жизнь всех других существ только средством для своего блага. Человек видит, что каждое из живых существ точно так же, как и он, должно быть готово, для своего маленького блага, лишиться большего блага и даже жизни все другие существа, а в том числе и его, так рассуждающего человека. И, поняв это, человек невольно делает то соображение, что если это так, – а он знает, что это несомненно так, – то не одно и не десяток существ, а все бесчисленные существа мира, для достижения каждого своей цели, всякую минуту готовы уничтожить его самого, – того, для которого одного и существует жизнь. И, поняв это, человек видит, что его личное благо, в котором одном он понимает жизнь, не только не может быть легко приобретено им, но, наверное, будет отнято от него.

Чем дальше человек живет, тем больше рассуждение это подтверждается опытом, и человек видит, что жизнь мира, в которой он участвует, составленная из связанных между собой личностей, желающих истребить и съесть одна другую, не только не может быть для него благом, но будет, наверное, великим злом.

Но мало того: если даже человек и поставлен в такие выгодные условия, что он может успешно бороться с другими личностями, не боясь за свою, очень скоро и разум и опыт показывают ему, что даже те подобия блага, которые он урывает из жизни, в виде наслаждений личности, не блага, а как будто только образчики блага, данные ему только для того, чтобы он еще живее чувствовал страдания, всегда связанные с наслаждениями. Чем дольше живет человек, тем яснее он видит, что наслаждений все становится меньше и меньше, а скуки, пресыщения, трудов, страданий все больше и больше. Но мало и этого: начиная испытывать ослабление сил и болезни и глядя на болезни и старость, смерть других людей, он замечает еще и то, что и самое его существование, в котором одном он чувствует настоящую, полную жизнь, каждым часом, каждым движением приближается к ослаблению, старости, смерти; что жизнь его, кроме того, что она подвержена тысячам случайностей уничтожения от других борющихся с ним существ и все увеличивающимся страданиям, но самому свойству своему есть только не переставшее приближение к смерти, к тому состоянию, в котором вместе с жизнью личности наверное уничтожится всякая возможность какого бы то ни было блага личности. Человек видит, что он, его личность – то, в чем одном он чувствует жизнь, только и делает, что борется с тем, с чем нельзя бороться, – со всем миром; что он ищет наслаждений, которые дают только подобия блага и всегда кончаются страданиями, и хочет удержать жизнь, которую нельзя удержать. Человек видит, что он сам, сама его личность, – то, для чего одного он желает блага и жизни, – не может иметь ни блага, ни жизни. А то, что он желает иметь: благо и жизнь, имеют только те чуждые ему существа, которых он не чувствует и не может чувствовать и про существование которых он знает и не может и не хочет.

То, что для него важнее всего и что одно нужно ему, что – ему кажется, – одно живет по-настоящему, его личность, то гибнет, то будет кости, черви – не он; а то, что для него не нужно, не важно, что он не чувствует живущим, весь этот мир борющихся и сменяющихся существ, то и есть настоящая жизнь, то останется и будет жить вечно. Так что та единственно чувствуемая человеком жизнь, для которой происходит вся его деятельность, оказывается чем-то обманчивым и невозможным, а жизнь вне его, нелюбимая, не чувствуемая им, неизвестная ему, и есть единая настоящая жизнь.

То, чего он не чувствует, то только и имеет те свойства, которые он один желал бы иметь. И это не то – что так представляется человеку в дурные минуты его унылого настроения – это не представление, которое можно не иметь, а это, напротив, такая очевидная, несомненная истина, что если мысль эта сама хоть раз придет человеку, или другие хоть раз растолкуют ему ее, то он никогда уж не отделяется от нее, ничем не выжмет ее из своего сознания.

Глава II

Противоречие жизни сознано человечеством с древнейших времен. Просветители человечества открывали людям определения жизни, разрешающие это внутреннее противоречие, но фарисеи и книжники скрывают их от людей. Единственная представляющаяся сначала человеку цель жизни есть благо его личности, но блага для личности не может быть; если бы и было в жизни нечто, похожее на благо, то жизнь, в которой одной возможно благо, жизнь личности, каждым движением, каждым дыханием неудержимо влечется к страданиям, к злу, к смерти, к уничтожению.

И это так очевидно и так ясно, что всякий мыслящий человек, и молодой и старый, и образованный и необразованный, всякий видит это. Рассуждение это так просто и естественно, что оно представляется всякому человеку разумному и с древнейших времен было известно человечеству.

«Жизнь человека, как личности, стремящейся только к своему благу, среди бесконечного числа таких же личностей, уничтожающих друг друга и самих уничтожающихся, есть зло и бессмыслица, и жизнь истинная не может быть такою».

С древнейших времен сказал себе это человек, и это внутреннее противоречие жизни человека с необычайной силой и ясностью было выражено в индийскими, и китайскими, и египетскими, и греческими, и еврейскими мудрецами, и с древнейших времен разум человека был направлен на познание такого блага человека, которое не уничтожалось бы борьбой существ между собою, страданиями и смертью. В большем и большем уяснении этого несомненного, ненарушимого борьбою, страданиями и смертью блага человека и состоит все движение вперед человечества с тех пор, как мы знаем его жизнь.

С самых древних времен и в самых различных народах великие учителя человечества открывали людям все более и более ясные определения жизни, разрешающие ее внутреннее противоречие, и указывали им истинное благо и истинную жизнь, свойственные людям. А так как положение в мире всех людей одинаково и потому одинаково для всякого человека противоречие его стремления к своему личному благу и сознания невозможности его, то одинаковы, по существу, и все определения истинного блага и потому истинной жизни, открытые людям величайшими умами человечества.

«Жизнь – это распространение того света, который для блага людей сошел в них с неба», сказал Конфуций за 600 лет до Р. Х.

«Жизнь – это странствование и совершенствование душ, достигающих все большего и большего блага», сказали брамины того же времени. «Жизнь – это отречение от себя для достижения блаженной нирваны», сказал Будда, современник Конфуция. «Жизнь – это путь смирения и унижения для достижения блага», сказал Лао-Дзи, тоже современник Конфуция. «Жизнь – это то, что вдунул бог в ноздри человека, для того, чтобы он, исполняя его закон, получил благо», говорит еврейская мудрость. «Жизнь – это подчинение разуму, дающее благо человеку», сказали стоики. «Жизнь – это любовь к богу и ближнему, дающая благо человеку», сказал Христос, включая в свое определение все предшествующие.

Таковы определения жизни, которые за тысячи лет до нас, указывая людям вместо ложного и невозможного блага личности действительное, неуничтожимое благо,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 разрешают противоречие человеческой жизни и дают ей разумный смысл. Можно не соглашаться с этими определениями жизни, можно предполагать, что определения эти могут быть выражены точнее и яснее, но нельзя не видеть того, что определения эти таковы, что признание их, уничтожая противоречие жизни и заменяя стремление к недостижимому благу личности другим стремлением – к неуничтожаемому страданиями и смертью благу, дает жизни разумный смысл. Нельзя не видеть и того, что определения эти, будучи теоретически верны, подтверждаются и опытом жизни, и что миллионы людей, признававшие и признающие такие определения жизни, на деле показывали и показывают возможность замены стремления к благу личности другим стремлением к благу такому, которое не нарушается страданиями и смертью.

Но кроме тех людей, которые понимали и понимают определения жизни, открытые людям великими просветителями человечества, и живут ими, всегда было и есть огромное большинство людей, которые в известный период жизни, а иногда во всю свою жизнь, жили и живут одной животной жизнью, не только не понимая тех определений, которые служат разрешением противоречия человеческой жизни, но не видя даже и того противоречия ее, которое они разрешают. И всегда были и теперь есть среди этих людей еще такие люди, которые вследствие своего внешнего исключительного положения считают себя призванными руководить человечеством и сами, не понимая смысла человеческой жизни, учили и учат других людей жизни, которой они не понимают: тому, что жизнь человеческая есть не что иное, как личное существование.

Такие ложные учителя существовали во все времена и существуют и в наше время. Одни исповедуют на словах учения тех просветителей человечества, в преданиях которых они воспитаны, но, не понимая их разумного смысла, обращают эти учения в сверхъестественные откровения о прошедшей и будущей жизни людей и требуют только исполнения обрядов. Это учение фарисеев в самом широком смысле, т. е. людей, учащих тому, что сама в себе неразумная жизнь может быть исправлена верою в другую жизнь, приобретаемую исполнением внешних обрядов.

Другие, не признающие возможности никакой другой жизни, кроме видимой, отрицают всякие чудеса и все сверхъестественное и смело утверждают, что жизнь человека есть не что иное, как его животное существование от рождения и до смерти. Это учение книжников, – людей, учащих тому, что в жизни человека, как животного, и нет ничего неразумного.

И те и другие лжеучители, несмотря на то, что учения и тех и других основаны на одном и том же грубом непонимании основного противоречия человеческой жизни, всегда враждовали и враждуют между собой. Оба учения эти царствуют в нашем мире и, враждуя друг с другом, наполняют мир своими спорами, – этими самыми спорами скрывая от людей те определения жизни, открывающие путь к истинному благу людей, которые уже за тысячи лет даны человечеству.

Фарисеи, не понимая того определения жизни, которое дано людям теми учителями, в преданиях которых они воспитаны, заменяют его своими лжетолкованиями о будущей жизни и вместе с тем стараются скрыть от людей определения жизни других просветителей человечества, выставляя их перед своими учениками в самом их грубом и жестоком извращении, полагая тем поддержать исключительный авторитет того учения, на котором они основывают свои толкования. [3]

Книжники же, и не подозревая в фарисейских учениях тех разумных основ, на которых они возникли, прямо отрицают всякие учения о будущей жизни и смело утверждают, что все эти учения не имеют никакого основания, а суть только остатки грубых обычаев невежества, и что движение вперед человечества состоит в том, чтобы не задавать себе никаких вопросов о жизни, выходящих за пределы животного существования человека.

Глава III

Заблуждения книжников

И удивительное дело! То, что все учения великих умов человечества так поражали людей своим величием, что грубые люди придавали им большей частью сверхъестественный характер и признавали основателей их полубогами, – то самое, что служит главным признаком значительности этих учений, – это самое обстоятельство и служит для книжников лучшим, как им кажется, доказательством неправильности и отсталости этих учений. То, что незначительные учения Аристотеля, Бэкона, Конта и других оставались и остаются всегда достойным малого числа их читателей и почитателей и по своей ложности никогда не могли

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
влиять на массы и потому не подверглись суеверным искажениям и наростам, этот-то признак незначительности их признается доказательством их истинности. Учения же браминов, Будды, Зороастра, Лаодзы, Конфуция, Исаии, Христа считаются суевериями и заблуждениями только потому, что эти учения переворачивали жизнь миллионов.

То, что по этим суевериям жили и живут миллиарды людей, потому что даже и в искаженном виде они дают людям ответы на вопросы об истинном благе жизни, то, что учения эти не только разделяются, но служат основой мышления лучших людей всех веков, а что теории, признаваемые книжниками, разделяются только ими самими, всегда оспариваются и не живут иногда и десятков лет, и забываются так же быстро, как возникают, не смущает их нисколько.

Ни в чем с такою яркостью не выражается то ложное направление знания, которому следует современное общество, как то место, которое занимают в этом обществе учения тех великих учителей жизни, по которым жило и образовывалось и продолжает жить и образовываться человечество. В календарях значится, в отделе статистических сведений, что вор, исповедуемых теперь обитателями земного шара, – 1000. В числе этих вер предполагаются буддизм, брамаизм, конфуцианство, таосизм и христианство. Вер 1000, и люди нашего времени совершенно искренно верят в это. Вер 1000, все они вздор, – что же их изучать? И люди нашего времени за стыд считают, если они не знают последних изречений мудрости Спенсера, Гельмгольца и других, но о браминах, Будде, Конфуции, Менции, Лао-дзы, Эпиктете, Исаии иногда знают имена, а иногда и того не знают. Им и в голову не приходит, что вер, исповедуемых в наше время, вовсе не тысяча, а только три: китайская, индийская и еврейско-христианская (с своим отростком магометанством), и что книги этих вер можно купить за 5 руб. и прочесть в две недели, и что в этих книгах, по которым жило и теперь живет все человечество, за исключением 0,07 почти неизвестных нам, заключена вся мудрость человеческая, все то, что сделало человечество таким, какое оно есть. Но мало того, что толпа не знает этих учений, – ученые не знают их, если это не их специальность; философы по профессии не считают нужным заглядывать в эти книги. Да и зачем изучать тех людей, которые разрешали познаваемое разумным человеком противоречие его жизни и определяли истинное благо и жизнь людей? Книжники, не понимая того противоречия, которое составляет начало разумной жизни, смело утверждают, что так как они его не видят, то противоречия и нет никакого, и что жизнь человека есть только его животное существование.

Зрячие понимают и определяют то, что видят перед собой, – слепой тыкает перед собою палкой и утверждает, что и нет ничего, кроме того, что показывает ему ощупь палки.

Глава IV

Учение книжников под понятие всей жизни человека подставляет видимые явления его животного существования и из них делает выводы о цели его жизни
«Жизнь – это то, что делается в живом существе со времени его рождения и до смерти. Родится человек, собака, лошадь, у каждого свое особенное тело, и вот живет это особенное его тело, а потом умрет; тело разложится, пойдет в другие существа, а того прежнего существа не будет. Была жизнь, и кончилась жизнь; бьется сердце, дышат легкие, тело не разлагается, значит, жив человек, собака, лошадь; перестало биться сердце, кончилось дыхание, стало разлагаться тело – значит, умер, и нет жизни. Жизнь и есть то, что происходит в теле человека, так же как и животного, в промежуток времени между рождением и смертью. Что может быть яснее?» Так смотрели и всегда смотрят на жизнь самые грубые, невежественные люди, едва выходящие из животного состояния. И вот в наше время учение книжников, называющее себя наукой, признает это самое грубое первобытное представление о жизни единым истинным. Пользуясь всеми теми орудиями внешнего знания, которые приобрело человечество, ложное учение это систематически хочет вести назад людей в тот мрак невежества, из которого с таким напряжением и трудом оно выбивалось столько тысяч лет.

Жизнь мы не можем определить в своем сознании, говорит это учение. Мы заблуждаемся, рассматривая ее в себе. То понятие о благе, стремление к которому в нашем сознании составляет нашу жизнь, есть обманчивый призрак, и жизнь нельзя понимать в этом сознании. Чтобы понять жизнь, надо только наблюдать ее проявления, как движение вещества. Только из этих наблюдений и выведенных из них законов мы найдем и закон самой жизни, и закон жизни человека. [4]

И вот ложное учение, подставив под понятие всей жизни человека, известной ему в

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
его сознании, видимую часть ее – животное существование, – начинает изучать эти
видимые явления сначала в животном человеке, потом в животных вообще, потом в
растениях, потом в веществе, постоянно утверждая при этом, что изучаются не
некоторые проявления, а сама жизнь. Наблюдения так сложны, так многообразны, так
запутанны, так много времени и усилия тратится на них, что люди понемногу
забывают о первоначальной ошибке признания части предмета за весь предмет и под
конец вполне убеждаются, что изучение видимых свойств вещества, растений и
животных и есть изучение самой жизни, той жизни, которая познается человеком
только в его сознании.

Совершается нечто подобное тому, что делает показывающий что-нибудь на тени и
желающий поддержать то заблуждение, в котором находятся его зрители.

«Не смотрите никуда, – говорит показывающий, – кроме как на ту сторону, где
появляются отражения, и главное, не глядите на самый предмет: ведь предмета и
нет, а есть только отражение его».

Это самое и делает потворствующая грубой толпе ложная наука книжников нашего
времени, рассматривая жизнь без главного определения ее, стремления к благу,
открытого только в сознании человека.[5] Исходя прямо из определения жизни
независимо от стремления к благу, ложная наука наблюдает цели живых существ и,
находя в них цели, чуждые человеку, навязывает их ему.

Целью живых существ представляется при этом внешнем наблюдении – сохранение
своей личности, сохранение своего вида, воспроизведение себе подобных и борьба
за существование, и эта самая воображаемая цель жизни навязывается и человеку.

Ложная наука, взявшая за исходную точку отсталое представление о жизни, при
котором не видно то противоречие жизни человеческой, которое составляет главное
ее свойство, – эта мнимая наука в своих последних выводах приходит к тому, чего
требует грубое большинство человечества, – к признанию возможности блага одной
личной жизни, к признанию для человека благом одного животного существования.

Ложная наука идет дальше даже требований грубой толпы, которым она хочет найти
объяснение, – она приходит к утверждению того, что с первого проблеска своего
отвергает разумное сознание человека, приходит к выводам о том, что жизнь
человека, как и всякого животного, состоит в борьбе за существование личности,
рода и вида.[6]

Глава V

Лжеучения фарисеев и книжников не дают ни объяснений смысла настоящей жизни, ни
руководства в ней; единственным руководством жизни является инерция жизни, не
имеющая разумного объяснения
«Жизнь определять нечего: всякий ее знает, вот и все, и давайте жить», говорят в
своем заблуждении люди, поддерживаемые ложными учениями. И не зная, что такое
жизнь и ее благо, им кажется, что они живут, как может казаться человеку,
несомому по волнам без всякого направления, что он плывет туда, куда ему надобно
и хочется.

Родится ребенок в нужде или роскоши и получает воспитание фарисейское или
книжническое. Для ребенка, для юноши не существует еще противоречия жизни и
вопроса о ней, и потому ни объяснение фарисеев, ни объяснение книжников не нужны
ему и не могут руководить его жизнью. Он учится одним примером людей, живущих
вокруг него, и пример этот, и фарисеев и книжников, одинаков: и те и другие
живут только для блага личной жизни и тому же поучают и его.

Если родители его в нужде, он узнает от них, что цель жизни – приобретение
побольше хлеба и денег и как можно меньше работы, для того, чтобы животной
личности было как можно лучше. Если он родился в роскоши, он узнает, что цель
жизни – богатство и почести, чтобы как можно приятнее и веселее проводить время.

Все знания, которые приобретает бедный, нужны для него только ради того, чтобы
улучшить благосостояние своей личности. Все знания науки и искусств, которые
приобретает богатый, несмотря на все высокие слова о значении науки и искусств,
нужны ему только для того, чтобы побороть скуку и провести приятно время. Чем
дольше живет и тот и другой, тем сильнее и сильнее всасывается в них царствующий
взгляд людей мира. Они вступают в брак, заводятся семьей, и жадность к
приобретению благ животной жизни усиливается оправданием семьи: борьба с другими

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1
ожесточается и устанавливается (инерция) привычка жизни только для блага личности.

Если и упадет тому или другому, бедному или богатому, сомнение в разумности такой жизни, если тому и другому представится вопрос о том, зачем эта бессмысленная борьба за свое существование, которое будут продолжать мои дети, или зачем эта обманчивая погоня за наслаждениями, которые кончатся страданиями для меня и для моих детей, то нет почти никакого вероятия, чтобы он узнал те определения жизни, которые давным-давно даны были человечеству его великими учителями, находившимися, за тысячи лет до него, в том же положении. Учения фарисеев и книжников так плотно заслоняют их, что редко кому удастся увидеть их. Одни – фарисеи – на вопрос о том: «зачем эта бессмысленная жизнь?» – отвечают: «жизнь бессмысленна и всегда была и должна быть такою; благо жизни не в ее настоящем, а в ее прошедшем – до жизни, и будущем – после жизни». И браминские, и буддийские, и таасийские, и еврейские, и христианские фарисеи говорят всегда одно и то же. Жизнь настоящая – зло, и объяснение этого зла в прошедшем – в появлении мира и человека; исправление же существующего зла – в будущем, за гробом. Все, что может сделать человек для приобретения блага, не в этой, но в будущей жизни, это верить в то учение, которое мы преподаем вам, – исполнять обряды, которые мы предписываем.

И сомневающийся, видя на жизни всех людей, живущих для личного блага, и на жизни самих фарисеев, живущих для того же, неправду этого объяснения, не углубляясь в смысл их ответа, прямо не верит им и обращается к книжникам. «Все учения о другой какой-то жизни, чем та, какую мы видим в животной, есть плод невежества, говорят книжники. Все твои сомнения в разумности твоей жизни суть праздные мечтания. Жизнь миров, земли, человека, животного, растения имеет свои законы, и мы изучаем их, мы исследуем происхождение миров и человека, животных и растений, и всего вещества; мы исследуем и то, что ожидает миры, как остынет солнце и т. п., и что было и будет с человеком и со всяким животным и растением. Мы можем показать и доказать, что все так было и будет, как мы говорим; наши исследования, кроме того, содействуют улучшению благосостояния человека. О жизни же твоей, с твоим стремлением к благу, мы ничего тебе сказать не можем, кроме того, что ты и без нас знаешь: живешь, так и живи, как получше».

И сомневающийся, не получив на свой вопрос никакого ответа ни от тех, ни от других, остается, как и был прежде, без всякого руководства в жизни, кроме побуждений своей личности.

Одни из сомнеющихся, по рассуждению Паскаля, сказав себе: «а что как правда все то, чем пугают фарисеи за неисполнение их предписаний», исполняют в свободное время все предписания фарисеев (потери не будет, а выгода может быть большая), а другие, соглашаясь с книжниками, прямо отрицают всякую другую жизнь и всякие религиозные обряды и говорят себе: «не я один, а все так жили и живут, – что будет, то будет». И это различие не дает ни тем, ни другим никакого преимущества: и те и другие остаются без всякого объяснения смысла их настоящей жизни.

А жить надо.

Жизнь человеческая есть ряд поступков от вставанья до постели; каждый день человек должен не переставая выбирать из сотни возможных для него поступков те, которые он сделает. Ни учение фарисеев, объясняющее тайны небесной жизни, ни учение книжников, исследующее происхождение миров и человека и делающее заключение о будущей судьбе их, не дает такого руководства поступкам. А без руководства в выборе своих поступков человек не может жить. И вот тут-то человек, волей-неволей, подчиняется уже не рассуждению, а тому внешнему руководству жизни, которое всегда существовало и существует в каждом обществе людей.

Руководство это не имеет никакого разумного объяснения, но оно-то и движет огромным большинством поступков всех людей. Руководство это есть привычка жизни обществ людей, тем сильнее властвующая над людьми, чем меньше у людей понимания смысла своей жизни. Руководство это не может быть определенно выражено, потому что слагается оно из самых разнообразных, по времени и месту, дел и поступков. Это: свечки на дощечках родителей для китайцев; это – паломничество к известным местам магометана, известное количество молитвенных слов для индейца; это – верность своему знамени и честь мундира для военного, дуэль для светского

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 человека, кровомщение для горца; это – известные кушанья в известные дни, известного рода воспитание своих детей; это – визиты, известное убранство жилищ, известные празднованья похорон, родин, свадеб. Это: бесчисленное количество дел и поступков, наполняющих всю жизнь. Это – то, что называется приличием, обычаем, а чаще всего долгом и даже священным долгом.

И вот этому-то руководству, помимо объяснений жизни фарисеев и книжников, и подчиняется большинство людей. Везде вокруг себя с детства человек видит людей, с полною уверенностью и внешнею торжественностью исполняющих эти дела, и, не имея никакого разумного объяснения своей жизни, человек не только начинает делать такие же дела, но этим делам старается приписать разумный смысл. Ему хочется верить, что люди, делающие эти дела, имеют объяснение того, для чего и почему они делают то, что делают. И он начинает убеждать себя, что дела эти имеют разумный смысл и что объяснение их смысла если и не вполне известно ему, то известно другим людям. Но большинство других людей, не имея также разумного объяснения жизни, находятся совершенно в том же положении, как и он. Они делают эти дела только потому, что им кажется, что другие, имея объяснение этих дел, требуют их от них. И так, невольно обманывая друг друга, люди все больше и больше не только привыкают делать дела, не имеющие разумного объяснения, но привыкают приписывать этим делам какой-то таинственный, непонятный для них самих смысл. И чем меньше они понимают смысл исполняемых ими дел, чем сомнительнее для них самих эти дела, тем больше приписывают они им важности и тем с большей торжественностью исполняют их. И богатый и бедный исполняют то, что делают вокруг них другие, и дела эти называют своим долгом, священным долгом, успокоивая себя тем, что то, что делается так давно, таким большим количеством людей и так высоко ценится ими, не может не быть настоящим делом жизни. И до глубокой старости, до смерти доживают люди, стараясь уверить себя, что если они сами не знают, зачем они живут, то это знают другие – те самые, которые точно так же мало знают это, как и те, которые на них полагаются.

Приходят в существование, рождаются, вырастают новые люди и, глядя на эту сутолоку существования, называемую жизнью, в которой принимают участие старые, седые, почтенные, окружаемые уважением люди, уверяются, что эта-то безумная толкотня и есть жизнь, и другой никакой нет, и уходят, потолкавшись у дверей ее. Так, не выдавший никогда собрания человек, увидав теснящуюся, шумящую, оживленную толпу у входа и решив, что это и есть самое собрание, потолкавшись у дверей, уходит домой с помятыми боками и с полною уверенностью, что он был в собрании.

Прорезываем горы, облетаем мир; электричество, микроскопы, телефоны, войны, парламент, филантропия, борьба партий, университеты, ученые общества, музеи... это ли не жизнь?

Вся сложная, кипучая деятельность людей с их торговлей, войнами, путями сообщения, наукой, искусствами есть большей частью только давка обезумевшей толпы у дверей жизни.

Глава VI

Раздвоение сознания в людях нашего мира

«Но истинно, истинно, говорю вам: наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас сына Божия и, услышав, оживут». И время это приходит. Сколько бы ни уверял себя человек, и сколько бы ни уверяли его в этом другие, что жизнь может быть благою и разумною только за гробом, или что одна личная жизнь может быть благою и разумною, – человек не может верить в это. Человек имеет в глубине души своей неизгладимое требование того, чтобы жизнь его была благом и имела разумный смысл, а жизнь, не имеющая перед собой никакой другой цели, кроме загробной жизни или невозможного блага личности, есть зло и бессмыслица.

Жить для будущей жизни? говорит себе человек. Но если та жизнь, тот единственный образчик жизни, который я знаю, – моя теперешняя жизнь, – должна быть бессмысленной, то это не только не утверждает меня в возможности другой, разумной жизни, но, напротив, убеждает меня в том, что жизнь по существу своему бессмысленна, что никакой другой, кроме бессмысленной жизни, и быть не может.

Жить для себя? Но ведь моя жизнь личная есть зло и бессмыслица. Жить для своей семьи? Для своей общины? Отечества, человечества даже? Но если жизнь моей личности бедственна и бессмысленна, то так же бессмысленна и жизнь всякой другой человеческой личности, и потому бесконечное количество собранных вместе бессмысленных и неразумных личностей не составят и одной блаженной и разумной

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
жизни. Жить самому, не зная зачем, делая то, что делают другие? Да ведь я знаю,
что другие, так же как и я, не знают сами, зачем они делают то, что делают.

Приходит время, когда разумное сознание перерастает ложные учения, и человек
останавливается посреди жизни и требует объяснения. [7]

Только редкий человек, не имеющий сношений с людьми других образов жизни, и
только человек, постоянно занятый напряженной борьбой с природой для поддержания
своего телесного существования, может верить в то, что исполнение тех
бессмысленных дел, которые он называет своим долгом, может быть свойственным ему
долгом его жизни.

Наступает время и наступило уже, когда обман, выдающий отрицание – на словах –
этой жизни, для приготовления себе будущей, и признание одного личного животного
существования за жизнь и так называемого долга за дело жизни, – когда обман этот
становится ясным для большинства людей, и только забытые нуждой и отупевшие от
похотливой жизни люди могут еще существовать, не чувствуя бессмысленности и
бедственности своего существования.

Чаще и чаще просыпаются люди к разумному сознанию, оживают в гробах своих, – и
основное противоречие человеческой жизни, несмотря на все усилия людей скрыть
его от себя, со страшной силой и ясностью становится перед большинством людей.

«Вся жизнь моя есть желание себе блага, – говорит себе человек пробудившийся, –
разум же мой говорит мне, что блага этого для меня быть не может, и что бы я ни
делал, чего бы ни достигал, все кончится одним и тем же: страданиями и смертью,
уничтожением. Я хочу блага, я хочу жизни, я хочу разумного смысла, а во мне и во
всем меня окружающем – зло, смерть, бессмыслица. Как быть? Как жить? Что
делать?» И ответа нет.

Человек оглядывается вокруг себя и ищет ответа на свой вопрос и не находит его.
Он найдет вокруг себя учения, которые ответят ему на вопросы, которых он и не
делает себе, но ответа на вопрос, который он ставит себе, нет в окружающем мире.
Есть одна суeta людей, делающих, сами не зная зачем, дела, которые другие
делают, сами не зная зачем.

Все живут, как будто и не сознавая бедственности своего положения и
бессмысленности своей деятельности. «Или они безумны, или я, – говорит себе
проснувшийся человек. – Но все не могут быть безумны, стало быть, безумен-то я.
Но нет, – то разумное я, которое говорит мне это, не может быть безумно. Пускай
оно будет одно против всего мира, но я не могу не верить ему».

И человек сознает себя одним во всем мире с теми страшными вопросами, которые
разрывают его душу. А жить надо.

Одно я, его личность, велит ему жить.

А другое я, его разум, говорит: «жить нельзя».

Человек чувствует, что он раздвоился. И это раздвоение мучительно раздирает душу
его.

И причину этого раздвоения и страдания ему кажется его разум.

Разум, та высшая способность человека, необходимая для его жизни, которая дает
ему, нагому, беспомощному человеку, среди разрушающих его сил природы, – и
средства к существованию и средства к наслаждению, – эта-то способность
отравляет его жизнь.

Во всем окружающем мире, среди живых существ, свойственные этим существам
способности нужны им, общи всем им и содействуют их благу. Растения, насекомые,
животные, подчиняясь своему закону, живут блаженной, радостной, спокойной
жизнью. И вдруг в человеке это высшее свойство его природы производит в нем
такое мучительное состояние, что часто, – все чаще и чаще в последнее время, –
человек разрубает гордые узел своей жизни, убивает себя, только бы избавиться
от доведенного в наше время до последней степени напряжения мучительного
внутреннего противоречия, производимого разумным сознанием.

Глава VII

Раздвоение сознания происходит от смешения жизни животного с жизнью человеческой. Человеку кажется, что пробудившееся в нем разумное сознание разрывает и останавливает его жизнь только потому, что он признает своей жизнью то, что не было, не есть и не могло быть его жизнью.

Воспитавшись и выросши в ложных учениях нашего мира, утвердивших его в уверенности, что жизнь его есть не что иное, как его личное существование, начавшееся с его рождением, человеку кажется, что он жил, когда был младенцем, ребенком; потом ему кажется, что он не переставая жил, будучи юношей и возмужалым человеком. Он жил, как ему кажется, очень давно, и все время не переставая жил, и вот вдруг дожил до того времени, когда ему стало несомненно ясно, что жить так, как он жил прежде, нельзя, и что жизнь его останавливается и разрывается.

Ложное учение утвердило его в мысли, что жизнь его есть период времени от рождения до смерти; и, глядя на видимую жизнь животных, он смешал представление о видимой жизни с своим сознанием и совершенно уверился в том, что эта видимая им жизнь и есть его жизнь.

Пробудившееся в нем разумное сознание, заявив такие требования, которые неудовлетворимы для жизни животной, указывает ему ошибочность его представления о жизни; но введшееся в него ложное учение мешает ему признать свою ошибку: он не может отказаться от своего представления о жизни, как животного существования, и ему кажется, что жизнь его остановилась от пробуждения разумного сознания. Но то, что он называет своей жизнью, – то, что ему кажется остановившимся, никогда и не существовало. То, что он называет своей жизнью, его существование от рождения, никогда и не было его жизнью; представление его о том, что он жил все время от рождения и до настоящей минуты, есть обман сознания, подобный обману сознания при сновидениях: до пробуждения не было никаких сновидений, они все сложились в момент пробуждения. До пробуждения разумного сознания не было никакой жизни, представление о прошедшей жизни сложилось при пробуждении разумного сознания.

Человек жил как животное во время ребячества и ничего не знал о жизни. Если бы человек прожил десять месяцев, он бы ничего не знал ни о своей, ни о какой бы то ни было жизни; так же мало знал бы о жизни, как и тогда, когда бы он умер в утробе матери. И не только младенец, но и неразумный взрослый, и совершенный идиот не могут знать про то, что они живут и живут другие существа. И потому они и не имеют человеческой жизни.

Жизнь человеческая начинается только с проявления разумного сознания, – того самого, которое открывает человеку одновременно и свою жизнь, и в настоящем и в прошедшем, и жизнь других личностей, и все, неизбежно вытекающее из отношений этих личностей, страдания и смерть, – то самое, что производит в нем отрицание блага личной жизни и противоречие, которое, ему кажется, останавливает его жизнь.

Человек хочет определять свою жизнь временем, как он определяет видимое им существование вне себя, и вдруг в нем пробуждается жизнь, не совпадающая с временем его плотского рождения, и он не хочет верить тому, что то, что не определяется временем, может быть жизнью. Но сколько бы ни искал человек во времени той точки, с которой бы он мог считать начало своей разумной жизни, он никогда не найдет ее. [8]

В своих воспоминаниях он никогда не найдет этой точки, этого начала разумного сознания. Ему представляется, что разумное сознание всегда было в нем. Если же он и находит нечто подобное началу этого сознания, то он находит его уже никак не в своем плотском рождении, а в области, не имеющей ничего общего с этим плотским рождением. Он сознает свое разумное происхождение вовсе не таким, каким ему видится его плотское рождение. Спрашивая себя о происхождении своего разумного сознания, человек никогда не представляет себе, чтобы он, как разумное существо, был сын своего отца, матери и внук своих дедов и бабок, родившихся в таком-то году, а он сознает себя всегда не то, что сыном, но слитым в одно с сознанием самых чуждых ему по времени и месту разумных существ, живших иногда за тысячи лет и на другом конце света. В разумном сознании своем человек не видит даже никакого происхождения себя, а сознает свое вневременное и внепространственное слияние с другими разумными сознаниями, так что они входят в

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
него и он в них. Это – то пробудившееся в человеке разумное сознание и
останавливает как будто то подобие жизни, которое заблудшие люди считают жизнью:
заблудшим людям кажется, что жизнь их останавливается именно тогда, когда она
пробуждается.

Глава VIII

Раздвоения и противоречия нет, оно является только при ложном учении
Только ложное учение о человеческой жизни, как о существовании животного от
рождения до смерти, в котором воспитываются и поддерживаются люди, производит то
мучительное состояние раздвоения, в которое вступают люди при обнаружении в них
их разумного сознания.

Человеку, находящемуся в этом заблуждении, кажется, что жизнь раздваивается в
нем.

Человек знает, что жизнь его одна, а чувствует их две. Человек, перекрутив два
пальца и между ними катая шарик, знает, что шарик один, но чувствует их два.
Нечто подобное происходит с человеком, усвоившим ложное представление о жизни.

Разум человека ложно направлен. Его научили признавать жизнью одно свое плотское
личное существование, которое не может быть жизнью.

С таким ложным представлением о воображаемой жизни он взглянул на жизнь и увидел
их две – ту, которую он воображал себе, и ту, которая действительно есть.

Такому человеку кажется, что отрицание разумным сознанием блага личного
существования и требование другого блага есть нечто болезненное и
неестественное.

Но для человека, как разумного существа, отрицание возможности личного блага и
жизни есть неизбежное последствие условий личной жизни и свойства разумного
сознания, соединенного с нею. Отрицание блага и жизни личности есть для
разумного существа такое же естественное свойство его жизни, как для птицы
летать на крыльях, а не бегать ногами. Если неоперившийся птенец бегаёт ногами,
то это не доказывает того, чтобы ему несвойственно было летать. Если мы вне себя
видим людей с непробудившимся сознанием, полагающих свою жизнь в блага личности,
то это не доказывает того, чтобы человеку было несвойственно жить разумною
жизнью. Пробуждение человека к его истинной, свойственной ему жизни происходит в
нашем мире с таким болезненным напряжением только от того, что ложное учение
мира старается убедить людей в том, что призрак жизни есть сама жизнь и что
проявление истинной жизни есть нарушение ее.

С людьми в нашем мире, вступающими в истинную жизнь, случается нечто подобное
тому, что бы было с девушкой, от которой были бы скрыты свойства женщины.
Почувствовав признаки половой зрелости, такая девушка приняла бы то состояние,
которое призывает ее к будущей семейной жизни, с обязанностями и радостями
матери, за болезненное и неестественное состояние, которое привело бы ее в
отчаяние.

Подобное же отчаяние испытывают люди нашего мира при первых признаках
пробуждения к истинной человеческой жизни.

Человек, в котором проснулось разумное сознание, но который вместе с тем
понимает свою жизнь только как личную, находится в том же мучительном состоянии,
в котором находилось бы животное, которое, признав своей жизнью движение
вещества, не признавало бы своего закона личности, а только видело бы свою жизнь
в подчинении себя законам вещества, которые совершаются и без его усилия. Такое
животное испытывало бы мучительное внутреннее противоречие и раздвоение.
Подчиняя себя одним законам вещества, оно видело бы свою жизнь в том, чтобы
лежать и дышать, но личность требовала бы от него другого: кормления себя,
продолжения рода, – и тогда животному казалось бы, что оно испытывает раздвоение
и противоречие. «Жизнь, думало бы оно, в том, чтобы подчиняться законам тяжести,
т. е. не двигаться, лежать и подчиняться происходящим в теле химическим
процессам, а вот я делаю это, а еще надо двигаться, питаться, искать самца или
самку».

Животное страдало бы и видело бы в этом состоянии мучительное противоречие и
раздвоение. То же происходит и с человеком, наученным признавать низший закон

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 своей жизни, животную личность, законом своей жизни. Высший закон жизни, закон его разумного сознания, требует от него другого; вся же окружающая жизнь и ложные учения удерживают его в обманчивом сознании, и он чувствует противоречие и раздвоение.

Но как животному для того, чтобы перестать страдать, нужно признавать своим законом не низший закон вещества, а закон своей личности и, исполняя его, пользоваться законами вещества для удовлетворения целей своей личности, так точно и человеку стоит признать свою жизнь не в низшем законе личности, а в высшем законе, включающем первый закон, – в законе, открытом ему в его разумном сознании, – и уничтожится противоречие, и личность будет свободно подчиняться разумному сознанию и будет служить ему.

Глава IX

Рождение истинной жизни в человеке

Рассматривая во времени, наблюдая проявление жизни в человеческом существе, мы видим, что истинная жизнь всегда хранится в человеке, как она хранится в зерне, и наступает время, когда жизнь эта обнаруживается. Обнаружение истинной жизни состоит в том, что животная личность влечет человека к своему благу, разумное же сознание показывает ему невозможность личного блага и указывает какое-то другое благо. Человек вглядывается в это, в отдалении указываемое ему, благо и, не в силах видеть его, сначала не верит этому благу и возвращается назад к личному благу; но разумное сознание, которое указывает так неопределенно свое благо, так несомненно и убедительно показывает невозможность личного блага, что человек опять отказывается от личного блага и опять вглядывается в это новое, указываемое ему благо. Разумное благо не видно, но личное благо так несомненно уничтожено, что продолжать личное существование невозможно, и в человеке начинает устанавливаться новое отношение его животного к разумному сознанию. Человек начинает рождаться к истинной человеческой жизни.

Происходит нечто подобное тому, что происходит в вещественном мире при всяком рождении. Плод родится не потому, что он хочет родиться, что ему лучше родиться и что он знает, что хорошо родиться, а потому, что он созрел, и ему нельзя продолжать прежнее существование; он должен отдаться новой жизни не столько потому, что новая жизнь зовет его, сколько потому, что уничтожена возможность прежнего существования.

Разумное сознание, незаметно вырастая в его личности, дорастает до того, что жизнь в личности становится невозможной.

Происходит совершенно то же, что происходит при зарождении всего. То же уничтожение зерна, прежней формы жизни, и проявление нового ростка; та же кажущаяся борьба прежней формы разлагающегося зерна и увеличение ростка, – и то же питание ростка на счет разлагающегося зерна. Различие для нас рождения разумного сознания от видимого нами плотского зарождения в том, что, тогда как в плотском рождении мы видим во времени и пространстве, из чего и как и когда и что рождается из зародыша, знаем, что зерно есть плод, что из зерна при известных условиях выйдет растение, что на нем будет цвет и потом плод такой же, как зерно (в глазах наших совершается весь круговорот жизни), – рост разумного сознания мы не видим во времени, не видим круговорота его. Не видим же мы роста разумного сознания и круговорота его потому, что мы сами совершаем его: наша жизнь есть не что иное, как это рождение того невидимого нам существа, которое рождается в нас, и потому-то мы никак не можем видеть его.

Мы не можем видеть рождения этого нового существа, нового отношения разумного сознания к животному, так же как зерно не может видеть роста своего стебля. Когда разумное сознание выходит из своего скрытого состояния и обнаруживается для нас самих, нам кажется, что мы испытываем противоречие. Но противоречия нет никакого, как нет его в прорастающем зерне. В прорастающем зерне мы видим только, что жизнь, бывшая прежде в оболочке зерна, теперь уже в ростке его. Точно так же и в человеке с проснувшимся разумным сознанием нет никакого противоречия, а есть только рождение нового существа, нового отношения разумного сознания к животному.

Если человек существует, не зная, что другие личности живут, не зная, что наслаждения не удовлетворяют его, что он умрет, – он не знает даже и того, что он живет, и в нем нет противоречия.

Если же человек увидел, что другие личности – такие же, как и он, что страдания угрожают ему, что существование его есть медленная смерть: если его разумное сознание стало разлагать существование его личности, он уже не может ставить свою жизнь в этой разлагающейся личности, а неизбежно должен полагать ее в той новой жизни, которая открывается ему. И опять нет противоречия, как нет противоречия в зерне, пустившем уже росток и потому разлагающемся.

Глава X

Разум есть тот сознаваемый человеком закон, по которому должна совершаться его жизнь

Истинная жизнь человека, проявляющаяся в отношении его разумного сознания к его животной личности, начинается только тогда, когда начинается отрицание блага животной личности. Отрицание же блага животной личности начинается тогда, когда пробуждается разумное сознание.

Но что же такое это разумное сознание? Евангелие Иоанна начинается тем, что Слово, «Logos» (Логос – Разум, Мудрость, Слово), есть начало, и что в нем всё и от него всё; и что потому разум – то, что определяет все остальное – ничем не может быть определяем.

Разум не может быть определяем, да нам и незачем определять его, потому что мы все не только знаем его, но только разум один и знаем. Общаясь друг с другом, мы вперед уверены, – больше, чем во всем другом – в одинаковой обязательности для всех нас общего этого разума. Мы убеждены, что разум и есть та единственная основа, которая соединяет всех нас, живущих, в одно. Разум мы знаем вернее и прежде всего, так что все, что мы знаем в мире, мы знаем только потому, что это познаваемое нами сходится с законами этого разума, несомненно известными нам. Мы знаем, и нам нельзя не знать разума. Нельзя, потому что разум – это тот закон, по которому должны жить неизбежно разумные существа – люди. Разум для человека тот закон, по которому совершается его жизнь, – такой же закон, как и тот закон для животного, по которому оно питается и плодится, – как и тот закон для растения, по которому растет, цветет трава, дерево, – как и тот закон для небесного тела, по которому движутся земля и светила. И закон, который мы знаем в себе, как закон нашей жизни, есть тот же закон, по которому совершаются и все внешние явления мира, только с тою разницею, что в себе мы знаем этот закон как то, что мы сами должны совершать, – во внешних же явлениях как то, что совершается по этому закону без нашего участия. Все, что мы знаем о мире, есть только видимое нами, вне нас совершающееся в небесных телах, в животных, в растениях, во всем мире, подчинение разуму. Во внешнем мире мы видим это подчинение закону разума; в себе же мы знаем этот закон как то, что сами должны совершать.

Обычное заблуждение о жизни состоит в том, что подчинение нашего животного тела своему закону, совершаемое не нами, но только видимое нами, принимается за жизнь человеческую, тогда как этот закон нашего животного тела, с которым связано наше разумное сознание, исполняется в нашем животном теле так же бессознательно для нас, как он исполняется в дереве, в кристалле, в небесном теле. Но закон нашей жизни – подчинение нашего животного тела разуму – есть тот закон, который мы нигде не видим, не можем видеть, потому что он не совершился еще, но совершается нами в нашей жизни. В исполнении этого закона, в подчинении своего животного закону разума, для достижения блага, и состоит наша жизнь. Не понимая того, что благо и жизнь наша состоят в подчинении своей животной личности закону разума, и принимая благо и существование своей животной личности за всю нашу жизнь, и отказываясь от предназначенной нам работы жизни, мы лишаем себя истинного нашего блага и истинной нашей жизни и на место ее подставляем то видимое нам существование нашей животной деятельности, которое совершается независимо от нас и потому не может быть нашей жизнью.

Глава XI

Ложное направление знания

Заблуждение, что видимый нами, на нашей животной личности совершающийся, закон и есть закон нашей жизни, есть старинное заблуждение, в которое всегда впадали и впадают люди. Заблуждение это, скрывая от людей главный предмет их познания, подчинение животной личности разуму для достижения блага жизни, ставит на место его изучение существования людей, независимо от блага жизни.

Вместо того, чтобы изучать тот закон, которому, для достижения своего блага, должна быть подчинена животная личность человека, и, только познав этот закон,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
на основании его изучать все остальные явления мира, ложное познание направляет свои усилия на изучение только блага и существования животной личности человека, без всякого отношения к главному предмету знания, – подчинению этой животной личности человека закону разума, для достижения блага истинной жизни.

Ложное познание, не имея в виду этого главного предмета знания, направляет свои силы на изучение животного существования прошедших и современных людей и на изучение условий существования человека вообще, как животного. Ему представляется, что из этих изучений может быть найдено и руководство для блага жизни человеческой.

Ложное знание рассуждает так: люди существуют и существовали до нас; посмотрим, как они существовали, какие происходили во времени и пространстве изменения в их существовании, куда направляются эти изменения. Из этих исторических изменений их существования мы найдем закон их жизни.

Не имея в виду главной цели знания, – изучения того разумного закона, которому для его блага должна подчиняться личность человека, – так называемые ученые этого разряда самой целью, которую они ставят для своего изучения, изрекают приговор о тщете своего изучения. В самом деле: если существование людей изменяется только вследствие общих законов их животного существования, то изучение тех законов, которым оно и так подчиняется, совершенно бесполезно и праздно. Знать или не знают люди о законе изменения их существования, закон этот совершается точно так же, как совершается изменение в жизни кротов и бобров вследствие тех условий, в которых они находятся. Если же для человека возможно знание того разумного закона, которому должна быть подчинена его жизнь, то очевидно, что познание этого закона разума он нигде не может почерпнуть, кроме как там, где он и открыт ему: в своем разумном сознании. И потому, сколько бы ни изучали люди того, как существовали люди, как животные, они никогда не узнают о существовании человека ничего такого, чего само собой не происходило бы в людях и без этого знания; и никогда, сколько бы они ни изучали животного существования человека, не узнают они того закона, которому для блага его жизни должно быть подчинено это животное существование человека.

Это один разряд праздных людских рассуждений о жизни, называемых историческими и политическими науками.

Другой разряд особенно распространенных в наше время рассуждений, при которых уже совершенно теряется из вида единственный предмет познания, такой: рассматривая человека, как предмет наблюдения, мы видим, говорят ученые, что он так же питается, растет, плодится, стареется и умирает, как и всякое животное; но некоторые явления – психические (так они называют их) – мешают точности наблюдений, представляют слишком большую сложность, и потому, чтобы лучше понять человека, будем рассматривать его жизнь сперва в более простых проявлениях, подобных тем, которые мы видим в лишенных этой психической деятельности животных и растениях. Для этого мы будем рассматривать жизнь животных и растений вообще. Рассматривая же животных и растения, мы видим, что во всех них проявляются общие всем им еще более простые законы вещества. А так как законы животных проще, чем законы жизни человека, а законы растений еще проще, а законы вещества еще проще, то и исследования надо основывать на самом простом – на законах вещества. Мы видим, что то, что происходит в растении и животном, то происходит точно так же и в человеке, говорят они, а потому мы заключаем, что все то, что происходит в человеке, и объяснится нам из того, что происходит в самом простом, видимом нам и подлежащем нашим опытам мертвом веществе, – тем более, что все особенности деятельности человека находятся в постоянной зависимости от сил, действующих в веществе. Всякое изменение вещества, составляющего тело человека, изменяет и нарушает всю его деятельность. А потому, заключают они, законы вещества суть причины деятельности человека. Соображение же о том, что в человеке есть нечто такое, чего мы не видим ни в животных, ни в растениях, ни в мертвом веществе, и что это–то нечто и есть единственный предмет познания, без которого бесполезно всякое другое, не смущает их.

Не приходит им в голову, что, если изменение вещества в теле человека нарушает его деятельность, то это доказывает только то, что изменение вещества есть одна из причин, нарушающих деятельность человека, но никак не то, что движение вещества есть причина деятельности человека. Точно так же, как вред вынута земли из-под корней растения доказывает, что земля может быть и не быть везде, а не то, что растение есть только произведение земли. И они изучают в человеке то,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
что происходит и в мертвом веществе, и в растении, и в животном, предполагая, что уяснение законов явлений, сопутствующих жизни человека, может уяснить им самую жизнь человека.

Чтобы понять жизнь человека, т. е. тот закон, которому для блага человека должна быть подчинена его животная личность, люди рассматривают: или историческое существование, но не жизнь человека, или несознаваемое человеком, но только видимое ему подчинение и животного, и растения, и вещества разным законам, т. е. делают то же, что бы делали люди, изучающие положение неизвестных им предметов для того, чтобы найти ту неизвестную цель, которой им нужно следовать.

Совершенно справедливо то, что знание видимого нам проявления существования людей в истории может быть поучительно для нас; что точно так же может быть поучительно для нас и изучение законов животной личности человека и других животных, и поучительно изучение тех законов, которым подчиняется само вещество. Изучение всего этого важно для человека, показывая ему, как в отражении, то, что необходимо совершается в его жизни; но очевидно, что знание того, что уже совершается и видимо нами, как бы оно ни было полно, не может дать нам главного знания, которое нужно нам, – знания того закона, которому должна для нашего блага быть подчинена наша животная личность. Знание совершающихся законов поучительно для нас, но только тогда, когда мы признаем тот закон разума, которому должна быть подчинена наша животная личность, а не тогда, когда этот закон вовсе не признается.

Как бы хорошо дерево ни изучило (если бы оно могло изучать) все те химические и физические явления, которые происходят в нем, оно из этих наблюдений и знаний никак не могло бы вывести для себя необходимости собирать соки и распределять их на рост ствола, листа, цветка и плода.

Точно так же и человек, как бы он хорошо ни знал закон, управляющий его животной личностью, и те законы, которые управляют веществом, эти законы не дадут ему ни малейшего указания на то, как ему поступить с тем куском хлеба, который у него в руках: отдать ли его жене, чужому, собаке, или самому съесть его, – защищать этот кусок хлеба или отдать тому, кто его просит. А жизнь человеческая только и состоит в решении этих и подобных вопросов.

Изучение законов, управляющих существованием животных, растений и веществ, не только полезно, но необходимо для уяснения закона жизни человека, но только тогда, когда изучение это имеет целью главный предмет познания человеческого: уяснения закона разума.

При предположении же о том, что жизнь человека есть только его животное существование, и что благо, указываемое разумным сознанием, невозможно, и что закон разума есть только призрак, такое изучение делается не только праздным, но и губительным, закрывая от человека его единственный предмет познания и поддерживая его в том заблуждении, что, исследуя отражение предмета, он может познать и предмет. Такое изучение подобно тому, что бы делал человек, внимательно изучая все изменения и движения тени живого существа, предполагая, что причина движения живого существа заключается в изменениях и движениях его тени.

Глава XII

Причина ложного знания есть ложная перспектива, в которой представляются предметы

Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы знаем то, что знаем, и не знаем того, чего не знаем, сказал Конфуций. Ложное же – в том, чтобы думать, что мы знаем то, чего не знаем, и не знаем того, что знаем; и нельзя дать более точного определения того ложного познания, которое царствует среди нас. Ложным знанием нашего времени предполагается, что мы знаем то, чего мы не можем знать, и что мы не можем знать того, что одно только мы и знаем. Человеку с ложным знанием представляется, что он знает все то, что является ему в пространстве и времени, и что он не знает того, что известно ему в его разумном сознании.

Такому человеку представляется, что благо вообще и его благо есть самый непознаваемый для него предмет. Почти столь же непознаваемым предметом представляется ему его разум, его разумное сознание; несколько более познаваемым предметом представляется ему он сам как животное; еще более познаваемыми предметами представляются ему животные и растения, и наиболее познаваемым

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1
представляется ему мертвое, бесконечно распространенное вещество.

Нечто подобное происходит с зрением человека. Человек всегда бессознательно направляет свое зрение преимущественно на предметы, наиболее отдаленные и потому кажущиеся ему самыми простыми по цвету и очертаниям: на небо, горизонт, далекие поля, леса. Предметы эти представляются тем более определенными и простыми, чем более они удалены, и, наоборот, чем ближе предмет, тем сложнее его очертания и цвет.

Если бы человек не умел определять расстояние предметов, не смотрел бы, располагая предметы в перспективе, а признавал бы большую простоту и определенность очертаний и цвета предмета большей степенью видимости, то самым простым и видимым для такого человека представлялось бы бесконечное небо, потом уже менее видимыми предметами представлялись бы для него сложные очертания горизонта, потом еще менее видимыми представлялись бы ему еще более сложные по цветам и очертаниям дома, деревья, потом еще менее видимым представлялась бы ему своя движущаяся пред глазами рука, и самым невидимым представлялся бы ему свет.

Разве не то же самое и с ложным познанием человека? То, что несомненно известно ему, – его разумное сознание – кажется ему непознаваемым, потому что оно не просто, а то, что несомненно непостижимо для него – безграничное и вечное вещество, – то и кажется ему самым познаваемым, потому что оно по отдалению своему от него кажется ему просто.

Ведь это как раз наоборот. Прежде всего и несомненное всего всякий человек может знать и знает то благо, к которому он стремится; потом так же несомненно он знает тот разум, который указывает ему это благо, потом уже он знает свое животное, подчиненное этому разуму, и потом уже видит, но не знает, все другие явления, представляющиеся ему в пространстве и времени.

Только человеку с ложным представлением о жизни кажется, что он знает предметы тем лучше, чем точнее они определяются пространством и временем; в действительности же мы знаем вполне только то, что не определяется ни пространством, ни временем, – благо и закон разума. Внешние же предметы мы знаем тем менее, чем менее в познании участвует наше сознание, вследствие чего предмет определяется только своим местом в пространстве и времени. И потому, чем исключительнее предмет определяется пространством и временем, тем он менее познаваем для человека (понятен человеку).

Истинное знание человека кончается познанием своей личности, своего животного. Это свое животное, стремящееся к благу и подчиненное закону разума, человек знает совершенно особенно от знания всего того, что не есть его личность. Он действительно знает себя в этом животном, и знает себя не потому, что он есть нечто пространственное и временное (напротив: себя, как временное и пространственное проявление, он никогда познать не может), а потому, что он есть нечто, должствующее для своего блага быть подчиненным закону разума. Он знает себя в этом животном, как нечто независимое от времени и пространства. Когда он спрашивает себя о своем месте во времени и пространстве, то ему прежде всего представляется, что он стоит посередине бесконечного в обе стороны времени и что он центр шара, поверхность которого везде и нигде. И этого-то самого, вневременного и внепространственного себя, человек и знает действительно, и на этом своем я кончается его действительное знание. Все, что находится вне этого своего я, человек не знает, но, может только наблюдать и определять внешним условным образом.

Отрешившись на время от знания самого себя как разумного центра, стремящегося к благу, т. е. вневременного и внепространственного существа, человек может на время условно допустить, что он есть часть видимого мира, проявляющаяся и в пространстве и во времени. Рассматривая себя так, в пространстве и во времени, в связи с другими существами, человек соединяет свое истинное внутреннее знание самого себя с внешним наблюдением себя и получает о себе представление, как о человеке вообще, подобном всем другим людям; по этому условному знанию себя человек получает и о других людях некоторое внешнее представление, но не знает их.

Невозможность для человека истинного знания людей происходит уже и оттого, что таких людей он видит не одного, а сотни, тысячи, и знает, что есть, и были, и будут такие люди, которых он никогда не видал и не увидит.

За людьми еще дальше от себя человек видит в пространстве и времени животных, отличающихся от людей и друг от друга. Существа эти были бы совершенно непонятны для него, если бы он не имел знания о человеке вообще; но имея это знание и отвлекая от понятия человека его разумное сознание, он получает и о животных некоторое представление, но представление это еще менее для него похоже на знание, чем его представление о людях вообще. Животных самых разнообразных он видит уже огромное количество, и чем больше их количество, тем, очевидно, менее возможно для него познание их.

Далее от себя он видит растения, и еще увеличивается распространенность в мире этих явлений, и еще невозможнее для него знание их.

Еще далее от себя, за животными и растениями, в пространстве и времени, человек видит неживые тела и уже мало или совсем не различающиеся формы вещества. Вещество он понимает уже меньше всего. Познание форм вещества для него уже совсем безразлично, и он не только не знает его, но он только воображает себе его, – тем более, что вещество уже представляется ему в пространстве и времени бесконечным.

Глава XIII

Познаваемость предметов увеличивается не вследствие проявления их в пространстве и времени, а вследствие единства закона, которому подчиняемся мы и те предметы, которые мы изучаем

Что может быть понятнее: собаке больно; теленок ласков – он меня любит; птица радуется, лошадь боится, добрый человек, злое животное? И все эти самые важные понятные слова не определяются пространством и временем; напротив: чем непонятнее нам закон, которому подчиняется явление, тем точнее определяется явление временем и пространством. Кто скажет, что понимает тот закон тяготения, по которому происходит движение земли, луны и солнца? А затмение солнца самым точным образом определено пространством и временем.

Вполне знаем мы только нашу жизнь, наше стремление к благу и разум, указывающий нам это благо. Следующее по достоверности знание есть знание нашей животной личности, стремящейся к благу и подчиненной закону разума. В знании нашей животной личности уже являются пространственные и временные условия, видимые, осязаемые, наблюдаемые, но недоступные нашему пониманию. Следующее за этим по достоверности знание есть знание таких же животных личностей, как и мы, в которых мы узнаем общее с нами стремление к благу и общее с нами разумное сознание. Насколько жизнь этих личностей сближается с законами нашей жизни, стремления к благу и подчинения закону разума, настолько мы знаем их; насколько она проявляется в пространственных и временных условиях, настолько мы не знаем их. И так знаем мы больше всего людей. Следующее по достоверности знание есть наше знание животных, в которых мы видим личность, подобно нашей стремящуюся к благу, но уже чуть узнаем подобие нашего разумного сознания, и с которыми мы уже не можем общаться этим разумным сознанием. Вслед за животными мы видим растения, в которых мы уже с трудом узнаем подобную нам личность, стремящуюся к благу. Существа эти и представляются нам преимущественно временными и пространственными явлениями и потому еще менее доступны нашему знанию.

Мы знаем их только потому, что в них видим личность, подобную нашей животной личности, которая так же, как и наша, стремится к благу и подчиняет проявляющемуся в ней закону разума вещество, в условиях пространства и времени.

Еще менее доступны нашему знанию предметы безличные, вещественные; в них мы уже не находим подобия нашей личности, не видим вовсе стремления к благу, а видим одни временные и пространственные проявления законов разума, которым они подчиняются.

Истинность нашего знания не зависит от наблюдаемости предметов в пространстве и времени, а напротив: чем наблюдаемее проявление предмета в пространстве и времени, тем менее оно понятно для нас.

Наше знание о мире вытекает из сознания нашего стремления к благу и необходимости, для достижения этого блага, подчинения нашего животного разуму. Если мы знаем жизнь животного, то только потому, что мы в животном видим стремление к благу и необходимость подчинения закону разума, который в нем представляется законом организма.

Если мы знаем вещество, то мы знаем его только потому, что, несмотря на то, что благо его нам непонятно, мы все-таки видим в нем то же явление, как и в себе, – необходимость подчинения закону разума, управляющего им.

Познание чего бы то ни было для нас есть перенесение на другие предметы нашего знания о том, что жизнь есть стремление к благу, достигаемое подчинением закону разума.

Не себя мы можем познавать из законов, управляющих животными, но животных мы познаем только из того закона, который знаем в себе. И тем менее можем познавать себя из законов своей жизни, перенесенных на явления вещества.

Все, что знает человек о внешнем мире, он знает только потому, что знает себя и в себе находит три различные отношения к миру: одно отношение своего разумного сознания, другое отношение своего животного и третье отношение вещества, входящего в тело его животного. Он знает в себе эти три различные отношения и потому все, что он видит в мире, располагается перед ним всегда в перспективе трех отдельных друг от друга планов: 1) разумные существа; 2) животные и растения и 3) неживое вещество.

Человек всегда видит эти три разряда предметов в мире, потому что он сам в себе заключает эти три предмета познания. Он знает себя: 1) как разумное сознание, подчиняющее животное; 2) как животное, подчиненное разумному сознанию, и 3) как вещество, подчиненное животному.

Не из познаний законов вещества, как это думают, мы можем познавать закон организмов, и не из познания закона организмов мы можем познавать себя, как разумное сознание, но наоборот. Прежде всего мы можем и нам нужно познать самих себя, т. е. тот закон разума, которому для нашего блага должна быть подчинена наша личность, и тогда только нам можно и нужно познать и закон своей животной личности и подобных ей личностей, и, еще в большем отдалении от себя, законы вещества.

Нужно нам знать, и мы знаем только себя. Мир животных – для нас уже отражение того, что мы знаем в себе. Мир вещественный уже есть как бы отражение от отражения.

Нам кажутся особенно ясными законы вещества потому только, что они для нас однообразны; однообразны же они для нас потому, что особенно далеки от сознаваемого нами закона нашей жизни.

Законы организмов кажутся нам проще закона нашей жизни тоже от своего удаления от нас. Но и в них мы только наблюдаем законы, а не знаем их, как мы знаем закон нашего разумного сознания, который должен быть, нами исполняем.

Ни то, ни другое существование мы не знаем, а только видим, наблюдаем вне себя. Только закон нашего разумного сознания мы знаем несомненно, потому что он нужен для нашего блага, потому что мы живем этим сознанием; не видим же его потому, что не имеем той высшей точки, с которой бы могли наблюдать его.

Только если б были существа высшие, подчиняющие наше разумное сознание так же, как наше разумное сознание подчиняет себе нашу животную личность, и как животная личность (организм) подчиняет себе вещество, – эти высшие существа могли бы видеть нашу разумную жизнь так, как мы видим свое животное существование и существование вещества.

Жизнь человеческая представляется неразрывно связанной с двумя видами существования, которые она включает в себя: существование животных и растений (организмов) и существование вещества.

Жизнь свою истинную человек делает сам, сам проживает ее; но в тех двух видах существования, связанных с его жизнью, – человек не может принимать участия. Тело и вещество, его составляющее, существуют сами собой.

Эти виды существования представляются человеку как бы предшествовавшими, прожитыми жизнями, включенными в его жизнь, – как бы воспоминаниями о прежних жизнях.

В истинной жизни человека эти два вида существования представляют для него орудие и материал его работы, но не самую работу его.

Человеку полезно изучать и материал и орудие своей работы. Чем лучше он познает их, тем лучше он будет в состоянии работать. Изучение этих включенных в его жизнь видов существования – своего животного и вещества, составляющего животное, показывает человеку, как бы в отражении, общий закон всего существующего – подчинение закону разума и тем утверждает его в необходимости подчинения своего животного своему закону, но не может и не должен человек смешивать материал и орудие своей работы с самой своей работой.

Сколько бы ни изучал человек жизнь видимую, осязаемую, наблюдаемую им в себе и других, жизнь, совершающуюся без его усилий, – жизнь эта всегда останется для него тайной; он никогда из этих наблюдений не поймет эту несознаваемую им жизнь и наблюдениями над этой таинственной, всегда скрывающейся от него в бесконечность пространства и времени, жизнью никак не осветит свою истинную жизнь, открытую ему в его сознании и состоящую в подчинении его совершенно особенной от всех и самой известной ему животной личности совершенно особенному и самому известному ему закону разума, для достижения своего совершенно особенного и самого известного ему блага.

Глава XIV

Истинная жизнь человеческая не есть то, что происходит в пространстве и времени. Жизнь человека знает в себе как стремление к благу, достижимому подчинением своей животной личности закону разума.

Иной жизни человеческой он не знает и знать не может. Ведь животное человек признает только тогда живым, когда вещество, составляющее его, подчинено не только своим законам, но и высшему закону организма.

Есть в известном совокуплении вещества подчинение высшему закону организма, – мы признаем в этом совокуплении вещества жизнь; нет, не начиналось или кончилось это подчинение, – и нет уже того, что отделяет это вещество от всего остального вещества, в котором действуют одни законы механические, химические, физические, – и мы не признаем в нем жизни животного.

Точно так же и подобных нам людей и самих себя мы тогда только признаем живыми, когда наша животная личность, кроме подчинения своему закону организма, подчинена еще высшему закону разумного сознания.

Как скоро нет этого подчинения личности закону разума, как скоро в человеке действует один закон личности, подчиняющий себе вещество, составляющее его, мы не знаем и не видим человеческой жизни ни в других, ни в себе, как не видим жизни животной в веществе, подчиняющемся только своим законам.

Как бы ни были сильны и быстры движения человека в бреду, в сумасшествии или в агонии, в пьянстве, в порыве страсти даже, мы не признаем человека живым, не относимся к нему, как к живому человеку, и признаем в нем только возможность жизни. Но как бы слаб и неподвижен ни был человек, – если мы видим, что животная личность его подчинена разуму, то мы признаем его живым и так и относимся к нему.

Жизнь человеческую мы не можем понимать иначе, как подчинение животной личности закону разума.

Жизнь эта обнаруживается во времени и пространстве, но определяется не временными и пространственными условиями, а только степенью подчинения животной личности разуму. Определять жизнь временными и пространственными условиями, – это все равно, что определять высоту предмета его длиной и шириной.

Движение в высоту предмета, движущегося вместе с тем и в плоскости, будет точным подобием отношения истинной жизни человеческой к жизни животной личности или жизни истинной к жизни временной и пространственной. Движение предмета кверху не зависит и не может ни увеличиться, ни уменьшиться от его движения в плоскости. То же и с определением жизни человеческой. Жизнь истинная проявляется всегда в личности, но не зависит, не может ни увеличиться, ни уменьшиться от такого или другого существования личности.

Временные и пространственные условия, в которых находится животная личность человека, не могут влиять на жизнь истинную, состоящую в подчинении животной личности разумному сознанию.

Вне власти человека, желающего жить, уничтожить, остановить пространственное и временное движение своего существования; но истинная жизнь его есть достижение блага подчинением разуму, независимо от этих видимых пространственных и временных движений. В этом – то большем и большем достижении блага через подчинение разуму только и состоит то, что составляет жизнь человеческую. Нет этого увеличения в подчинении, – и жизнь человеческая идет по двум видимым направлениям пространства и времени и есть одно существование. Есть это движение в высоту, это большее и большее подчинение разуму, – и между двумя силами и одной устанавливается отношение и совершается большее или меньшее движение по равнодействующей, поднимающей существование человека в область жизни.

Силы пространственные и временные – силы определенные, конечные, несовместимые с понятием жизни; сила же стремления к благу через подчинение разуму есть сила, поднимающая в высоту, – сама сила жизни, для которой нет ни временных, ни пространственных пределов.

Человеку представляется, что жизнь его останавливается и раздваивается, но эти задержки и колебания суть только обман сознания (подобный обману внешних чувств). Задержек и колебаний истинной жизни нет и не может быть: они только нам кажутся при ложном взгляде на жизнь.

Человек начинает жить истинной жизнью, т. е. поднимается на некоторую высоту над жизнью животной и с этой высоты видит призрачность своего животного существования, неизбежно кончающегося смертью, видит, что существование его в плоскости обрывается со всех сторон пропастями, и, не признавая, что этот подъем в высоту и есть сама жизнь, ужасается перед тем, что он увидал с высоты. Вместо того чтобы, признав силу, поднимающую его в высоту, своей жизнью, идти по открывшемуся ему направлению, он ужасается перед тем, что открылось ему с высоты, и нарочно спускается вниз, ложится как можно ниже, чтобы не видеть обрывов, открывающихся ему. Но сила разумного сознания опять поднимает его, опять он видит, опять ужасается и, чтоб не видеть, опять припадает к земле. И это продолжается до тех пор, пока он не признает наконец, что для того, чтобы спастись от ужаса перед увлекающим его движением погибельной жизни, ему надо понять, что его движение в плоскости – его пространственное и временное существование – не есть его жизнь, а что жизнь его только в движении в высоту, что только в подчинении его личности закону разума и заключается возможность блага и жизни. Ему надо понять, что у него есть крылья, поднимающие его над бездной, что если бы не было этих крыльев, он никогда и не поднимался бы в высоту и не встал бы бездны. Ему надо поверить в свои крылья и лететь туда, куда они влекут его.

Только от этого недостатка веры и происходят те кажущиеся странными сначала явления колебания истинной жизни, остановки ее и раздвоения сознания.

Только человеку, понимающему свою жизнь в животном существовании, определяемом пространством и временем, кажется, что разумное сознание проявлялось временами в животном существовании. И глядя так на проявление в себе разумного сознания, человек спрашивает себя, когда и при каких условиях проявлялось в нем его разумное сознание. Но сколько бы ни исследовал человек свое прошлое, он никогда не найдет этих времен проявления разумного сознания: ему всегда представляется, что его или никогда не было, или оно всегда было. Если ему кажется, что были промежутки разумного сознания, то только потому, что жизнь разумного сознания он не признает жизнью. Понимая свою жизнь только как животное существование, определяемое пространственными и временными условиями, человек и пробуждение и деятельность разумного сознания хочет измерять тою же меркой: он спрашивает себя – когда, сколько времени, в каких условиях я находился в обладании разумным сознанием? Но промежутки между пробуждениями разумной жизни существуют только для человека, понимающего свою жизнь, как жизнь животной личности. Для человека же, понимающего свою жизнь в том, в чем она и есть, – в деятельности разумного сознания, не может быть этих промежутков.

Разумная жизнь есть. Она одна есть. Промежутки времени одной минуты или 50000 лет безразличны для нее, потому что для нее нет времени. Жизнь человека истинная

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 – та, из которой он составляет себе понятие о всякой другой жизни, – есть стремление к благу, достигаемому подчинением своей личности закону разума. Ни разум, ни степень подчинения ему не определяются ни пространством, ни временем. Истинная жизнь человеческая происходит вне пространства и времени.

Глава XV

Отречение от блага животной личности есть закон жизни человеческой. Жизнь есть стремление к благу. Стремление к благу есть жизнь. Так понимали, понимают и всегда будут понимать жизнь все люди. И потому жизнь человека есть стремление к человеческому благу, а стремление к человеческому благу и есть жизнь человеческая. Толпа, люди не мыслящие, понимают благо человека в благе его животной личности.

Ложная наука, исключая понятие блага из определения жизни, понимает жизнь в животном существовании и потому благо жизни видит только в животном благе и сходится с заблуждением толпы.

В том и другом случае заблуждение происходит от смешения личности, индивидуальности, как называет наука, с разумным сознанием. Разумное сознание включает в себя личность. Личность же не включает в себя разумное сознание. Личность есть свойство животного и человека, как животного. Разумное сознание есть свойство одного человека.

Животное может жить только для своего тела – ничто не мешает ему жить так; оно удовлетворяет своей личности и бессознательно служит своему роду и не знает того, что оно есть личность; но разумный человек не может жить только для своего тела. Он не может жить так потому, что он знает, что он личность, а потому знает, что и другие существа – такие же личности, как и он, знает все то, что должно происходить от отношений этих личностей.

Если бы человек стремился только к благу своей личности, любил только себя, свою личность, то он не знал бы, что другие существа любят также себя, как не знают этого животные; но если человек знает, что он личность, стремящаяся к тому же, к чему стремятся и все окружающие его личности, он не может уже стремиться к тому благу, которое видно, как зло, его разумному сознанию, и жизнь его не может уже быть в стремлении к благу личности. Человеку только кажется иногда, что его стремление к благу имеет предметом удовлетворение требований животной личности. Обман этот происходит вследствие того, что человек принимает то, что он видит происходящим в своем животном, за цель деятельности своего разумного сознания. Происходит нечто подобное тому, что бы делал человек, руководясь в бдящем состоянии тем, что он видит во сне.

И тогда-то, если этот обман поддерживается ложными учениями, и происходит в человеке смешение личности с разумным сознанием.

Но разумное сознание всегда показывает человеку, что удовлетворение требований его животной личности не может быть его благом, а потому и его жизнью, и неудержимо влечет его к тому благу и потому к той жизни, которая свойственна ему и не умещается в его животной личности.

Обыкновенно думают и говорят, что отречение от блага личности есть подвиг, достоинство человека. Отречение от блага личности – не достоинство, не подвиг, а неизбежное условие жизни человека. В то же время, как человек сознает себя личностью, отделенной от всего мира, он познает и другие личности отделенными от всего мира, и их связь между собою, и прозрачность блага своей личности, и одну действительность блага только такого, которое могло бы удовлетворять его разумное сознание.

Для животного деятельность, не имеющая своей целью благо личности, а прямо противоположная этому благу, есть отрицание жизни, но для человека это как раз наоборот. Деятельность человека, направленная на достижение только блага личности, есть полное отрицание жизни человеческой.

Для животного, не имеющего разумного сознания, показывающего ему бедственность и конечность его существования, благо личности и вытекающее из него продолжение рода личности есть высшая цель жизни. Для человека же личность есть только та ступень существования, с которой открывается ему истинное благо его жизни, не совпадающее с благом его личности.

Сознание личности для человека – не жизнь, но тот предел, с которого начинается его жизнь, состоящая все в большем и большем достижении свойственного ему блага, независимого от блага животной личности.

По ходячему представлению о жизни, жизнь человеческая есть кусок времени от рождения и до смерти его животного. Но это не есть жизнь человеческая; это только существование человека как животной личности. Жизнь же человеческая есть нечто, только проявляющееся в животном существовании, точно так же, как жизнь органическая есть нечто, только проявляющееся в существовании вещества.

Человеку прежде всего представляются видимые цели его личности целями его жизни. Цели эти видимы и потому кажутся понятными.

Цели же, указываемые ему его разумным сознанием, кажутся непонятными, потому что они невидимы. И человеку сначала страшно отказаться от видимого и отдаться невидимому.

Человеку, извращенному ложными учениями мира, требования животного, которые исполняются сами собой и видимы, и на себе и на других, кажутся просты и ясны, новые же невидимые требования разумного сознания представляются противоположными; удовлетворение их, которое не делается само собой, а которое надо совершать самому, кажется чем-то сложным и неясным. Страшно и жутко отречься от видимого представления о жизни и отдаться невидимому сознанию ее, как страшно и жутко было бы ребенку рожаться, если бы он мог чувствовать свое рождение, – но делать нечего, когда очевидно, что видимое представление влечет к смерти, а невидимое сознание одно дает жизнь.

Глава XVI

Животная личность есть орудие жизни

Никакие рассуждения ведь не могут скрыть от человека той очевидной, несомненной истины, что личное существование его есть нечто непрестанно-погибающее, стремящееся к смерти, и что потому в его животной личности не может быть жизни.

Не может не видеть человек, что существование его личности от рождения и детства до старости и смерти есть не что иное, как постоянная трата и умаление этой животной личности, кончающееся неизбежной смертью; и потому сознание своей жизни в личности, включающей в себя желание увеличения и неистребимости личности, не может не быть неперестающим противоречием и страданием, не может не быть злом, тогда как единственный смысл его жизни есть стремление к благу.

В чем бы ни состояло истинное благо человека, для него неизбежно отречение его от блага животной личности.

Отречение от блага животной личности есть закон жизни человеческой. Если он не совершается свободно, выражаясь в подчинении разумному сознанию, то он совершается в каждом человеке насильно при плотской смерти его животного, когда он от тяжести страданий желает одного: избавиться от мучительного сознания погибающей личности и перейти в другой вид существования.

Вступление в жизнь и жизнь человека подобно тому, что совершается с лошадью, которую хозяин выводит из конюшни и впрягает. Лошади, выходящей из конюшни и увидавшей свет и почуявшей свободу, кажется, что в этой-то свободе и жизнь, но ее впрягают и трогают. Она чует за собой тяжесть и, если она думает, что жизнь ее в том, чтобы бегать на свободе, она начинает биться, падает, убивается иногда. Но если она не убьется, ей только два выхода: или она пойдет и повезет и увидит, что тяжесть не велика и езда не мука, а радость, или отобьется от рук, и тогда хозяин сведет ее на рушильное колесо, привяжет арканом к стене, колесо завертится под ней, и она будет ходить в темноте на одном месте, страдая, но ее силы не пропадут даром: она сделает свою невольную работу, и закон исполнится и на ней. Разница будет только в том, что первая будет работать радостно, а вторая невольно и мучительно.

«Но для чего же эта личность, от блага которой я, человек, должен отречься, чтобы получить жизнь?» – говорят люди, признающие свое животное существование жизнью.

Для чего дано человеку это сознание личности, противящейся проявлению истинной

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
его жизни? На вопрос этот можно ответить подобным же вопросом, который могло бы
сделать животное, стремящееся к своим целям сохранения своей жизни и рода.

«Зачем, спросило бы оно, это вещество и его законы – механические, физические, химические и другие, с которыми я должно бороться, чтобы достигнуть своих целей?» «Если мое призвание, сказала бы животное, есть осуществление жизни животного, то зачем все эти преграды, которые я должно одолевать?»

Нам ясно, что вся материя и ее законы, с которыми борется животное и которое она подчиняет себе для существования личности животного, суть не преграды, а средства для достижения им своих целей. Только переработкой материи и посредством ее законов животное и живет. Точно то же и в жизни человека. Животная личность, в которой застаёт себя человек и которую он призван подчинять своему разумному сознанию, есть не преграда, но средство, которым он достигает цели своего блага: животная личность для человека есть то орудие, которым он работает. Животная личность для человека – это лопата, которая дана разумному существу для того, чтобы ею копать и, копая, тупить ее и точить, тратить, а не отчищать и хранить. Это талант, данный ему для прироста, а не для хранения. «И кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь свою ради Меня, тот обретет ее».

В этих словах сказано, что сберечь нельзя то, что должно погибнуть и не переставая погибает, – а что только отрекаясь от того, что погибнет и должно погибнуть, от нашей животной личности, мы получаем нашу истинную жизнь, которая не погибает и не может погибнуть. Сказано то, что истинная жизнь наша начинается только тогда, когда мы перестаем считать жизнью то, что не было и не могло быть для нас жизнью, – наше животное существование. Сказано то, что тот, кто будет беречь лопату, которая есть у него для приготовления себе пищи, поддерживающей жизнь, тот, сберегши лопату, потеряет пищу и жизнь.

Глава XVII

Рождение духом

«Должно вам родиться снова», сказал Христос. Не то чтобы человеку кто-нибудь велел родиться, но человек неизбежно приведен к этому. Чтобы иметь жизнь, ему нужно вновь родиться в этом существовании – разумным сознанием.

Человеку дано разумное сознание с тем, чтобы он положил жизнь в том благе, которое открывается ему его разумным сознанием. Тот, кто в этом благе положил жизнь, тот имеет жизнь; тот же, кто не полагает в нем жизни, а полагает ее в благе животной личности, тот этим самым лишает себя жизни. В этом состоит определение жизни, данное Христом.

Люди, признающие жизнью свое стремление к благу личности, слышат эти слова и не то, что не признают, а не понимают, не могут понимать их. Им кажутся эти слова или ничего не значащими, или значащими очень мало, означающими некоторое напущенное на себя сентиментальное и мистическое, так они любят называть, настроение. Они не могут понимать значение этих слов, выражающих объяснение недоступного им состояния, как не могло бы сухое, непроросшее семя понимать состояния семени отсыревшего и уже наклюнувшегося. Для сухих зерен то солнце, которое в словах этих светит на рождающееся к жизни семя, есть только незначащая случайность – несколько большее тепло и свет, но для наклюнувшегося семени оно есть причина рождения к жизни. Точно так же для людей, не доживших еще до внутреннего противоречия животной личности и разумного сознания, свет солнца разума есть только незначащая случайность, сентиментальные, мистические слова. Солнце приводит к жизни только тех, в ком зародилась уже жизнь.

О том же, как зарождается она, почему, когда, где, не только в человеке, но и в животном и растении, никто никогда не узнал. О зарождении ее в человеке Христос сказал, что никто этого не знает и не может знать.

И в самом деле: что же может знать человек о том, как зарождается в нем жизнь? Жизнь есть свет человеков, жизнь есть жизнь, – начало всего; как же может знать человек о том, как она зарождается? Зарождается и погибает для человека то, что не живет, то, что проявляется в пространстве и времени. Жизнь же истинная есть, и потому она для человека не может ни зародиться, ни погибнуть.

Глава XVIII

Чего требует разумное сознание

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Да, разумное сознание несомненно, неопровержимо говорит человеку, что при том устройстве мира, которое он видит из своей личности, ему, его личности, блага быть не может. Жизнь его есть желание блага себе, именно себе, и он видит, что благо это невозможно. Но странное дело: несмотря на то, что он видит несомненно, что благо это невозможно ему, он все-таки живет одним желанием этого невозможного блага, – блага только себе.

Человек с проснувшимся (только проснувшимся), но не подчинившим еще себе животную личность разумным сознанием если он не убивает себя, то живет только для того, чтобы осуществить это невозможное благо: живет и действует человек только для того, чтобы благо было ему одному, чтобы все люди и даже все существа жили и действовали только для того, чтобы ему одному было хорошо, чтобы ему было наслаждение, для него не было страданий и не было смерти.

Удивительное дело: несмотря на то, что и опыт свой, и наблюдение жизни всех окружающих, и разум несомненно показывают каждому человеку недостижимость этого, показывают ему, что невозможно заставить другие живые существа перестать любить самих себя, а любить только его, – несмотря на это, жизнь каждого человека только в том, чтобы богатством, властью, почестями, славой, лестью, обманом, как-нибудь, но заставить другие существа жить не для себя, а для него одного, – заставить все существа любить не самих себя, а его одного.

Люди делали и делают все, что могут, для этой цели и вместе с тем видят, что они делают невозможное. «Жизнь моя есть стремление к благу», говорит себе человек. «Благо возможно для меня только, когда все будут любить меня больше, чем самих себя, а все существа любят только себя, – стало быть, все, что я делаю для того, чтобы их заставить любить меня, бесполезно. Бесполезно, а другого ничего я делать не могу».

Проходят века: люди узнают расстояние от светил, определяют их вес, узнают состав солнца и звезд, а вопрос о том, как согласить требования личного блага с жизнью мира, исключаяющего возможность этого блага, остается для большинства людей таким же нерешенным вопросом, каким он был для людей за 5000 лет назад.

Разумное сознание говорит каждому человеку: да, ты можешь иметь благо, но только если все будут любить тебя больше себя. И то же разумное сознание показывает человеку, что этого быть не может, потому что они все любят только себя. И потому единственное благо, которое открывается человеку разумным сознанием, им же опять и закрывается.

Проходят века, и загадка о благе жизни человека остается для большинства людей той же неразрешимой загадкой. А между тем загадка разгадана уже давным-давно. И всем тем, которые узнают разгадку, всегда удивительным кажется, как они сами не разгадали ее, – кажется, что они давно уже знали, но только забыли ее: так просто и само собою напрашивается разрешение загадки, казавшейся столь трудной среди ложных учений нашего мира.

Ты хочешь, чтобы все жили для тебя, чтобы все любили тебя больше себя? Есть только одно положение, при котором желание твое может быть исполнено. Это такое положение, при котором все существа жили бы для блага других и любили бы других больше себя. Тогда только ты и все существа любимы бы были всеми, и ты в числе их получил бы то самое благо, которого ты желаешь. Если же благо возможно тебе только тогда, когда все существа любили бы других более себя, то и ты, живое существо, должен любить другие существа более себя.

Только при этом условии возможны благо и жизнь человека, и только при этом условии уничтожается и то, что отравляло жизнь человека, – уничтожается борьба существ, мучительность страданий и страх смерти.

В самом деле, что составляло невозможность блага личного существования? Во-первых, борьба ищущих личного блага существ между собой; во-вторых, обман наслаждения, приводящий к трате жизни, к пресыщению, к страданиям, и, в-третьих – смерть. Но стоит допустить мысленно, что человек может заменить стремление к благу своей личности стремлением к благу других существ, чтобы уничтожилась невозможность блага и благо представлялось бы достижимым человеку. Глядя на мир из своего представления о жизни, как стремления к личному благу, человек видел в мире неразумную борьбу существ, губящих друг друга. Но стоит человеку признать свою жизнь в стремлении к благу других, чтобы увидеть в мире совсем другое:

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy
увидать рядом с случайными явлениями борьбы существ постоянное взаимное служение друг другу этих существ, – служение, без которого немисливо существование мира.

Стоит допустить это, и вся прежняя безумная деятельность, направленная на недостижимое благо личности, заменяется другою деятельностью, согласной с законом мира и направленной к достижению наибольшего возможного блага своего и всего мира.

Другая причина бедственности личной жизни и невозможности блага для человека была: обманчивость наслаждений личности, тратящих жизнь, приводящих к пресыщению и страданиям. Стоит человеку признать свою жизнь в стремлении к благу других, и уничтожается обманчивая жажда наслаждений; праздная же и мучительная деятельность, направленная на наполнение бездонной бочки животной личности, заменяется согласной с законами разума деятельностью поддержания жизни других существ, необходимой для его блага, и мучительность личного страдания, уничтожающего деятельность жизни, заменяется чувством сострадания к другим, вызывающим несомненно плодотворную и самую радостную деятельность.

Третья причина бедственности личной жизни была – страх смерти. Стоит человеку признать свою жизнь не в благе своей животной личности, а в благе других существ, и пугало смерти навсегда исчезает из глаз его.

Ведь страх смерти происходит только от страха потерять благо жизни с ее плотской смертью. Если же бы человек мог полагать свое благо в благе других существ, т. е. любил бы их больше себя, то смерть не представлялась бы ему тем прекращением блага и жизни, каким она представляется человеку, живущему только для себя. Смерть для человека, живущего для других, не могла бы представляться ему уничтожением блага и жизни, потому что благо и жизнь других существ не только не уничтожаются жизнью человека, служащего им, но очень часто увеличиваются и усиливаются жертвою его жизни.

Глава XIX

Подтверждение требований разумного сознания

«Но это не жизнь», отвечает возмущенное заблудшее человеческое сознание. «Это отречение от жизни, самоубийство». – Ничего этого не знаю, отвечает разумное сознание, – знаю, что такова жизнь человека – и другой нет и быть не может. Знаю более того, – знаю, что такая жизнь есть жизнь и благо, и для человека, и для всего мира. Знаю, что при прежнем взгляде на мир жизнь моя и всего существующего была злом и бессмыслицей; при этом же взгляде она является осуществлением того закона разума, который вложен в человека. Знаю, что наибольшее, до бесконечности могущее быть увеличиваемым, благо жизни каждого существа может быть достигнуто только этим законом служения каждого всем и потому всех каждому.

«Но если это и может быть законом мыслимым, это не есть закон действительности», отвечает возмущенное заблудшее сознание человека. «Теперь другие не любят меня больше себя, и потому и я не могу любить их больше себя и для них лишаться наслаждений и подвергаться страданиям. Мне дела нет до закона разума; я себе хочу наслаждений и себе хочу избавления от страданий. Но теперь существует борьба существ между собою, и если я один не буду бороться, другие задавят меня. Мне все равно, каким путем мысленно достигается наибольшее благополучие всех, – мне нужно теперь наибольшее мое действительное благо», говорит ложное сознание.

– Ничего не знаю про это, – отвечает разумное сознание. – Знаю только, что то, что ты называешь своими наслаждениями, только тогда будет благом для тебя, когда ты не сам будешь братъ, а другие будут давать их тебе, и только тогда твои наслаждения будут делаться излишеством и страданиями, какими они делаются теперь, когда ты сам для себя будешь ухватывать их. Только тогда ты избавишься и от действительных страданий, когда другие будут тебя избавлять от них, а не ты сам, – как теперь, когда из страха воображаемых страданий ты лишаешь себя самой жизни.

Знаю, что жизнь личности, жизнь такая, при которой необходимо, чтобы все любили меня одного и я любил бы только себя, и при которой я мог бы получить как можно больше наслаждений и избавиться от страданий и смерти, есть величайшее и неперестающее страдание. Чем больше я буду любить себя и бороться с другими, тем больше будут ненавидеть меня и тем злее бороться со мной; чем больше я буду ограждаться от страданий, тем они будут мучительнее; чем больше я буду ограждаться от смерти, тем она будет страшнее.

Знаю, что, что бы ни делал человек, он не получит блага до тех пор, пока не будет жить сообразно закону своей жизни. Закон же его жизни не есть борьба, а, напротив, взаимное служение существ друг другу.

«Но я знаю жизнь только в своей личности. Мне невозможно полагать свою жизнь в благе других существ».

– Ничего не знаю этого, – говорит разумное сознание, – знаю только то, что моя жизнь и жизнь мира, представлявшиеся мне прежде злой бессмыслицей, представляются мне теперь одним разумным целым, живущим и стремящимся к одному и тому же благу, чрез подчинение одному и тому же закону разума, который я знаю в себе.

«А мне невозможно это!» говорит заблудшее сознание, – и вместе с тем нет человека, который бы делал бы этого самого невозможного, в этом самом невозможном не полагал бы лучшего блага своей жизни.

«Невозможно полагать свое благо в благе других существ», а между тем нет человека, который бы не знал состояния, при котором благо существ вне его становилось его благом. «Невозможно полагать благо в трудах и страданиях для другого», а стоит человеку отдаться этому чувству сострадания, – и наслаждения личности теряют для него смысл, и сила жизни его переходит в труды и страдания для блага других, и, страдания и труды становятся для него благом. «Невозможно жертвовать своей жизнью для блага других», а стоит человеку познать это чувство, и смерть не только не видна и не страшна ему, но представляется высшим доступным ему благом.

Разумный человек не может не видеть, что если допустить мысленно возможность замены стремления к своему благу стремлением к благу других существ, то жизнь его, вместо прежнего неразумия ее и бедственности, становится разумною и благою. Он не может не видеть и того, что, при допущении такого же понимания жизни и в других людях и существах, жизнь всего мира, вместо прежде представлявшихся безумия и жестокости, становится тем высшим разумным благом, которого только может желать человек, – вместо прежней бессмысленности и бесцельности, получает для него разумный смысл: целью жизни мира представляется такому человеку бесконечное просветление и единение существ мира, к которому идет жизнь и в котором сначала люди, а потом и все существа, более и более подчиняясь закону разума, будут понимать (то, что дано понимать теперь одному человеку), что благо жизни достигается не стремлением каждого существа к своему личному благу, а стремлением, согласно с законом разума, каждого существа к благу всех других.

Но мало того: допустив только возможность замены стремления к своему благу стремлением к благу других существ, человек не может не видеть и того, что это-то самое постепенное, большее и большее отречение его личности и перенесение цели деятельности из себя в другие существа и есть все движение вперед человечества и тех живых существ, которые ближе к человеку. Человек не может не видеть в истории, что движение общей жизни не в усилении и увеличении борьбы существ между собою, а, напротив, в уменьшении несогласия и в ослаблении борьбы; что движение жизни только в том, что мир, из вражды и несогласия, через подчинение разуму приходит все более к согласию и единству. Допустив это, человек не может не видеть, что люди, поедавшие друг друга, перестают поедать; убивавшие пленных и своих детей, перестают их убивать; что военные, гордившиеся убийством, перестают этим гордиться; учреждавшие рабство, уничтожают его; что люди, убивавшие животных, начинают приручать их и меньше убивать; начинают питаться, вместо тела животных, их яйцами и молоком; начинают и в мире растений уменьшать их уничтожение. Человек видит, что лучшие люди человечества осуждают поиски за наслаждениями, призывают людей к воздержности, а самые лучшие люди, восхваляемые потомством, показывают примеры жертвы своим существованием для блага других. Человек видит, что то самое, что он допустил только по требованиям разума, то самое и совершается действительно в мире и подтверждается прошедшею жизнью человечества.

Но мало и этого: еще сильнее и убедительнее, чем разум и история, это самое, совсем из другого как будто источника, показывает человеку стремление его сердца, влекущее его, как к непосредственному благу, к той самой деятельности, которую указывает ему его разум и которая в сердце его выражается любовью.

Глава XX

Требование личности кажется несовместным с требованием разумного сознания и разум, и рассуждение, и история, и внутреннее чувство – все, казалось бы, убеждает человека в справедливости такого понимания жизни; но человеку, воспитанному в учении мира, все-таки кажется, что удовлетворение требований его разумного сознания и его чувства не может быть законом его жизни.

«Не бороться с другими за свое личное благо, не искать наслаждений, не предотвращать страдания и не бояться смерти! Да это невозможно, да это отречение от всей жизни! И как же я отрекусь от личности, когда я чувствую требования моей личности и разумом познаю законность этих требований?» – говорят с полной уверенностью образованные люди нашего мира.

И замечательное явление. Люди рабочие, простые, мало упражнявшие свой рассудок, почти никогда не отстаивают требований личности и всегда чувствуют в себе требования, противоположные требованиям личности; но полное отрицание требований разумного сознания и, главное, опровержение законности этих требований и отстаивание прав личности встречается только между людьми богатыми, утонченными, с развитым рассудком.

Человек развитой, изнеженный, праздный всегда будет доказывать, что личность имеет свои неотъемлемые нравы. Человек же голодающий не будет доказывать, что человеку нужно есть, – он знает, что все это знают и что этого ни доказать, ни опровергнуть нельзя: он только будет есть.

Происходит это от того, что человек простой, так называемый необразованный, всю жизнь свою работавший телом, не извратил свой разум и удержал его во всей чистоте и силе.

Человек же, всю жизнь свою мысливший не только о ничтожных, пустячных предметах, но и о таких предметах, о которых несвойственно думать человеку, извратил свой разум: разум не свободен у него. Разум занят несвойственным ему делом, обдумыванием своих потребностей личности, – развитием, увеличением их и придумыванием средств их удовлетворения.

«Но я чувствую требования моей личности, и потому эти требования и законны», – говорят так называемые образованные люди, воспитанные мирским учением.

И нельзя им не чувствовать требований своей личности. Вся жизнь этих людей направлена на мнимое увеличение блага личности. Благо же личности представляется им в удовлетворении потребностей. Потребностями же личности они называют все те условия существования личности, на которые они направили свой разум. Потребности же сознанные, – такие, на которые направлен разум, – всегда вследствие этого сознания разрастаются до бесконечных пределов. Удовлетворение же этих разросшихся потребностей заслоняет от них требование их истинной жизни.

Так называемая наука об обществе в основу своих исследований ставит учение о потребностях человека, забывая то неудобное для этого учения обстоятельство, что потребностей у всякого человека или нет никаких, как их нет у человека, убивающего себя или морящего голодом, или, буквально, их бесчисленное количество.

Потребностей существования животного человека столько, сколько сторон этого существования, а сторон столько же, сколько радиусов в шаре. Потребности пищи, питья, дыхания, упражнения всех мускулов и нервов; потребности труда, отдыха, удовольствия, семейной жизни; потребности науки, искусства, религии, разнообразия их. Потребности, во всех этих отношениях, ребенка, юноши, мужа, старца, девушки, женщины, старухи; потребности китайца, парижанина, русского, лапландца. Потребности, соответствующие привычкам пород, болезням...

Можно перечислять до конца дней, не перечислив всего, в чем могут состоять потребности личного существования человека. Потребностями могут быть все условия существования, а условий существования бесчисленное множество.

Потребностями называют, однако, только те условия, которые сознаны. Но сознанные условия, как только они сознаны, теряют свое настоящее значение и получают все то преувеличенное значение, которое дает им направленный на них разум, и заслоняют собою истинную жизнь.

То, что называют потребностями, т. е. условия животного существования человека, можно сравнить с бесчисленными способными раздуться шариками, из которых бы было составлено какое-нибудь тело. Все шарики равны одни с другими и имеют себе место и не стеснены, пока они не раздуваются, – и все потребности равны и имеют место и не ощущаются болезненно, пока они не сознаны. Но стоит начать раздуть шарик, и он может быть раздут так, что займет больше места, чем все остальные, стеснит другие и сам будет стеснен. То же и с потребностями: стоит направить на одну из них разумное сознание, и эта сознанная потребность занимает всю жизнь и заставляет страдать все существо человека.

Глава XXI

Требуется не отречение от личности, а подчинение ее разумному сознанию. Да, утверждение о том, что человек не чувствует требований своего разумного сознания, а чувствует одни потребности личности, есть ничто иное, как утверждение того, что наши животные похоти, на усиление которых мы употребили весь наш разум, владеют нами и скрыли от нас нашу истинную человеческую жизнь. Сорная трава разросшихся пороков задавила ростки истинной жизни.

Да как же и не быть этому в нашем мире, когда прямо признавалось и признается теми, которые считаются учителями других, что высшее совершенство отдельного человека есть всестороннее развитие утонченных потребностей его личности, что благо масс в том, чтобы у них было много потребностей и они могли бы удовлетворять их, что благо людей состоит в удовлетворении их потребностей.

Как же могут люди, воспитанные в таком учении, не утверждать того, что требований разумного сознания они не чувствуют, а чувствуют одни потребности личности? Да как же им и чувствовать требования разума, когда весь разум их без остатка ушел на усиление их похотей, и как им отречься от требований своих похотей, когда эти похоти поглотили всю их жизнь?

«Отречение от личности невозможно», говорят обыкновенно эти люди, нарочно стараясь извратить вопрос и, вместо понятия подчинения личности закону разума, подставляя понятие отречения от нее.

«Это противоестественно, говорят они, и потому невозможно». Да никто и не говорит об отречении от личности. Личность для разумного человека есть то же, что дыхание, кровообращение для животной личности. Как животной личности отречься от кровообращения? Про это и говорить нельзя. Так же нельзя говорить разумному человеку и об отречении от личности. Личность для разумного человека есть такое же необходимое условие его жизни, как и кровообращение – условие существования его животной личности.

Личность, как животная личность, и не может заявлять и не заявляет никаких требований. Требования эти заявляет ложно направленный разум – разум, направленный не на руководство жизнью, не на освещение ее, а на раздутие похотей личности.

Требования животной личности всегда удовлетворимы. Не может человек говорить, что я буду есть или во что оденусь? Все эти потребности обеспечены человеку так же, как птице и цветку, если он живет разумною жизнью. И в действительности, кто, думающий человек, может верить, чтобы он мог уменьшить бедственность своего существования обеспечением своей личности?

Бедственность существования человека происходит не от того, что он – личность, а от того, что он признает существование своей личности – жизнью и благом. Только тогда являются противоречие, раздвоение и страдание человека.

Страдания человека начинаются только тогда, когда он употребляет силу своего разума на усиление и увеличение до бесконечных пределов разрастающихся требований личности для того, чтобы скрыть от себя требования разума.

Отречься нельзя и не нужно отречься от личности, как и от всех тех условий, в которых существует человек; но можно и должно не признавать эти условия самою жизнью. Можно и должно пользоваться данными условиями жизни, но нельзя и не должно смотреть на эти условия, как на цель жизни. Не отречься от личности, а отречься от блага личности и перестать признавать личность жизнью: вот что должно сделать человеку для того, чтобы возвратиться к единству, и для того,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 чтобы то благо, стремление к которому составляет его жизнь, было доступно ему.

С древнейших времен учение о том, что признание своей жизни в личности есть уничтожение жизни и что отречение от блага личности есть единственный путь достижения жизни, было проповедуемо великими учителями человечества.

«Да, но это что же? Это буддизм?» говорят на это обыкновенно люди нашего времени. «Это нирвана, это стояние на столбу!» И когда они сказали это, людям нашего времени кажется, что они самым успешным образом опровергли то, что все очень хорошо знают и чего скрыть ни от кого нельзя: что жизнь личная бедственна и не имеет никакого смысла.

«Это буддизм, нирвана», говорят они, и им кажется, что этими словами они опровергли все то, что признавалось и признается миллиардами людей и что каждый из нас в глубине души знает очень хорошо, – именно, что жизнь для целей личности губительна и бессмысленна, и что если есть какой-нибудь выход из этой губительности и бессмысленности, то выход этот несомненно ведет через отречение от блага личности.

То, что так понимала и понимает жизнь большая половина человечества, то, что величайшие умы понимали жизнь так же, – то, что никак нельзя ее понимать иначе, нисколько не смущает их. Они так уверены в том, что все вопросы жизни если не разрешаются самым удовлетворительным образом, то устраняются телефонами, оперетками, бактериологией, электрическим светом, робуритом и т. п., что мысль об отречении от блага жизни личной представляется им только отголоском древнего невежества.

А между тем несчастные не подозревают того, что самый грубый индеец, стоящий годы на одной ноге во имя только отречения от блага личности для нирваны, – без всякого сравнения более живой человек, чем они, озверевшие люди нашего современного, европейского общества, летающие по всему миру по железным дорогам и при электрическом свете показывающие и по телеграфам и телефонам разглашающие всему свету свое скотское состояние. Индеец этот понял то, что в жизни личности и жизни разумной есть противоречие, и разрешает его, как умеет; люди же нашего образованного мира не только не поняли этого противоречия, но даже и не верят тому, что оно есть. Положение о том, что жизнь человеческая не есть существование личности человека, добытое тысячелетним духовным трудом всего человечества, – положение это для человека (не животного) стало в нравственном мире не только такой же, но гораздо более несомненной и несокрушимой истиной, чем вращение земли и законы тяготения. Всякий мыслящий человек, ученый, невежда, старик, ребенок понимают и знают это; скрыто это только от самых диких людей в Африке и в Австралии и от одичавших обеспеченных людей в европейских городах и столицах. Истина эта стала достоянием человечества, и если человечество не возвращается назад в своих побочных знаниях механики, алгебры, астрономии, тем более в основном и главном знании определения своей жизни оно не может идти назад. Забыть и стереть с сознания человечества то, что оно вынесло из своей жизни многих тысячелетий, – уяснение тщеты, бессмысленности и бедственности личной жизни – невозможно. Попытки восстановления допотопного дикого взгляда на жизнь, как на личное существование, которыми занята так называемая наука нашего европейского мира, только очевиднее показывают рост разумного сознания человечества, показывают до очевидности, как выросло уже человечество из своего детского платья. И философские теории самоуничтожения, и практика разрастающихся в страшной пропорции самоубийств показывают невозможность возвращения человечества к пережитой ступени сознания.

Жизнь, как личное существование, отжита человечеством, и вернуться к ней нельзя, и забыть то, что личное существование человека не имеет смысла, невозможно. Что бы мы ни писали, ни говорили, ни открывали, как бы ни усовершенствовали нашу личную жизнь, отрицание возможности блага личности остается непоколебимой истиной для всякого разумного человека нашего времени.

«А все-таки вертится». Дело не в том, чтобы опровергать положения Галилея и Коперника и придумывать новые Птолемеи круги*, – их уж нельзя придумать, – а дело в том, чтобы идти дальше, делать дальнейшие выводы из того положения, которое вошло уже в общее сознание человечества. То же и с положением о невозможности блага личности, высказанным и браминами, и Буддой, и Лаодзы, и Соломоном, и стоиками, и всеми истинными мыслителями человечества. Не скрывать от себя надо это положение и не обходить его всеми способами, а смело и явно

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
признать его и делать из него дальнейшие выводы.

Глава XXII

Чувство любви есть проявление деятельности личности, подчиненной разумному сознанию

Жить для целей личности разумному существу нельзя. Нельзя потому, что все пути заказаны ему; все цели, к которым влечется животная личность человека, – все явно недостижимы. Разумное сознание указывает другие цели, и цели эти не только достижимы, но дают полное удовлетворение разумному сознанию человека; сначала однако, под влиянием ложного учения мира, человеку представляется, что цели эти противоположны его личности.

Как ни старается человек, воспитанный в нашем мире, с развитыми, преувеличенными похотями личности, признать себя в своем разумном я, он не чувствует в этом я стремления к жизни, которое он чувствует в своей животной личности. Разумное я как будто созерцает жизнь, но не живет само и не имеет влечения к жизни. Разумное я не чувствует стремления к жизни, а животное я должно страдать, и потому остается одно – избавиться от жизни.

Так недобросовестно разрешают вопрос отрицательные философы нашего времени (Шопенгауэр, Гартман), отрицающие жизнь и все-таки остающиеся в ней, вместо того, чтобы воспользоваться возможностью выйти из нее. И так добросовестно разрешают этот вопрос самоубийцы, выходя из жизни, не представляющей для них ничего, кроме зла.

Самоубийство представляется им единственным выходом из неразумия человеческой жизни нашего времени.

Рассуждение пессимистической философии и самых обыкновенных самоубийц такое: есть животное я, в котором есть влечение к жизни. Это я с своим влечением не может быть удовлетворено; есть другое я, разумное, в котором нет никакого влечения к жизни, которое только критически созерцает всю ложную жизнерадостность и страстность животного я и отрицает ее всю.

Отдайся я первому, – я вижу, что живу безумно и иду к бедствиям, все глубже и глубже погружаясь в них. Отдайся я второму, разумному я, – во мне не остается влечения к жизни. Я вижу, что жить для одного того, для чего мне хочется жить, для счастья личности, – нелепо и невозможно. Для разумного же сознания и можно бы жить, да незачем и не хочется. Служить тому началу, от которого я исшел, – богу. Зачем? У бога, если он есть, и без меня найдутся служители. А мне зачем? Смотреть на всю эту игру жизни можно, пока не скучно. А скучно, – можно уйти, убить себя. Так я и делаю.

Вот то противоречивое представление жизни, до которого дожило человечество еще до Соломона, до Будды и к которому хотят возвратить его ложные учителя нашего времени.

Требования личности доведены до крайних пределов неразумия. Проснувшийся разум отрицает их. Но требования личности так разрослись, так загроздили сознание человека, что ему кажется, что разум отрицает всю жизнь. Ему кажется то, что если откинуть из своего сознания жизни все то, что отрицает его разум, то ничего не останется. Он не видит уже того, что остается. Остаток, – тот остаток, в котором есть жизнь, ему кажется ничем.

Но свет во тьме светит, и тьма не может объять его.

Учение истины знает эту дилемму – или безумное существование, или отречение от него – и разрешает ее.

Учение, которое всегда и называлось учением о благе, учение истины, указало людям, что вместо того обманчивого блага, которого они ищут для животной личности, они не то, что могут получить когда-то, где-то, но всегда имеют сейчас, здесь, неотъемлемое от них, действительное благо, всегда доступное им.

Благо это не есть нечто, только выведенное из рассуждения, не есть что-то такое, что надо отыскивать где-то, не есть благо, обещанное где-то и когда-то, а есть то самое знакомое человеку благо, к которому непосредственно влечется каждая неразвращенная душа человеческая.

Все люди с самых первых детских лет знают, что, кроме блага животной личности, есть еще одно, лучшее благо жизни, которое не только независимо от удовлетворения похотей животной личности, но, напротив, бывает тем больше, чем больше отречение от блага животной личности.

Чувство это, разрешающее все противоречия жизни человеческой и дающее наибольшее благо человеку, знают все люди. Чувство это есть любовь.

Жизнь есть деятельность животной личности, подчиненной закону разума. Разум есть тот закон, которому для своего блага должна быть подчинена животная личность человека. Любовь есть единственная разумная деятельность человека.

Животная личность влечется к благу; разум указывает человеку обманчивость личного блага и оставляет один путь. Деятельность на этом пути есть любовь.

Животная личность человека требует блага, разумное сознание показывает человеку бедственность всех борющихся между собою существ, показывает ему, что блага для его животной личности быть не может, показывает ему, что единственное благо, возможное ему, было бы такое, при котором не было бы ни борьбы с другими существами, ни прекращения блага, пресыщения им, но было бы предвидения и ужаса смерти.

И вот, как ключ, сделанный только к этому замку, человек в душе своей находит чувство, которое дает ему то самое благо, на которое, как на единственно возможное, указывает ему разум. И чувство это не только разрешает прежнее противоречие жизни, но как бы в этом противоречии и находит возможность своего проявления.

Животные личности для своих целей хотят воспользоваться личностью человека. А чувство любви влечет его к тому, чтобы отдать свое существование на пользу других существ.

Животная личность страдает. И эти-то страдания и облегчение их и составляют главный предмет деятельности любви. Животная личность, стремясь к благу, стремится каждым дыханием к величайшему злу – к смерти, предвидение которой нарушало всякое благо личности. А чувство любви не только уничтожает этот страх, но влечет человека к последней жертве своего плотского существования для блага других.

Глава XXIII

Проявление чувства любви невозможно для людей, не понимающих смысла своей жизни. Всякий человек знает, что в чувстве любви есть что-то особенное, способное разрешать все противоречия жизни и давать человеку то полное благо, в стремлении к которому состоит его жизнь. «Но ведь это чувство, которое приходит только изредка, продолжается недолго, и последствием его бывают еще худшие страдания», говорят люди, не разумеющие жизни.

Людям этим любовь представляется не тем единственным законным проявлением жизни, каким она представляется для разумного сознания, а только одною из тысячей разных случайностей, бывающих в жизни, – представляется одним из тех тысячей разнообразных настроений, в которых бывает человек во время своего существования: бывает, что человек щеголяет, бывает, что увлечен наукою или искусством, бывает, что увлечен службой, честолюбием, приобретением, бывает, что он любит кого-нибудь. Настроение любви представляется людям, не разумеющим жизни, – не сущностью жизни человеческой, но случайным настроением – таким же независимым от его воли, как и все другие, которым подвергается человек во время своей жизни. Даже можно часто прочесть и услышать суждения о том, что любовь есть некоторое неправильное, нарушающее правильное течение жизни, – мучительное настроение. Нечто подобное тому, что должно казаться сове, когда восходит солнце.

Чувствуется, правда, и этими людьми то, что в состоянии любви есть что-то особенное, более важное, чем во всех других настроениях. Но, не понимая жизни, люди эти не могут и понимать любви, и состояние любви представляется им таким же бедственным и таким же обманчивым, как и все другие состояния.

«Любить?.. но кого же?»

На время не стоит труда,
А вечно любить невозможно...»

Слова эти точно выражают смутное сознание людей, что в любви – спасение от бедствий жизни и единственное нечто, похожее на истинное благо, и вместе с тем признание в том, что для людей, не понимающих жизни, любовь не может быть якорем спасения. Любить некого, и всякая любовь проходит. И потому любовь могла бы быть благом только тогда, когда было бы кого любить и был бы тот, кого можно любить вечно. А так как этого нет, то и нет спасения в любви, и любовь такой же обман и такое же страдание, как и все остальное.

И так, и не иначе, как так, могут понимать любовь люди, учащие и сами научаемые тому, что жизнь есть не что иное, как животное существование.

Для таких людей любовь даже не соответствует тому понятию, которое мы все невольно соединяем с словом любовь. Она не есть деятельность добрая, дающая благо любящему и любимому. Любовь очень часто в представлении людей, признающих жизнь в животной личности, – то самое чувство, вследствие которого для блага своего ребенка одна мать отнимает у другого голодного ребенка молоко его матери и страдает от беспокойства за успех кормления; то чувство, по которому отец, мучая себя, отнимает последний кусок хлеба у голодающих людей, чтобы обеспечить своих детей; это то чувство, по которому любящий женщину страдает от этой любви и заставляет ее страдать, соблазняя ее, или из ревности губит себя и ее; то чувство, по которому бывает даже, что человек из любви насильничает женщину; это то чувство, по которому люди одного товарищества наносят вред другим, чтобы отстоять своих; это то чувство, по которому человек мучает сам себя над любимым занятием и этим же занятием причиняет горе и страдания окружающим его людям; это то чувство, по которому люди не могут стерпеть оскорбления любимому отечеству и устилают поля убитыми и ранеными, своими и чужими.

Но мало и этого, деятельность любви для людей, признающих жизнь в благе животной личности, представляет такие затруднения, что проявления ее становятся не только мучительными, но часто и невозможными. «Надо не рассуждать о любви, – говорят обыкновенно люди, не понимающие жизни, а предаваться тому непосредственному чувству предпочтения, пристрастия к людям, которое испытываешь, и это-то и есть настоящая любовь».

Они правы, что нельзя рассуждать о любви, что всякое рассуждение о любви уничтожает любовь. Но дело в том, что не рассуждать о любви могут только те люди, которые уже употребили свой разум на понимание жизни и отреклись от блага личной жизни; те же люди, которые не поняли жизни и существуют для блага животной личности, не могут не рассуждать. Им необходимо рассуждать, чтобы предаваться тому чувству, которое они называют любовью. Всякое проявление этого чувства невозможно для них без рассуждения, без разрешения неразрешимых вопросов.

В самом деле, люди предпочитают своего ребенка, своих друзей, свою жену, своих детей, свое отечество всяким другим детям, женам, друзьям, отечествам и называют это чувство любовью.

Любить вообще значит желать делать доброе. Так мы все понимаем и не можем иначе понимать любовь. И вот я люблю своего ребенка, свою жену, свое отечество, т. е. желаю блага своему ребенку, жене, отечеству больше, чем другим детям, женам и отечествам. Никогда не бывает и не может быть, чтобы я любил только своего ребенка, или жену, или только отечество. Всякий человек любит вместе и ребенка, и жену, и детей, и отечество, и людей вообще. Между тем условия блага, которого он по своей любви желает различным любимым существам, так связаны между собой, что всякая любовная деятельность человека для одного из любимых существ не только мешает его деятельности для других, но бывает в ущерб другим.

И вот являются вопросы – во имя какой любви и как действовать? Во имя какой любви жертвовать другою любовью, кого любить больше и кому делать больше добра, – жене или детям, жене и детям или друзьям? Как служить любимому отечеству, не нарушая любовь к жене, детям и друзьям? Как, наконец, решать вопросы о том, насколько можно мне жертвовать и моей личностью, нужной для служения другим? Насколько мне можно заботиться о себе для того, чтобы я мог, любя других, служить им? Все эти вопросы кажутся очень простыми для людей, не пытавшихся дать себе отчет в том чувстве, которое они называют любовью; но они не только не просты, они совершенно неразрешимы.

И недаром законник поставил Христу этот самый вопрос: кто ближний? Отвечать на эти вопросы кажется очень легко только людям, забывающим настоящие условия жизни человеческой.

Только если бы люди были боги, как мы воображаем их, только тогда они бы могли любить одних избранных людей; тогда бы только и предпочтение одних другим могло быть истинною любовью. Но люди не боги, а находятся в тех условиях существования, при которых все живые существа всегда живут одни другими, пожирая одних других, и в прямом и в переносном смысле; и человек, как разумное существо, должен знать и видеть это. Он должен знать, что всякое плотское благо получается одним существом только в ущерб другому.

Сколько бы ни уверяли людей суеверия религиозные и научные о таком будущем золотом веке, в котором всего всем будет довольно, разумный человек видит и знает, что закон его временного и пространственного существования есть борьба всех против каждого, каждого против каждого и против всех.

В той давке и борьбе животных интересов, которые составляют жизнь мира, человеку невозможно любить избранных, как это воображают люди, не понимающие жизни. Человек, если он любит хотя и избранных, он никогда не любит только одного. Всякий человек любит и мать, и жену, и ребенка, и друзей, и отечество, и даже всех людей. И любовь не есть только слово (как все согласны в этом), но есть деятельность, направленная на благо других. Деятельность же эта не происходит в каком-нибудь определенном порядке, так что сначала заявляются человеку требования его самой сильной любви, потом менее сильной и т. д. Требования любви заявляются беспрестанно все вместе, без всякого порядка. Сейчас пришел голодный старик, которого я немножко люблю, и просит еды, которую я берегу на ужин мною любимым детям; как мне взвесить требования сейчасной менее сильной любви с будущими требованиями более сильной любви?

Эти самые вопросы и были поставлены законником Христу: «кто ближний?» В самом деле, как решить, кому нужно служить и в какой мере: людям или отечеству? отечеству или своим приятелям? своим приятелям или своей жене? своей жене или своему отцу? своему отцу или своим детям? своим детям или самому себе? (чтобы быть в состоянии служить другим, когда это понадобится).

Ведь всё это требования любви, и все они переплетены между собою, так что удовлетворение требованиям одних лишает человека возможности удовлетворять других. Если же я допущу, что озябшего ребенка можно не одеть, потому что моим детям когда-нибудь понадобится то платье, которого у меня просят, то я могу не отдаваться и другим требованиям любви во имя моих будущих детей.

Точно то же и по отношению к любви к отечеству, избранным занятиям и ко всем людям. Если человек может отказывать требованиям самой малой любви настоящего во имя требования самой большой любви будущего, то разве не ясно, что такой человек, если бы он всеми силами и желал этого, никогда не будет в состоянии взвесить, на сколько он может отказывать требованиям настоящего во имя будущего, и потому, не будучи в силах решить этого вопроса, всегда выберет то проявлении любви, которое будет приятно для него, т. е. будет действовать не во имя любви, а во имя своей личности. Если человек решает, что ему лучше воздержаться от требований настоящей, самой малой любви во имя другого, будущего проявления большей любви, то он обманывает или себя, или других и никого не любит кроме себя одного.

Любви в будущем не бывает; любовь есть только деятельность в настоящем. Человек же, не проявляющий любви в настоящем, не имеет любви.

Происходит то же, что при представлении о жизни людей, не имеющих жизни. Если бы люди были животные и не имели бы разума, они бы и существовали как животные, не рассуждали бы о жизни; и животное существование их было бы законное и счастливое. То же и с любовью: если бы люди были животные без разума, то они любили бы тех, кого любят: своих волчат, свое стадо, и не знали бы, что они любят своих волчат и свое стадо, и не знали бы того, что другие волки любят своих волчат и другие стада своих товарищей по стаду, и любовь их была бы – та любовь и та жизнь, которая возможна на той степени сознания, на которой они находятся.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Но люди – разумные существа и не могут не видеть, что другие существа имеют такую же любовь к своим и что потому эти чувства любви должны прийти в столкновение и произвести нечто не благое, а совершенно противное понятию любви.

Если же люди употребляют свой разум на то, чтобы оправдывать и усиливать то животное, неблагое чувство, которое они называют любовью, придавая этому чувству уродливые размеры, то это чувство становится не только не добрым, но делает из человека – давно известная истина – самое злое и ужасное животное. Происходит то, что сказано в Евангелии; «Если свет, который в тебе, – тьма, то какова же тьма?» Если бы в человеке не было ничего, кроме любви к себе и к своим детям, не было бы и 0,99 того зла, которое есть теперь между людьми. 0,99 зла между людьми происходит от того ложного чувства, которое они, восхваляя его, называют любовью и которое столько же похоже на любовь, сколько жизнь животного похожа на жизнь человека.

То, что люди, не понимающие жизни, называют любовью, это только известные предпочтения одних условий блага своей личности другим. Когда человек, не понимающий жизни, говорит, что он любит свою жену, или ребенка, или друга, он говорит только то, что присутствие в его жизни его жены, ребенка, друга увеличивает благо его личной жизни.

Предпочтения эти относятся к любви так же, как существование относится к жизни. И как людьми, не понимающими жизни, жизнью называется существование, так этими же людьми любовью называется предпочтение одних условий личного существования другим.

Чувства эти – предпочтения к известным существам, как, например, к своим детям или даже к известным занятиям, например, к науке, к искусствам, мы называем тоже любовью; но такие чувства предпочтения, бесконечно разнообразные, составляют всю сложность видимой, осязаемой животной жизни людей и не могут быть называемы любовью, потому что они не имеют главного признака любви – деятельности, имеющей и целью и последствием благо.

Страстность проявления этих предпочтений только показывает энергию животной личности. Страстность предпочтения одних людей другим, называемая неверно любовью, есть только дичок, на котором может быть привита истинная любовь и дать плоды ее. Но как дичок не есть яблоня и не дает плодов или дает плоды горькие вместо сладких, так и пристрастие не есть любовь и не делает добра людям или производит еще большее зло. И потому приносит величайшее зло миру и так восхваляемая любовь к женщине, к детям, к друзьям, не говоря уже о любви к науке, к искусству, к отечеству, которая есть ничто иное, как предпочтение на время известных условий животной жизни другим.

Глава XXIV

Истинная любовь есть последствие отречения от блага личности
Любовь истинная становится возможной только при отречении от блага животной личности.

Возможность истинной любви начинается только тогда, когда человек понял, что нет для него блага его животной личности. Только тогда все соки жизни переходят в один облагороженный черенок истинной любви, разрастающийся уже всеми силами ствола дичка животной личности. Учение Христа и есть прививка этой любви, как он и сам сказал это. Он сказал, что он, его любовь, есть та одна лоза, которая может приносить плод, и что всякая ветвь, не приносящая плода, отсекается.

Только тот, кто не только понял, но жизнью познал то, что «сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее», – только кто понял, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную, только тот познает истинную любовь.

«И кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Если вы любите любящих вас, то это не любовь, а вы любите врагов, любите ненавидящих вас».

Не вследствие любви к отцу, к сыну, к жене, к друзьям, к добрым и милым людям, как это обыкновенно думают, люди отрекаются от личности, а только вследствие сознания тщеты существования личности, сознания невозможности ее блага, и потому вследствие отречения от жизни личности познает человек истинную любовь и может

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 истинно любить отца, сына, жену, детей и друзей.

Любовь есть предпочтение других существ себе – своей животной личности.

Забвение ближайших интересов личности для достижения отдаленных целей той же личности, как это бывает при так называемой любви, не выросшей на самоотречении, есть только предпочтение одних существ другим для своего личного блага. Истинная любовь, прежде чем сделаться деятельным чувством, должна быть истинным состоянием. Начало любви, корень ее, не есть порыв чувства, затемняющий разум, как это обыкновенно воображают, но есть самое разумное, светлое и потому спокойное и радостное состояние, свойственное детям и разумным людям.

Состояние это есть состояние благоволения ко всем людям, которое присуще детям, но которое во взрослом человеке возникает только при отречении и усиливается только по мере отречения от блага личности. Как часто приводится слышать слова: «мне ведь все равно, мне ничего не нужно», и вместе с этими словами видеть нелюбовное отношение к людям. Но пусть попробует всякий человек хоть раз, в минуту недоброжелательности к людям, искренно, от души сказать себе: «мне все равно, мне ничего не нужно», и только, хоть на время, ничего не желать для себя, и всякий человек этим простым внутренним опытом познает, как тотчас же, по мере искренности его отречения, падет всякое недоброжелательство и каким потоком хлынет из его сердца запертое до тех пор благоволение ко всем людям.

В самом деле, любовь есть предпочтение других существ себе – ведь мы все так понимаем и иначе не можем понимать любовь. Величина любви есть величина дроби, которой числитель, мои пристрастия, симпатии к другим, – не в моей власти; знаменатель же, моя любовь к себе, может быть увеличен и уменьшен мною до бесконечности, по мере того значения, которое я придам своей животной личности. Суждения же нашего мира о любви, о степенях ее – это суждения о величине дробей по одним числителям, без соображения о их знаменателях.

Истинная любовь всегда имеет в основе своей отречение от блага личности и возникающее от того благоволение ко всем людям. Только на этом общем благоволении может вырасти истинная любовь к известным людям – своим или чужим. И только такая любовь дает истинное благо жизни и разрешает кажущееся противоречие животного и разумного сознания.

Любовь, не имеющая в основе своей отречения от личности и, вследствие его, благоволения ко всем людям, есть только жизнь животная и подвержена тем же и еще большим бедствиям и еще большему неразумию, чем жизнь без этой мнимой любви. Чувство пристрастия, называемое любовью, не только не устраняет борьбы существ, не освобождает личность от погони за наслаждениями и не спасает от смерти, но только больше еще затемняет жизнь, ожесточает борьбу, усиливает жадность к наслаждениям для себя и для другого и увеличивает ужас перед смертью за себя и за другого.

Человек, который жизнь свою полагает в существовании животной личности, не может любить, потому что любовь должна представляться ему деятельностью прямо противоположную его жизни. Жизнь такого человека только в благе животного существования, а любовь прежде всего требует жертвы этого блага. Если бы даже человек, не понимающий жизни, и захотел искренно отдаться деятельности любви, он не будет в состоянии этого сделать до тех пор, пока он не поймет жизни и не изменит все свое отношение к ней. Человек, положивший свою жизнь в благе животной личности, всю жизнь свою увеличивает средства своего животного блага, приобретая богатства и сохраняя их, заставляет других служить его животному благу и распределяет эти блага между теми лицами, которые были более нужны для блага его личности. Как же ему отдать свою жизнь, когда жизнь его еще поддерживается не им самим, а другими людьми? И еще труднее ему выбрать, кому из предпочитаемых им людей передать накопленные им блага и кому служить.

Чтобы быть в состоянии отдавать свою жизнь, ему надо прежде отдать тот излишек, который он берет у других для блага своей жизни, и потом еще сделать невозможное: решить, кому из людей служить своей жизнью? Прежде, чем он будет в состоянии любить, т. е., жертвуя собою, делать благо, ему надо перестать ненавидеть, т. е. делать зло, и перестать предпочитать одних людей другим для блага своей личности.

Только для человека, не признающего блага в жизни личной и потому не

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
заботящегося об этом ложном благо и чрез это освободившего в себе свойственное
человеку благоволение ко всем людям, возможна деятельность любви, всегда
удовлетворяющая его и других. Благо жизни такого человека в любви, как благо
растения в свете, и потому, как ничем не закрытое, растение не может спрашивать
и не спрашивает, в какую сторону ему расти, и хорош ли свет, не подождать ли ему
другого, лучшего, а берет тот единый свет, который есть в мире, и тянется к
нему, – так и отрекшийся от блага личности человек не рассуждает о том, что ему
отдать из отнятого от других людей и каким любимым существам, и нет ли какой еще
лучшей любви, чем та, которая заявляет требования, – а отдает себя, свое
существование той любви, которая доступна ему и есть перед ним. Только такая
любовь дает полное удовлетворение разумной природе человека.

Глава XXV

Любовь есть единая и полная деятельность истинной жизни
И нет иной любви, как той, чтобы положить душу свою за други свои. Любовь –
только тогда любовь, когда она есть жертва собой. Только когда человек отдает
другому не только свое время, свои силы, но когда он тратит свое тело для
любимого предмета, отдает ему свою жизнь – только это мы признаем все любовью и
только в такой любви мы все находим благо, награду любви. И только тем, что есть
такая любовь в людях, только тем и стоит мир. Мать, кормящая ребенка, прямо
отдает себя, свое тело в пищу детям, которые без этого не были бы живы. И это –
любовь. Так же точно отдает себя, свое тело в пищу другому всякий работник для
блага других, изнашивающий свое тело в работе и приближающий себя к смерти. И
такая любовь возможна только для того человека, у которого между возможностью
жертвы собой и теми существами, которых он любит, не стоит никакой преграды для
жертвы. Мать, отдавшая кормилице своего ребенка, не может его любить; человек,
приобретающий и сохраняющий свои деньги, не может любить.

«Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто
любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит
брата своего, тот находитя во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет,
потому что тьма ослепила ему глаза.. Станем любить не словом или языком, но делом
и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем сердца наши...
Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день
суда, потому что поступаем в мире сем, как он. В любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся
несовершен в любви».

Только такая любовь дает истинную жизнь людям.

«Возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем
разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь».

Вторая же, подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя», сказал
Христу законник. И на это Иисус сказал: «Правильно ты отвечал, так и поступай,
т. е. люби бога и ближнего и будешь жить».

Любовь истинная есть самая жизнь. «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь,
потому что любим братьев», говорит ученик Христа. «Не любящий брата пребывает в
смерти». Жив только тот, кто любит.

Любовь по учению Христа есть сама жизнь; но не жизнь неразумная, страдальческая
и гибнущая, но жизнь блаженная и бесконечная. И мы все знаем это. Любовь не есть
вывод разума, не есть последствие известной деятельности; а это есть сама
радостная деятельность жизни, которая со всех сторон окружает нас и которую мы
все знаем в себе с самых первых воспоминаний детства до тех пор, пока ложные
учения мира не засорили ее в нашей душе и не лишили нас возможности испытывать
ее.

Любовь – это не есть пристрастие к тому, что увеличивает временное благо
личности человека, как любовь к избранным лицам или предметам, а то стремление к
благу того, что вне человека, которое остается в человеке после отречения от
блага животной личности.

Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и
чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей
той ложью, которая заглушает в нас жизнь, того блаженного чувства умиления, при
котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного – чтоб всем было хорошо, чтоб все были счастливы, и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтоб всем было хорошо, самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда всем было хорошо и радостно. Это-то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человека.

Любовь эта, в которой только и есть жизнь, проявляется в душе человека, как чуть заметный, нежный росток среди похожих на нее грубых ростков сорных трав, различных похотей человека, которые мы называем любовью. Сначала людям и самому человеку кажется, что этот росток, – тот, из которого должно вырастать то дерево, в котором будут укрываться птицы, – и все другие ростки всё одно и то же. Люди даже предпочитают сначала ростки сорных трав, которые растут быстрее, и единственный росток жизни глхнет и замирает; но еще хуже то, что еще чаще бывает: люди слышали, что в числе этих ростков есть один настоящий, жизненный, называемый любовью, и они вместо него, топчя его, начинают воспитывать другой росток сорной травы, называя его любовью. Но что еще хуже: люди грубыми руками ухватывают самый росток и кричат: «вот он, мы нашли его, мы теперь знаем его, возрастим его. Любовь! любовь! высшее чувство, вот оно!», и люди начинают пересаживать его, исправлять его и захватывают, заминают его так, что росток умирает, не расцветши, и те же или другие люди говорят: все это вздор, пустяки, сентиментальность. Росток любви, при проявлении своем нежный, не терпящий прикосновения, могущественен только при своем разрасте. Все, что будут делать над ним люди, только хуже для него. Ему нужно одного, – того, чтобы ничто не скрывало от него солнца разума, которое одно возвращает его.

Глава XXVI

Старания людей, направленные на невозможное улучшение своего существования, лишают их возможности единой истинной жизни. Только познание призрачности и обманчивости животного существования и освобождение в себе единственной истинной жизни любви дает человеку благо. И что же делают люди для достижения этого блага? Люди, существование которых состоит в медленном уничтожении личности и приближении к неизбежной смерти этой личности и которые не могут не знать этого, все время своего существования всячески стараются, – только тем и заняты, чтобы утверждать эту гибнущую личность, удовлетворять ее похотям и тем лишать себя возможности единственного блага жизни – любви.

Деятельность людей, не понимающих жизни, во все время их существования направлена на борьбу за свое существование, на приобретение наслаждений, избавление себя от страданий и удаление от себя неизбежной смерти.

Но увеличение наслаждений увеличивает напряженность борьбы, чувствительность к страданиям и приближает смерть. Чтобы скрыть от себя приближение смерти – одно средство: еще увеличивать наслаждения. Но увеличение наслаждений доходит до своего предела, наслаждения не могут быть увеличены, переходят в страдания, и остается одна чувствительность к страданиям и ужас все ближе и ближе среди одних страданий надвигающейся смерти. И является ложный круг: одно – причина другого и одно усиливает другое. Главный ужас жизни людей, не понимающих жизни, в том, что то, что ими считается наслаждениями (все наслаждения богатой жизни), будучи такими, что они не могут быть равномерно распределены между всеми людьми, должны быть отнимаемы у других, должны быть приобретаемы насильем, злом, уничтожающим возможность того благоволения к людям, из которого вырастает любовь. Так что наслаждения всегда противоположны любви и чем сильнее, тем противоположнее. Так что, чем сильнее, напряженнее деятельность для достижения наслаждений, тем невозможнее становится единственно доступное человеку благо – любовь.

Жизнь понимается не так, как она сознается разумным сознанием – как невидимое, но несомненное подчинение в каждое мгновение настоящего своего животного закону разума, освобождающее собственное человеку благоволение ко всем людям и вытекающую из него деятельность любви, а только как плотское существование в продолжении известного промежутка времени, в определенных и устраиваемых нами, исключаящих возможность благоволения ко всем людям, условиях.

Людям мирского учения, направившим свой разум на устройство известных условий существования, кажется, что увеличение блага жизни происходит от лучшего внешнего устройства своего существования. Лучшее же внешнее устройство их существования зависит от большего насилия над людьми, прямо противоположного

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
любви. Так что, чем лучше их устройство, тем меньше у них остается возможности
любви, возможности жизни.

Употребив свой разум не на то, чтобы понять – одинаково для всех людей равное
нолю благо животного существования, люди этот ноль признали величиною, которая
может уменьшаться и увеличиваться, и на мнимое это увеличение, умножение ноля
употребляют весь остающийся у них без приложения разум.

Люди не видят того, что ничто, ноль, на что бы он ни был помножен, остается тем
же, равным всякому другому – нолем, не видят, что существование животной
личности всякого человека одинаково бедственно и не может быть никакими внешними
условиями сделано счастливым. Люди не хотят видеть того, что ни одно
существование, как плотское существование, не может быть счастливее другого, что
это такой же закон, как тот, по которому на поверхности озера нигде нельзя
поднять воду выше данного общего уровня. Люди, извратившие свой разум, не видят
этого и употребляют свой извращенный разум на это невозможное дело, и в этом
невозможном поднимании воды в разных местах на поверхности озера – вроде того,
что делают купающиеся дети, называя это варить пиво, – проходит все их
существование.

Им кажется, что существования людей бывают более и менее хорошие, счастливые;
существование бедного работника или больного человека, говорят они, дурное,
несчастливое; существование богача или здорового человека хорошее, счастливое; и
они все силы разума своего напрягают на то, чтобы избежать дурного,
несчастливого, бедного и болезненного существования и устроить себе хорошее,
богатое и здоровое, счастливое.

Вырабатываются поколениями приемы устройства и поддержания этих разных, самых
счастливых жизней, и программы этих воображаемых лучших, как они называют свое
животное существование, жизней передаются по наследству. Люди одни перед другими
стараятся как можно лучше поддержать ту счастливую жизнь, которую они
наследовали от устройства родителей, или сделать себе новую, еще более
счастливую жизнь. Людям кажется, что, поддерживая свое унаследованное устройство
существования или устраивая себе новое, лучшее по их представлению, они что-то
делают.

И поддерживая друг друга в этом обмане, люди часто до того искренно убеждаются в
том, что в этом безумном толчении воды, бессмысленность которого очевидна для
них самих, и состоит жизнь, – так убеждаются в этом, что с презрением
отворачиваются от призыва к настоящей жизни, который они не переставая слышат; и
в учении истины, и в примерах жизни живых людей, и в своем заглушем сердце, в
котором никогда не заглушается до конца голос разума и любви.

Совершается удивительное дело. Люди, огромное количество людей, имеющих
возможность разумной и любовной жизни, находятся в положении тех баранов,
которых вытаскивают из горящего дома, а они, вообразив, что их хотят бросить в
огонь, все силы свои употребляют на борьбу с теми, которые хотят спасти их.

Из страха перед смертью люди не хотят выходить из нее, из страха перед
страданиями люди мучают себя и лишают себя единственно возможных для них блага и
жизни.

Глава XXVII

Страх смерти есть только сознание неразрешенного противоречия жизни
«Нет смерти», говорит людям голос истины. «Я есмь воскресение и жизнь; верующий
в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек.
Верить ли сему?»

«Нет смерти», говорили все великие учителя мира, и то же говорят и жизнью своей
свидетельствуют миллионы людей, понявших смысл жизни. И то же чувствует в своей
душе, в минуту прояснения сознания, и каждый живой человек. Но люди, не
понимающие жизни, не могут не бояться смерти. Они видят ее и верят в нее.

«Как нет смерти?» с негодованием, с злобой кричат эти люди. «Это софизм! Смерть
перед нами; косила миллионы и нас скосит. И сколько ни говорите, что ее нет, она
все-таки останется. Вот она!» И они видят то, про что они говорят, как видит
душевнотельный человек то привидение, которое ужасает его. Он не может оцупать
это привидение, оно никогда еще не прикасалось к нему; про намерение его он

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
ничего не знает, но он так боится и страдает от этого воображаемого привидения, что лишается возможности жизни. Ведь то же и с смертью. Человек не знает своей смерти и никогда не может познать ее, она никогда еще не прикасалась к нему, про намерение ее он ничего не знает. Так чего же он боится?

«Она никогда еще не схватывала меня, но она схватит, я знаю наверное – схватит и уничтожит меня. И это ужасно», говорят люди, не понимающие жизни.

Если бы люди с ложным представлением о жизни могли рассуждать спокойно и мыслили бы правильно на основании того представления, которое они имеют о жизни, они бы должны были прийти к заключению, что в том, что в плотском существовании моем произойдет та перемена, которая, я вижу, не переставая происходит во всех существах и которую я называю смертью, нет ничего ни неприятного, ни страшного.

Я умру. Что же тут страшного? Ведь сколько разных перемен происходило и происходит в моем плотском существовании, и я не боялся их? Отчего же я боюсь этой перемены, которая еще не наступала и в которой не только нет ничего противного моему разуму и опыту, но которая так понятна, знакома и естественна для меня, что в продолжение моей жизни я постоянно делал и делаю соображения, в которых смерть, и животных, и людей, принималась мною как необходимое и часто приятное мне условие жизни. Что же страшно?

Ведь есть только два строго логические взгляда на жизнь: один ложный – тот, при котором жизнь понимается, как те видимые явления, которые происходят в моем теле от рождения и до смерти, а другой истинный – тот, при котором жизнь понимается как то невидимое сознание ее, которое я ношу в себе. Один взгляд ложный, другой истинный, но оба логичны, и люди могут иметь тот или другой, но ни при том, ни при другом невозможен страх смерти.

Первый ложный взгляд, понимающий жизнь как видимые явления в теле от рождения и до смерти, столь же древен, как и мир. Это не есть, как думают многие, взгляд на жизнь, выработанный материалистической наукой и философией нашего времени; наука и философия нашего времени довели только это воззрение до последних его пределов, при которых очевиднее, чем прежде, стало несоответствие этого взгляда основным требованиям природы человеческой; но это давнишний, первобытный взгляд людей, стоящих на низшей ступени развития: он выражен и у китайцев, и у буддистов, и у евреев, и в книге Иова, и в изречении: «земля еси и в землю пойдеши».

Взгляд этот в своем теперешнем выражении такой: жизнь – это случайная игра сил в веществе, проявляющаяся в пространстве и времени. То же, что мы называем своим сознанием, не есть жизнь, а некоторый обман чувств, при котором кажется, что жизнь, в этом сознании. Сознание есть искра, вспыхивающая на веществе, при известном его состоянии. Искра эта вспыхивает, разгорается, опять тухнет и под конец совсем потухает. Искра эта, т. е. сознание, испытываемое веществом в продолжение определенного времени между двух временных бесконечностей, есть ничто. И несмотря на то, что сознание видит само себя и весь бесконечный мир и судит само себя и весь бесконечный мир, и видит всю игру случайностей этого мира, и главное, в противоположность чего-то не случайного, называет эту игру случайною, сознание это само по себе есть только произведение мертвого вещества, призрак, возникающий и исчезающий без всякого остатка и смысла. Все есть произведение вещества, бесконечно изменяющегося; и то, что называют жизнью, есть только известное состояние мертвого вещества.

Таков один взгляд на жизнь. Взгляд этот совершенно логичен. По этому взгляду разумное сознание человека есть только случайность, сопутствующая известному состоянию вещества; и потому то, что мы в своем сознании называем жизнью, есть призрак. Существует только мертвое. То, что мы называем жизнью, есть игра смерти. При таком взгляде на жизнь смерть не только не должна быть страшна, но должна быть страшна жизнь – как нечто неестественное и неразумное, как это и есть у буддистов и новых пессимистов, Шопенгауера и Гартмана.

Другой же взгляд на жизнь такой. Жизнь есть только то, что я сознаю в себе. Сознаю же я всегда свою жизнь не так, что я был или буду (так я рассуждаю о своей жизни), а сознаю свою жизнь так, что я есмь – никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь. С сознанием моей жизни несоединимо понятие времени и пространства. Жизнь моя проявляется во времени, пространстве, но это только проявление ее. Сама же жизнь, сознаваемая мною, сознается мною вне времени и

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 пространства. Так что при этом взгляде выходит наоборот: не сознание жизни есть призрак, а все пространственное и временное – призрачно. И потому временное и пространственное прекращение телесного существования при этом взгляде не имеет ничего действительного и не может не только прекратить, но и нарушить моей истинной жизни. И смерти при этом взгляде не существует.

Ни при том, ни при другом взгляде на жизнь страха смерти не могло бы быть, если бы люди строго держались того или другого.

Ни как животное, ни как разумное существо, человек не может бояться смерти: животное, не имея сознания жизни, не видит смерти, а разумное существо, имея сознание жизни, не может видеть в смерти животной ничего иного, как естественного и никогда не прекращающегося движения вещества. Если же человек боится, то боится не смерти, которой он не знает, а жизни, которую одну знает и животное и разумное существо его. То чувство, которое выражается в людях страхом смерти, есть только сознание внутреннего противоречия жизни; точно так же, как страх привидений есть только сознание болезненного душевного состояния.

«Я перестану быть – умру, умрет все то, в чем я полагаю свою жизнь», говорит человеку один голос; «я есмь», говорит другой голос, «и не могу и не должен умереть. Я не должен умереть, и я умираю». Не в смерти, а в этом противоречии причина того ужаса, который охватывает человека при мысли о плотской смерти: страх смерти не в том, что человек боится прекращения существования своего животного, но в том, что ему представляется, что умирает то, что не может и не должно умереть. Мысль о будущей смерти есть только перенесение в будущее совершающейся смерти в настоящем. Являющееся привидение будущей плотской смерти не есть пробуждение мысли о смерти, но напротив – пробуждение мысли о жизни, которую должен иметь и не имеет человек. Это чувство, подобное тому, которое должен испытывать человек, пробудившийся к жизни в гробу, под землю. Есть жизнь, а я в смерти, и вот она, смерть! Представляется, что то, что есть и должно быть, то уничтожается. И ум человеческий шалеет, ужасается. Лучшее доказательство того, что страх смерти есть не страх смерти, а ложной жизни, есть то, что часто люди убивают себя от страха смерти.

Не оттого люди ужасаются мысли о плотской смерти, что они боятся, чтобы с нею не кончилась их жизнь, но оттого, что плотская смерть явно показывает им необходимость истинной жизни, которой они не имеют. И от этого-то так не любят люди, не понимающие жизни, вспоминать о смерти. Вспоминать о смерти для них все равно, что признаваться в том, что они живут не так, как того требует от них их разумное сознание.

Люди, боящиеся смерти, боятся ее оттого, что она представляется им пустотой и мраком; но пустоту и мрак они видят потому, что не видят жизни.

Глава XXVIII

Плотская смерть уничтожает пространственное тело и временное сознание, но не может уничтожать того, что составляет основу жизни: особенное отношение к миру каждого существа

Но и люди, не видящие жизни, если бы они только подходили ближе к тем привидениям, которые пугают их, и ощупывали бы их, увидали бы, что и для них привидение – только привидение, а не действительность.

Страх смерти всегда происходит в людях оттого, что они страшатся потерять при плотской смерти свое собственное я, которое – они чувствуют – составляет их жизнь. Я умру, тело разложится, и уничтожится мое я. Я же это мое есть то, что жило в моем теле столько-то лет.

Люди дорожат этим своим я; и полагая, что это я совпадает с их плотской жизнью, делают заключение о том, что оно должно уничтожиться с уничтожением их плотской жизни.

Заключение это самое обычное, и редко кому приходит в голову усомниться в нем, а между тем заключение это совершенно произвольно. Люди, и те, которые считают себя материалистами, и те, которые считают себя спиритуалистами, так привыкли к представлению о том, что их я есть то их сознание своего тела, которое жило столько-то лет, что им и не приходит в голову проверить справедливость такого утверждения.

я жил 59 лет, и во все это время я сознавал себя собою в своем теле, и это-то сознание себя собою, мне кажется, и была моя жизнь. Но ведь это только кажется мне. Я жил ни 59 лет, ни 59000 лет, ни 59 секунд. Ни мое тело, ни время его существования нисколько не определяют жизни моего я. Если я в каждую минуту жизни спрошу себя в своем сознании, что я такое? я отвечу: нечто думающее и чувствующее, т. е. относящееся к миру своим совершенно особенным образом. Только это я сознаю своим я, и больше ничего. О том, когда и где я родился, когда и где я начал так чувствовать и думать, как я теперь думаю и чувствую, я решительно ничего не сознаю. Мое сознание говорит мне только: я есмь; я есмь с тем моим отношением к миру, в котором я нахожусь теперь. О своем рождении, о своем детстве, о многих периодах юности, о средних годах, об очень недавнем времени я часто ничего не помню. Если же я и помню кое-что или мне напоминают кое-что из моего прошедшего, то я помню и вспоминаю это почти так же, как то, что мне рассказывают про других. Так на каком же основании я утверждаю, что во все время моего существования я был все один я? Тела ведь моего одного никакого не было и нет: тело мое все было и есть беспрестанно текущее вещество – через что-то невещественное и невидимое, признающее это протекающее через него тело своим. Тело мое все десятки раз переменялось: ничего не осталось старого; и мышцы, и внутренности, и кости, и мозг – все переменялось.

Тело мое одно только потому, что есть что-то невещественное, которое признает все это переменяющееся тело одним и своим. Невещественное это есть то, что мы называем сознанием: оно одно держит все тело вместо и признает его одним и своим. Без этого сознания себя отдельным от всего остального я бы ничего не знал ни о своей, ни о всякой другой жизни. И потому при первом рассуждении кажется, что основа всего – сознание – должно бы быть постоянное. Но и это несправедливо: и сознание не постоянно. В продолжение всей жизни и теперь повторяется явление сна, которое кажется нам очень простым потому, что мы все спим каждый день, но которое решительно непостижимо, если признавать то, чего нельзя не признавать, что во время сна иногда совершенно прекращается сознание.

Каждые сутки, во время полного сна, сознание обрывается совершенно и потом опять возобновляется. А между тем это-то сознание есть единственная основа, держащая все тело вместе и признающая его своим. Казалось бы, что при прекращении сознания должно бы – и распасться тело, и терять свою отдельность; но этого не бывает ни в естественном, ни в искусственном сне.

Но мало того, что сознание, держащее все тело вместе, периодически обрывается, и тело не распадается, – сознание это кроме того еще и изменяется так же, как и тело. Как нет ничего общего в веществе моего тела, каким оно было десять лет назад и теперешним, как не было одного тела, так и не было во мне одного сознания. Мое сознание трехлетним ребенком и теперешнее сознание так же различны, как и вещество моего тела теперь и 30 лет тому назад. Сознания нет одного, а есть ряд последовательных сознаний, которые можно дробить до бесконечности.

Так что и то сознание, которое держит все тело вместе и признает его своим, не есть что-нибудь одно, а есть нечто прерывающееся и переменяющееся. Сознания, одного сознания самого себя, как мы обыкновенно представляем себе, нет в человеке, так же как нет одного тела. Нет в человеке ни одного и того же тела, ни одного того, что отделяет это тело от всего другого, – нет сознания постоянно одного, во всю жизнь одного человека, а есть только ряд последовательных сознаний, чем-то связанных между собой, – и человек все-таки чувствует себя собою.

Тело наше не есть одно, и то, что признает это переменяющееся тело одним и нашим, не сплошное во времени, а есть только ряд переменяющихся сознаний, и мы уже очень много раз теряли и свое тело и эти сознания; теряем тело постоянно и сознание теряем всякий день, когда засыпаем, и всякий день и час чувствуем в себе изменения этого сознания и нисколько не боимся этого. Стало быть, если есть какое-нибудь такое наше я, которое мы боимся потерять при смерти, то это я должно быть не в том теле, которое мы называем своим, и не в том сознании, которое мы называем своим в известное время, а в чем-либо другом, соединяющем весь ряд последовательных сознаний в одно.

Что же такое это нечто, связывающее в одно все последовательные во времени сознания? Что такое это-то самое коренное и особенное мое я, не слагающееся из существования моего тела и ряда происходящих в нем сознаний, но то основное я,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
на которое, как на стержень, нанизываются одно за другим различные последовательные во времени сознания? Вопрос кажется очень глубоким и премудрым, а между тем нет того ребенка, который не знал бы на него ответа и не высказывал бы этого ответа 20 раз на день. «А я люблю это, а не люблю этого». Слова эти очень просты, а между тем в них-то и разрешение вопроса о том, в чем то особенное я, которое связывает в одно все сознания. Это-то я, которое любит это, а не любит этого. Почему один любит это, а не любит этого, этого никто не знает, а между прочим это самое и есть то, что составляет основу жизни каждого человека, это-то и есть то, что связывает в одно все различные по времени состояния сознания каждого отдельного человека. Внешний мир действует на всех людей одинаково, но впечатления людей, поставленных даже в совершенно тождественные условия, до бесконечности разнообразны, и по числу получаемых и могущих быть дробимыми до бесконечности впечатлений, и по силе их. Из впечатлений этих слагается ряд последовательных сознаний каждого человека. Связываются же все эти последовательные сознания только потому, почему и в настоящем одни впечатления действуют, а другие не действуют на его сознание. Действуют же или не действуют на человека известные впечатления только потому, что он больше или меньше любит это, а не любит этого.

Только вследствие этой большей или меньшей степени любви и складывается в человеке известный ряд таких, а не иных сознаний. Так что только свойство больше или меньше любить одно и не любить другое – и есть то особенное и основное я человека, в котором собираются в одно все разбросанные, прерывающиеся сознания. Свойство же это, хотя и развивается и в нашей жизни, вносится нами уже готовое в эту жизнь из какого-то невидимого и непознаваемого нами прошедшего.

Это особенное свойство человека в большей или меньшей степени любить одно и не любить другое обыкновенно называют характером. И под словом этим часто понимается особенность свойств каждого отдельного человека, образующаяся вследствие известных условий места и времени. Но это несправедливо. Основное свойство человека более или менее любить одно и не любить другое не происходит от пространственных и временных условий, но, напротив, пространственные и временные условия действуют или не действуют на человека только потому, что человек, входя в мир, уже имеет весьма определенное свойство любить одно и не любить другое. Только от этого и происходит то, что люди, рожденные и воспитанные в совершенно одинаковых пространственных и временных условиях, представляют часто самую резкую противоположность своего внутреннего я.

То, что соединяет в одно все разрозненные сознания, соединяющиеся в свою очередь в одно наше тело, есть нечто весьма определенное, хотя и независимое от пространственных и временных условий, и вносится нами в мир из области внепространственной и вневременной; это-то нечто, состоящее в моем известном, исключительном отношении к миру, и есть мое настоящее и действительное я. Себя я разумею, как это основное свойство, и других людей, если я знаю их, то знаю только, как особенные какие-то отношения к миру. Входя в серьезное душевное общение с людьми, ведь никто из нас не руководствуется их внешними признаками, а каждый из нас старается проникнуть в их сущность, т. е. познать, каково их отношение к миру, что и в какой степени они любят и не любят.

Каждое отдельное животное: лошадь, собаку, корову, если я знаю их и имею с ними серьезное душевное общение, я знаю не по внешним признакам, а по тому особенному отношению к миру, в котором стоит каждое из них, – по тому, что каждое из них, и в какой степени, любит и не любит. Если я знаю особые различные породы животных, то, строго говоря, я знаю их не столько по внешним признакам, сколько по тому, что каждая из них – лев, рыба, паук – представляют общее особенное отношение к миру. Все львы вообще любят одно, и все рыбы другое, и все пауки третье; только потому, что они любят разное, они и разделяются в моем представлении, как различные живые существа.

То же, что я еще не различаю в каждом из этих существ его особенного отношения к миру, не доказывает того, чтобы его не было, а только то, что то особенное отношение к миру, которое составляет жизнь одного отдельного паука, удалено от того отношения к миру, в котором нахожусь я, и что потому я еще не понял его, как понял Сильвио Пеллико своего отдельного паука.*

Основа всего того, что я знаю о себе и о всем мире, есть то особенное отношение к миру, в котором я нахожусь и вследствие которого я вижу другие существа, находящиеся в своем особенном отношении к миру. Мое же особенное отношение к

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
миру установилось не в этой жизни и началось не с моим телом и не с рядом
последовательных во времени сознаний.

И потому может уничтожиться мое тело, связанное в одно моим временным сознанием, может уничтожиться и самое мое временное сознание, но не может уничтожиться то мое особенное отношение к миру, составляющее мое особенное я, из которого создалось для меня все, что есть. Оно не может уничтожиться, потому что оно только и есть. Если бы его не было, я бы не знал гряды своих последовательных сознаний, не знал бы своего тела, не знал бы своей и никакой другой жизни. И потому уничтожение тела и сознания не может служить признаком уничтожения моего особенного отношения к миру, которое началось и возникло не в этой жизни.

Глава XXIX

Страх смерти происходит от того, что люди принимают за жизнь одну маленькую, их же ложным представлением ограниченную часть ее
Мы боимся потерять при плотской смерти свое особенное я, соединяющее и тело и ряд сознаний, проявившихся во времени, в одно, а между тем это-то мое особенное я началось не с моим рождением, и потому прекращение известного временного сознания не может уничтожить того, что соединяет в одно все временные сознания.

Плотская смерть действительно уничтожает то, что держит тело вместе, – сознание временной жизни. Но ведь это случается с нами беспрестанно и каждый день, когда мы засыпаем. Вопрос в том, уничтожает ли плотская смерть то, что соединяет все последовательные сознания в одно, т. е. мое особенное отношение к миру? Для того же, чтобы утверждать это, надо прежде доказать, что это-то особенное отношение к миру, соединяющее в одно все последовательные сознания, родилось с моим плотским существованием, а потому и умрет с ним. А этого-то и нет.

Рассуждая на основании своего сознания, я вижу, что соединявшее все мои сознания в одно – известная восприимчивость к одному и холодность к другому, вследствие чего одно остается, другое исчезает во мне, степень моей любви к добру и ненависти к злу, – что это мое особенное отношение к миру, составляющее именно меня, особенного меня, не есть произведение какой-либо внешней причины, а есть основная причина всех остальных явлений моей жизни.

Рассуждая же на основании наблюдения, сначала мне представляется, что причины особенности моего я находятся в особенностях моих родителей и условий, влиявших на меня и на них но, рассуждая по этому пути дальше, я не могу не видеть, что если особенное мое я лежит в особенностях моих родителей и условий, влиявших на них, то оно лежит и в особенностях всех моих предков и в условиях их существования – до бесконечности, т. е. вне времени и вне пространства, – так что мое особенное я произошло вне пространства и вне времени, т. е. то самое, что я и сознаю.

В этой и только в этой вневременной и внепространственной основе моего особенного отношения к миру, соединяющей все памятные мне сознания и сознания, предшествующие памятной мне жизни (как это говорит Платон и как мы все это в себе чувствуем), – в ней-то, в этой основе, в особенном моем отношении к миру и есть то особенное я, за которое мы боимся, что оно уничтожится с плотской смертью.

Но ведь стоит только понять, что то, что связывает все сознания в одно, что то, что и есть особенное я человека, находится вне времени, всегда было и есть, и что то, что может прерываться, есть только ряд сознаний известного времени, – чтобы было ясно, что уничтожение последнего по времени сознания, при плотской смерти, так же мало может уничтожить истинное человеческое я, как и ежедневное засыпание. Ведь ни один человек не боится засыпать, хотя в засыпании происходит совершенно то же, что при смерти, именно: прекращается сознание во времени. Человек не боится того, что засыпает, хотя уничтожение сознания совершенно такое же, как и при смерти, не потому, что он рассудил, что он засыпал и просыпался, и потому опять проснется (рассуждение это неверно: он мог тысячу раз просыпаться и в тысячу первый не проснуться), – никто никогда не делает этого рассуждения, и рассуждение это не могло бы успокоить его; но человек знает, что его истинное я живет вне времени, и что потому проявляющееся для него во времени прекращение его сознания не может нарушить его жизни.

Если бы человек засыпал, как в сказках, на тысячи лет, он засыпал бы так же спокойно, как и на два часа. Для сознания не временной, но истинной жизни

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 миллион лет перерыва во времени и восемь часов – все равно, потому что времени для такой жизни нет.

Уничтожится тело, – уничтожится сознание нынешнего дня.

Но ведь к изменению своего тела и замене одних временных сознаний другими человеку пора бы привыкнуть. Ведь эти перемены начались с тех пор, как себя помнит человек, и происходили не переставая. Человек не боится перемен в своем теле и не только не ужасается, но очень часто только и желает ускорения этих перемен, желает вырасти, возмужать, вылечиться. Человек был красным куском мяса, и сознание его все состояло в требованиях желудка; теперь он бородатый, разумный мужчина, или женщина, любящая взрослых детей. Ведь ничего нет похожего ни в теле, ни в сознании, и человек не ужасался тех перемен, которые привели его к теперешнему состоянию, а только приветствовал их. Что же страшного в предстоящей перемене? Уничтожение? Да ведь то, на чем происходят все эти перемены, – особенное отношение к миру, – то, в чем состоит сознание истинной жизни, началось не с рождения тела, а вне тела и вне времени. Так как же может какое бы то ни было временное и пространственное изменение уничтожить то, что вне его? Человек уставится глазами в маленькую, крошечную частичку своей жизни, не хочет видеть всей ее и дрожит об том, чтоб не пропал из глаз этот крошечный излюбленный им кусочек. Это напоминает анекдот о том сумасшедшем, который вообразил себе, что он стеклянный, и, когда его уронили, сказал: дцинь! и тотчас же умер. Чтоб иметь жизнь человеку, надо брать ее всю, а не маленькую часть ее, проявляющуюся в пространстве и времени. Тому, кто возьмет всю жизнь, тому прибавится, а тому, кто возьмет часть ее, у того отнимается и то, что у него есть.

Глава XXX

Жизнь есть отношение к миру. Движение жизни есть установление нового, высшего отношения, и потому смерть есть вступление в новое отношение. Жизнь мы не можем понимать иначе, как известное отношение к миру: так мы понимаем жизнь в себе и так же мы ее понимаем и в других существах.

Но в себе мы понимаем жизнь не только как раз существующее отношение к миру, но и как установление нового отношения к миру через большее и большее подчинение животной личности разуму, и проявление большей степени любви. То неизбежное уничтожение плотского существования, которое мы на себе видим, показывает нам, что отношение, в котором мы находимся к миру, не есть постоянное, но что мы вынуждены устанавливать другое. Установление этого нового отношения, т. е. движение жизни, и уничтожает представление смерти. Смерть представляется только тому человеку, который, не признав свою жизнь в установлении разумного отношения к миру и проявлении его в большей и большей любви, остался при том отношении, т. е. с тою степенью любви к одному, и нелюбви к другому, с которыми он вступил в существование.

Жизнь его непрерывающее движение, а оставаясь в том же отношении к миру, оставаясь на той степени любви, с которой он вступил в жизнь, он чувствует остановку ее, и ему представляется смерть.

Смерть и видна и страшна только такому человеку. Все существование такого человека есть одна непрерывающая смерть. Смерть видна и страшна ему не только в будущем, но и в настоящем, при всех проявлениях уменьшения животной жизни, начиная от младенчества и до старости, потому что движение существования от детства до возмужалости только кажется временным увеличением сил, в сущности же есть такое же огрубение членов, уменьшение гибкости, жизненности, не прекращающееся от рождения и до смерти. Такой человек видит перед собой смерть постоянно, и ничто не может спасти его от нее. С каждым днем, часом положение такого человека делается хуже и хуже, и ничто не может улучшить его. Свое особенное отношение к миру, любовь к одному и нелюбовь к другому, такому человеку представляется только одним из условий его существования; и единственное дело жизни, установление нового отношения к миру, увеличение любви, представляется ему делом не нужным. Вся жизнь его проходит в невозможном: избавиться от неизбежного уменьшения жизни, огрубения, ослабления ее, устранения и смерти.

Но не то для человека, понимающего жизнь. Такой человек знает, что он внес в свою теперешнюю жизнь свое особенное отношение к миру, свою любовь к одному и нелюбовь к другому из скрытого для него прошедшего. Он знает, что эта-то любовь

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
к одному и нелюбовь к другому, внесенная им в это его существование, есть самая
сущность его жизни; что это не есть случайное свойство его жизни, но что это
одно имеет движение жизни, – и он в одном этом движении, в увеличении любви,
полагает свою жизнь.

Глядя на свое прошедшее в этой жизни, он видит, по памятному ему ряду своих
сознаний, что отношение его к миру изменялось, подчинение закону разума
увеличивалось, и увеличивалась не переставая сила и область любви, давая ему все
большее и большее благо независимо, а иногда прямо обратно пропорционально
умалению существования личности.

Такой человек, приняв свою жизнь из невидимого ему прошедшего, сознавая
постоянное непрерываемое возрастание ее, не только спокойно, но и радостно
переносит ее и в невидимое будущее.

Говорят: болезнь, старость, дряхлость, впадение в детство есть уничтожение
сознания и жизни человека. Для какого человека? Я представляю себе, по преданию,
Иоанна Богослова, впавшего от старости в детство. Он, по преданию, говорил
только: братья, любите друг друга! Чуть двигающийся столетний старичок, с
слезящимися глазами, шамкает только одни и одни три слова: любите друг друга! В
таком человеке существование животное чуть брезжится, – оно все съедено новым
отношением к миру, новым живым существом, не умечающимся уже в существовании
плотского человека.

Для человека, понимающего жизнь в том, в чем она действительно есть, говорить об
умалении своей жизни при болезнях и старости и сокрушаться об этом – все равно,
что человеку, подходящему к свету, сокрушаться об уменьшении своей тени по мере
приближения к свету. Верить же в уничтожение своей жизни, потому что
уничтожается тело, все равно, что верить в то, что уничтожение тени предмета,
после вступления предмета в сплошной свет, есть верный признак уничтожения
самого предмета. Делать такие заключения мог бы только тот человек, который так
долго смотрел только на тень, что под конец вообразил себе, что тень и есть
самый предмет.

Для человека же, знающего себя не по отражению в пространственном и временном
существовании, а по своему возросшему любовному отношению к миру, уничтожение
тени пространственных и временных условий есть только признак большей степени
света. Человеку, понимающему свою жизнь, как известное особенное отношение к
миру, с которым он вступил в существование и которое росло в его жизни
увеличением любви, верить в свое уничтожение все равно, что человеку, знающему
внешние видимые законы мира, верить в то, что его нашла мать под капустным
листом и что тело его вдруг куда-то улетит, так что ничего не останется.

Глава XXXI

Жизнь умерших людей не прекращается в этом мире

Но еще более, не скажу с другой стороны, но по самому существу жизни, как мы
сознаем ее, становится ясным суеверие смерти. Мой друг, брат, жил так же, как и
я, и теперь перестал жить так, как я. Жизнь его была его сознание и происходила
в условиях его телесного существования; значит, нет места и времени для
проявления его сознания, и его нет для меня. Брат мой был, я был в общении с
ним, а теперь его нет, и я никогда не узнаю, где он.

«Между ним и нами прерваны все связи. Его нет для нас, и нас также не будет для
тех, кто останется. Что же это, как не смерть?» Так говорят люди, не понимающие
жизни; люди эти видят в прекращении внешнего общения самое несомненное
доказательство действительной смерти. А между тем ни на чем яснее и очевиднее,
чем на прекращении плотского существования близких людей, не рассеивается
призрачность представления о смерти. Брат мой умер, что же сделалось? Сделалось
то, что доступное моему наблюдению в пространстве и времени проявление его
отношения к миру исчезло из моих глаз и ничего не осталось.

«Ничего не осталось», – так бы сказала куколка, кокон, не выпустивший еще
бабочку, увидав, что лежавший с ним рядом кокон остался пустой. Но кокон мог бы
сказать так, если бы он мог думать и говорить, потому что, потеряв своего
соседа, он бы уже действительно ничем не чувствовал его. Не то с человеком. Мой
брат умер, кокон его, правда, остался пустой, я не вижу его в той форме, в
которой я до этого видел его, но исчезновение его из моих глаз не уничтожило
моего отношения к нему. У меня осталось, как мы говорим, воспоминание о нем.

Осталось воспоминание, – не воспоминание его рук, лица, глаз, а воспоминание его духовного образа.

Что такое это воспоминание? такое простое и, как кажется, понятное слово! Исчезают формы кристаллов, животных, – воспоминания не бывает между кристаллами и животными. У меня же есть воспоминание моего друга и брата. И воспоминание это тем живее, чем согласнее была жизнь моего друга и брата с законом разума, чем больше она проявлялась в любви. Воспоминание это не есть только представление, но воспоминание это есть что-то такое, что действует на меня и действует точно так же, как действовала на меня жизнь моего брата во время его земного существования. Это воспоминание есть та самая его невидимая, неведущая атмосфера, которая окружала его жизнь и действовала на меня и на других при его плотском существовании, точно так же, как она на меня действует и после его смерти. Это воспоминание требует от меня после его смерти теперь того же самого, чего оно требовало от меня при его жизни. Мало того, воспоминание это становится для меня более обязательным после его смерти, чем оно было при его жизни. Та сила жизни, которая была в моем брате, не только не исчезла, не уменьшилась, но даже не осталась той же, а увеличилась и сильнее, чем прежде, действует на меня.

Сила его жизни после его плотской смерти действует так же или сильнее, чем до смерти, и действует как все истинно живое. На каком же основании, чувствуя на себе эту силу жизни точно такую же, какую она была при плотском существовании моего брата, т. е. как его отношение к миру, уяснявшее мне мое отношение к миру, я могу утверждать, что мой умерший брат не имеет более жизни? Я могу сказать, что он вышел из того низшего отношения к миру, в котором он был как животное, и в котором я еще нахожусь, – вот и всё; могу сказать, что я не вижу того центра нового отношения к миру, в котором он теперь; но не могу отрицать его жизни, потому что чувствую на себе ее силу. Я смотрел в отражающую поверхность на то, как держал меня человек; отражающая поверхность потускнела. Я не вижу больше, как он меня держит, но чувствую всем существом, что он все точно так же держит меня и, следовательно, существует.

Но, мало того, эта невидимая мне жизнь моего умершего брата не только действует на меня, но она входит в меня. Его особенное живое я, его отношение к миру становится моим отношением к миру. Он как бы в установлении отношения к миру поднимает меня на ту ступень, на которую он поднялся, и мне, моему особенному живому я, становится яснее та следующая ступень, на которую он уже вступил, скрывшись из моих глаз, но увлекая меня за собою. Так я сознаю для себя жизнь уснувшего плотскою смертью брата и потому не могу в ней сомневаться; но и наблюдая действия этой исчезнувшей из моих глаз жизни на мир, я еще несомненно убеждаюсь в действительности этой исчезнувшей из моих глаз жизни. Человек умер, но его отношение к миру продолжает действовать на людей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз сильнее, и действие это по мере разумности и любовности увеличивается и растет, как все живое, никогда не прекращаясь и не зная перерывов.

Христос умер очень давно, и плотское существование его было короткое, и мы не имеем ясного представления о его плотской личности, но сила его разумно-любовной жизни, его отношение к миру – ничье иное, действует до сих пор на миллионы людей, принимающих в себя это его отношение к миру и живущих им. Что же это действует? Что это такое, бывшее прежде связанным с плотским существованием Христа, составляющее продолжение и разрастание той же его жизни? Мы говорим, что это не жизнь Христа, а последствия ее. И сказав такие, не имеющие никакого значения слова, нам кажется, что мы сказали нечто более ясное и определенное, чем то, что сила эта есть сам живой Христос. – Ведь точно так могли бы сказать муравьи, копавшиеся около желудя, который пророс и стал дубом; желудь пророс и стал дубом и раздирает почву своими корнями, роняет сучья, листья, новые желуди, заслоняет свет, дождь, изменяет все, что жило вокруг него. «Это не жизнь желудя», – скажут муравьи, – «а последствия его жизни, которая кончилась тогда, когда мы сволокли этот желудь и бросили его в ямку».

Мой брат умер вчера или тысячу лет тому назад, и та самая сила его жизни, которая действовала при его плотском существовании, продолжает действовать во мне и в сотнях, тысячах, миллионах людей еще сильнее, несмотря на то, что видимый мне центр этой силы его временного плотского существования исчез из моих глаз. Что же это значит? Я видел свет от горевшей передо мной травы. Трава эта потухла, но свет только усилился: я не вижу причины этого света, не знаю, что

горит, но могу заключить, что тот же огонь, который сжег эту траву, жжет теперь дальний лес, или что-то такое, чего я не могу видеть. Но свет этот таков, что я не только вижу его теперь, но он один руководит мною и дает мне жизнь. Я живу этим светом. Как же мне отрицать его? Я могу думать, что сила этой жизни имеет теперь другой центр, невидимый мне. Но отрицать его я не могу, потому что ощущаю ее, движим и живу ею. Каков этот центр, какова эта жизнь сама в себе, я не могу знать, – могу гадать, если люблю гадание и не боюсь запутаться. Но если я ищу разумного понимания жизни, то удовольствуюсь ясным, несомненным, и не захочу портить ясное и несомненное присоединением к нему темных и произвольных гаданий. Довольно мне знать, что если все то, чем я живу, сложилось из жизни живших прежде меня и давно умерших людей и что поэтому всякий человек, исполнявший закон жизни, подчинивший свою животную личность разуму и проявивший силу любви, жил и живет после исчезновения своего плотского существования в других людях, – чтобы нелепое и ужасное суеверие смерти уже никогда более не мучило меня.

На людях, оставляющих после себя силу, продолжающую действовать, мы можем наблюдать и то, почему эти люди, подчинив свою личность разуму и отдавшись жизни любви, никогда не могли сомневаться и не сомневались в невозможности уничтожения жизни.

В жизни таких людей мы можем найти и основу их веры в непрекращаемость жизни и потом, вникнув и в свою жизнь, найти и в себе эти основы. Христос говорил, что он будет жить после исчезновения призрака жизни. Он говорил это потому, что он уже тогда, во время своего плотского существования, вступил в ту истинную жизнь, которая не может прекращаться. Он жил уже вовремя своего плотского существования в лучах света оттого другого центра жизни, к которому он шел, и видел при своей жизни, как лучи этого света уже освещали людей вокруг него. То же видит и каждый человек, отрекающийся от личности и живущий разумной, любовной жизнью.

Какой бы тесный ни был круг деятельности человека – Христос он, Сократ, добрый, безвестный, самоотверженный старик, юноша, женщина, – если он живет, отрекаясь от личности для блага других, он здесь, в этой жизни уже вступает в то новое отношение к миру, для которого нет смерти и установление которого есть для всех людей дело этой жизни.

Человек, положивши свою жизнь в подчинение закону разума и в проявление любви, видит уж в этой жизни, с одной стороны, лучи света того нового центра жизни, к которому он идет, с другой то действие, которое свет этот, проходящий через него, производит на окружающих. И это дает ему несомненную веру в неумалюемость, неумираемость и в вечное усиление жизни. Веру в бессмертие нельзя принять от кого-нибудь, нельзя себя убедить в бессмертии. Чтобы была вера в бессмертие, надо, чтобы оно было, а чтобы оно было, надо понимать свою жизнь в том, в чем она бессмертна. Верить в будущую жизнь может только тот, кто сделал свою работу жизни, установил в этой жизни то новое отношение к миру, которое уже не умещается в нем.

Глава XXXII

Суеверие смерти происходит от того, что человек смешивает свои различные отношения к миру

Да, если взглянуть на жизнь в ее истинном значении, то становится трудным понять даже, на чем держится странное суеверие смерти.

Так, когда разглядишь то, что в темноте напугало тебя, как привидение, никак не можешь опять восстановить того призрачного страха.

Боязнь потери того, что одно есть, происходит только от того, что жизнь представляется человеку не только в одном известном ему, но невидимом, особенном отношении его разумного сознания к миру, но и в двух неизвестных ему, но видимых ему отношениях: его животного сознания и тела к миру. Все существующее представляется человеку: 1) отношением его разумного сознания к миру, 2) отношением его животного сознания к миру и 3) отношением его тела к миру. Не понимая того, что отношение его разумного сознания к миру есть единственная его жизнь, человек представляет себе свою жизнь еще и в видимом отношении животного сознания и вещества к миру, и боится потерять свое особенное отношение разумного сознания к миру, когда в его личности нарушается прежнее отношение его животного и вещества, его составляющего, к миру.

Такому человеку кажется, что он происходит из движения вещества, переходящего на

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
ступень личного животного сознания. Ему кажется, что это животное сознание переходит в разумное, и что потом это разумное сознание ослабевает, переходит опять назад в животное, и под конец животное ослабевает и переходит в мертвое вещество, из которого оно взялось. Отношение же его разумного сознания к миру представляется ему при этом взгляде чем-то случайным, ненужным и гибнущим. При этом взгляде оказывается то, что отношение его животного сознания к миру не может уничтожиться, – животное продолжает себя в своей породе; отношение вещества к миру уже никак не может уничтожиться и вечно; а самое драгоценное – разумное сознание его – не только не вечно, но есть только проблеск чего-то ненужного, излишнего.

И человек чувствует, что этого не может быть. И в этом – страх смерти. Чтобы спастись от этого страха, одни люди хотят уверить себя в том, что животное сознание и есть их разумное сознание, и что неумираемость животного человека, т. е. его породы, потомства, удовлетворяет тому требованию неумираемости разумного сознания, которое они носят в себе. Другие хотят уверить себя, что жизнь, никогда прежде не существовавшая, вдруг появившись в плотском виде и исчезнув в нем, опять воскреснет во плоти и будет жить. Но верить ни в то, ни в другое невозможно для людей, не признающих жизнь в отношении разумного сознания к миру. Для них очевидно, что продолжение рода человеческого не удовлетворяет непереставшему заявлять себя требованию вечности своего особенного я; а понятие вновь начинающейся жизни заключает в себе понятие прекращения жизни, и если жизни не было прежде, не было всегда, то ее не может быть и после.

Для тех и других земная жизнь есть волна. Из мертвого вещества выделяется личность, из личности разумное сознание – вершина волны; поднявшись на вершину, волна, разумное сознание и личность спускаются туда, откуда они вышли, и уничтожаются. Жизнь человеческая для тех и других есть жизнь видимая. Человек вырос, созрел, умер, и после смерти ничего для него уже быть не может, – то, что после него и от него осталось: или потомство, или даже его дела, не может удовлетворять его. Он жалеет себя, боится прекращения своей жизни. В то же, что эта его жизнь, которая началась здесь на земле в его теле и здесь же кончилась, что эта жизнь его самого опять воскреснет, он не может верить.

Человек знает, что если его не было прежде, и он появился из ничего и умер, то его, особенного его, никогда больше не будет и быть не может. Человек познает то, что он не умрет, только тогда, когда он познает то, что он никогда не рожался и всегда был, есть и будет. Человек поверит в свое бессмертие только тогда, когда он поймет, что его жизнь не есть волна, а есть то вечное движение, которое в этой жизни проявляется только волною.

Представляется, что я умру, и кончится моя жизнь, и эта мысль мучает и пугает, потому что жалко себя. Да что умрет? Чего мне жалко? Что я такое с самой обыкновенной точки зрения? Я прежде всего плоть. Ну что же? за это я боюсь, этого мне жалко? Оказывается, что нет: тело, вещество не может пропасть никогда, нигде, ни одна частичка. Стало быть, эта часть меня обеспечена, за эту часть бояться нечего. Все будет цело. Но нет, говорят, не этого жалко. Жалко меня, Льва Николаевича, Ивана Семеныча... Да ведь всякий уж не тот, каким он был 20 лет тому назад, и всякий день он уж другой. Какого же мне жалко? Нет, говорят, не то, не этого жалко. Жалко сознания меня, моего я.

Да ведь это твое сознание не было всегда одно, а были разные: было иное год тому назад, еще более иное десять лет назад и совсем иное еще прежде; сколько ты помнишь, оно все шло изменяясь. Что же тебе так понравилось твое теперешнее сознание, что тебе так жалко потерять его? Если бы оно было у тебя всегда одно, тогда бы понятно было, а то оно все только и делало, что изменялось. Начала его ты не видишь и не можешь найти, и вдруг ты хочешь, чтобы ему не было конца, чтобы то сознание, которое теперь в тебе, оставалось бы навсегда. Ты с тех пор, как помнишь себя, все шел. Ты пришел в эту жизнь, сам не зная как, но знаешь, что пришел тем особенным я, которое ты есть, потом шел, шел, дошел до половины и вдруг не то обрадовался, не то испугался и уперся и не хочешь двинуться с места, идти дальше, потому что не видишь того, что там. Но ведь ты не видал тоже и того места, из которого ты пришел, а ведь пришел же ты; ты вошел во входные ворота и не хочешь выходить в выходные.

Вся жизнь твоя была шествие через плотское существование: ты шел, торопился идти и вдруг тебе жалко стало того, что совершается то самое, что ты, не переставая, делал. Тебе страшна большая перемена положения твоего при плотской смерти; но

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
ведь такая большая перемена совершилась с тобой при твоём рождении, и из этого для тебя не только не вышло ничего плохого, но, напротив, вышло такое хорошее, что ты и расстаться с ним не хочешь.

Что может пугать тебя? Ты говоришь, что тебе жалко того тебя, с теперешними чувствами, мыслями, с тем взглядом на мир, с теперешним твоим отношением к миру.

Ты боишься потерять свое отношение к миру. Какое же это отношение? В чем оно?

Если оно в том, что ты так ешь, пьешь, плодишься, строишь жилища, одеваешься, так или иначе относишься к другим людям и животным, то ведь все это есть отношение всякого человека, как рассуждающего животного, к жизни, и это отношение пропасть никак не может; таких было, и есть, и будет миллионы, и порода их сохранится наверное так же несомненно, как каждая частица материи. Сохранение породы с такой силой вложено во всех животных, и потому так прочно, что бояться за него нечего. Если ты животное, то тебе бояться нечего, если же ты вещество, то ты еще более обеспечен в своей вечности.

Если же ты боишься потерять то, что не есть животное, то ты боишься потерять свое особенное разумное отношение к миру, – то, с которым ты вступил в это существование. Но ведь ты знаешь, что оно возникло не с твоим рождением: оно существует независимо от твоего родившегося животного и потому не может зависеть и от смерти его.

Глава XXXIII

Жизнь видимая есть часть бесконечного движения жизни
Мне жизнь моя земная и жизнь всех других людей представляется так:

Я и всякий живущий человек – мы застаем себя в этом мире с известным, определенным отношением к миру, с известной степенью любви. Нам кажется сначала, что с этого отношения нашего к миру и начинается наша жизнь, но наблюдения над собой и над другими людьми показывают нам, что это отношение к миру, степень любви каждого из нас, не начались с этой жизнью, а внесены нами в жизнь из скрытого от нас нашим плотским рождением прошедшего; кроме того, мы видим, что все течение нашей жизни здесь есть ничто иное, как непрерывающееся увеличение, усиление нашей любви, которое никогда не прекращается, но только скрывается от наших глаз плотской смертью.

Видимая жизнь наша представляется мне отрезком конуса, вершина и основание которого скрываются от моего умственного взора. Самая узкая часть конуса есть то мое отношение к миру, с которым я впервые сознаю себя; самая широкая часть есть то высшее отношение к жизни, до которого я достиг теперь. Начало этого конуса – вершина его – скрыта от меня во времени моим рождением, продолжение конуса скрыто от меня будущим, одинаково неведомым и в моем плотском существовании и в моей плотской смерти. Я не вижу ни вершины конуса, ни основания его, но по той части его, в которой проходит моя видимая, памятная мне жизнь, я несомненно узнаю его свойства. Сначала мне кажется, что этот отрезок конуса и есть вся моя жизнь, но по мере движения моей истинной жизни, с одной стороны, я вижу, что то, что составляет основу моей жизни, находится позади ее, за пределами ее: по мере жизни я живее и яснее чувствую мою связь с невидимым мне прошедшим; с другой стороны, я вижу, как эта же основа опирается на невидимое мне будущее, я яснее и живее чувствую свою связь с будущим и заключаю о том, что видимая мною жизнь, земная жизнь моя, есть только малая часть всей моей жизни с обоих концов ее – до рождения и после смерти – несомненно существующей, но скрывающейся от моего теперешнего познания. И потому прекращение видимости жизни после плотской смерти, так же как невидимость ее до рождения, не лишает меня несомненного знания ее существования до рождения и после смерти. Я вхожу в жизнь с известными готовыми свойствами любви к миру вне меня; плотское мое существование – короткое или длинное – проходит в увеличении этой любви, внесенной мною в жизнь, и потому я заключаю несомненно, что я жил до своего рождения и буду жить, как после того момента настоящего, в котором я, рассуждая, нахожусь теперь, так и после всякого другого момента времени до или после моей плотской смерти. Глядя вне себя на плотские начала и концы существования других людей (даже существ вообще), я вижу, что одна жизнь как будто длиннее, другая короче; одна прежде проявляется и дольше продолжает быть мне видима, – другая позже проявляется и очень скоро опять скрывается от меня, но во всех я вижу проявление одного и того же закона всякой истинной жизни – увеличение любви, как бы расширение лучей жизни. Раньше или позже опускается завеса, скрывающая от меня временное течение жизни людей,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
жизнь всех людей все та же одна жизнь и все так же, как и всякая жизнь, не имеет ни начала, ни конца. И то, что человек дольше или меньше жил в видимых мною условиях этого существования, не может представлять никакого различия в его истинной жизни. То, что один человек дольше проходил через открытое мне поле зрения или другой быстро прошел через него, никак не может заставить меня приписать больше действительной жизни первому и меньше второму. Я несомненно знаю, что, если я видел проходящим мимо моего окна человека, скоро ли, или медленно – все равно я несомненно знаю, что этот человек был и до того времени, когда я увидал его, и будет продолжать быть и скрывшись из моих глаз.

Но зачем же одни проходят быстро, а другие медленно? Зачем старик, засохший, закостеневший нравственно, неспособный, по нашему взгляду, исполнять закон жизни – увеличение любви – живет, а дитя, юноша, девушка, человек во всей силе душевной работы, умирает, – выходит из условий этой плотской жизни, в которой, по нашему представлению, он только начинал устанавливать в себе правильное отношение к жизни?

Еще понятны смерти Паскаля, Гоголя; но – Шенье, Лермонтова и тысяча других людей с только что, как нам кажется, начавшейся внутренней работой, которая так хорошо, нам кажется, могла быть доделана здесь?

Но ведь это нам кажется только. Никто из нас ничего не знает про те основы жизни, которые внесены другими в мир, и про то движение жизни, которое совершилось в нем, про те препятствия для движения жизни, которые есть в этом существе, и, главное, про те другие условия жизни, возможные, но невидимые нам, в которые в другом существовании может быть поставлена жизнь этого человека.

Нам кажется, глядя на работу кузнеца, что подкова совсем готова – стоит только два два ударить, – а он сламывает ее и бросает в огонь, зная, что она не проварена.

Совершается или нет в человеке работа истинной жизни, мы не можем знать. Мы знаем это только про себя. Нам кажется, что человек умирает, когда этого ему не нужно, а этого не может быть. Умирает человек только тогда, когда это необходимо для его блага, точно так же, как растет, мужает человек только тогда, когда ему это нужно для его блага.

И в самом деле, если мы под жизнью разумеем жизнь, а не подобие ее, если истинная жизнь есть основа всего, то не может основа зависеть от того, что она производит: не может причина происходить из следствия, не может течение истинной жизни нарушаться изменением проявления ее. Не может прекращаться начатое и неконченное движение жизни человека в этом мире оттого, что у него сделается нарыв, или залетит бактерия, или в него выстрелят из пистолета.

Человек умирает только оттого, что в этом мире благо его истинной жизни не может уже увеличиться, а не оттого, что у него болят легкие, или у него рак, или в него выстрелили или бросили бомбу. Нам обыкновенно представляется, что жить плотской жизнью естественно, и неестественно погибать от огня, воды, холода, молнии, болезней, пистолета, бомбы; – но стоит подумать серьезно, глядя со стороны на жизнь людей, чтобы увидеть, что напротив: жить человеку плотской жизнью среди этих губительных условий, среди всех, везде распространенных и большей частью убийственных, бесчисленных бактерий, совершенно неестественно. Естественно ему гибнуть. И потому жизнь плотская среди этих губительных условий есть, напротив, нечто самое неестественное в смысле материальном. Если мы живем, то это происходит вовсе не оттого, что мы бережем себя, а оттого, что в нас совершается дело жизни, подчиняющее себе все эти условия. Мы живы не потому, что бережем себя, а потому, что делаем дело жизни. Кончается дело жизни, и ничто уже не может остановить неперестающую гибель человеческой животной жизни, – гибель эта совершается, и одна из ближайших, всегда окружающих человека, причин плотской смерти представляется нам исключительной причиной ее.

Жизнь наша истинная есть, ее мы одну знаем, из нее одной знаем жизнь животную, и потому, если уж подобие ее подлежит неизменным законам, то как же она-то – то, что производит это подобие, – не будет подлежать законам?

Но нас смущает то, что мы не видим причин и действий нашей истинной жизни так, как видим причины и действия во внешних явлениях: не знаем, почему один вступает в жизнь с такими свойствами своего я, а другой с другими, почему жизнь одного

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 обрывается, а другого продолжается? Мы спрашиваем себя: какие были до моего существования причины того, что я родился тем, что я есмь. И что будет после моей смерти от того, что я буду так или иначе жить? И мы жалеем о том, что не получаем ответов на эти вопросы.

Но жалеть о том, что я не могу познать теперь того, что именно было до моей жизни и что будет после моей смерти, – это все равно, что жалеть о том, что я не могу видеть того, что за пределами моего зрения. Ведь если бы я видел то, что за пределами моего зрения, я бы не видал того, что в его пределах. А мне ведь, для блага моего животного, мне нужнее всего видеть то, что вокруг меня.

Ведь то же и с разумом, посредством которого я познаю. Если бы я мог видеть то, что за пределами моего разума, я бы не видал того, что в пределах его. А для блага моей истинной жизни мне нужнее всего знать то, чему я должен подчиниться здесь и теперь свою животную личность для того, чтобы достигнуть блага жизни. И разум открывает мне это, открывает мне в этой жизни тот единый путь, на котором я не вижу прекращение своего блага.

Он показывает несомненно, что жизнь эта началась не с рождением, а была и есть всегда, – показывает, что благо этой жизни растет, увеличивается здесь, доходя до тех пределов, которые уже не могут содержать его, и только тогда уходит из всех условий, которые задерживают его увеличение, переходя в другое существование. Разум ставит человека на тот единственный путь жизни, который, как конусообразный расширяющийся туннель, среди со всех сторон замыкающих его стен, открывает ему вдали несомненную неконечность жизни и ее блага.

Глава XXXIV

Необъяснимость страданий земного существования убедительнее всего доказывает человеку то, что жизнь его не есть жизнь личности, начавшаяся рождением и кончающаяся смертью

Но если бы человек и мог не бояться смерти и не думать о ней, одних страданий, ужасных, бесцельных, – ничем не оправдываемых и никогда не отвратимых страданий, которым он подвергается, было бы достаточно для того, чтобы разрушить всякий разумный смысл, приписываемый жизни.

Я занят добрым, несомненно полезным для других делом, и вдруг меня схватывает болезнь, обрывает мое дело и томит, и мучает меня без всякого толка и смысла. Перержавел винт в рельсах, и нужно, чтобы в тот самый день, когда он выскочит, в этом поезде, в этом вагоне ехала добрая женщина-мать, и нужно, чтобы раздавило на ее глазах ее детей. Проваливается от землетрясения именно то место, на котором стоит Лиссабон или Верный, и зарываются живыми в землю и умирают в страшных страданиях – ничем не виноватые люди. Какой это имеет смысл? Зачем, за что эти и тысячи других бессмысленных, ужасных случайностей, страданий, поражающих людей?

Объяснения рассудочные ничего не объясняют. Рассудочные объяснения всех таких явлений всегда минуют самую сущность вопроса и только еще убедительнее показывают неразрешимость его. Я заболел оттого, что залетели туда-то такие-то микробы; или дети на глазах матери раздавлены поездом потому, что сырость так-то действует на железо; или Верный провалился оттого, что существуют такие-то геологические законы. Но ведь вопрос в том, почему именно такие-то люди подверглись именно таким-то ужасным страданиям, и как мне избавиться от этих случайностей страдания?

На это нет ответа. Рассуждение, напротив, очевидно показывает мне, что закона, по которому один человек подвергается, а другой не подвергается этим случайностям, нет и не может быть никакого, что подобных случайностей бесчисленное количество и что потому, что бы я ни делал, моя жизнь всякую секунду подвержена всем бесчисленным случайностям самого ужасного страдания.

Ведь если бы люди делали только те выводы, которые неизбежно следуют из их мирозерцания, – люди, понимающие свою жизнь как личное существование, ни минуты не оставались бы жить. Ведь ни один работник не стал бы жить у хозяина, который, нанимая работника, выговаривал бы себе право, всякий раз, как это ему вздумается, жарить этого работника живым на медленном огне, или с живого сдирать кожу, или вытягивать жилы, и вообще делать все те ужасы, которые он на глазах нанимающегося без всякого объяснения и причины проделывает над своими работниками. Если бы люди действительно вполне понимали жизнь так, как они

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 говорят, что ее понимают, ни один от одного страха всех тех мучительных и ничем не объяснимых страданий, которые он видит вокруг себя и которым он может подпасть всякую секунду, не остался бы жить на свете.

А люди, несмотря на то что все знают разные легкие средства убить себя, уйти из этой жизни, исполненной такими жестокими и бессмысленными страданиями, люди живут; жалуются, плачутся на страдания и продолжают жить.

Сказать, что это происходит оттого, что наслаждений в этой жизни больше, чем страданий, нельзя, потому что, во-первых, не только простое рассуждение, но философское исследование жизни явно показывают, что вся земная жизнь есть ряд страданий, далеко не выкупаемых наслаждениями; во-вторых, мы все знаем и по себе и по другим, что люди в таких положениях, которые не представляют ничего иного, как ряд усиливающихся страданий без возможности облегчения до самой смерти, все-таки не бьются себя и держатся жизни.

Объяснение этого странного противоречия только одно: люди все в глубине души знают, что всякие страдания всегда нужны, необходимы для блага их жизни, и только потому продолжают жить, предвидя их или подвергаясь им. Возмущаются же они против страданий потому, что при ложном взгляде на жизнь, требующем блага только для своей личности, нарушение этого блага, не ведущее к очевидному благу, должно представляться чем-то непонятным и потому возмутительным.

И люди ужасаются перед страданиями, удивляются им, как чему-то совершенно неожиданному и непонятному. А между тем всякий человек возрожден страданиями, вся жизнь его есть ряд страданий, испытываемых им и налагаемых им на другие существа, и, казалось, пора бы ему привыкнуть к страданиям, не ужасаться перед ними и не спрашивать себя, зачем и за что страдания? Всякий человек, если только подумает, увидит, что все его наслаждения покупаются страданиями других существ, что все его страдания необходимы для его же наслаждения, что без страданий нет наслаждения, что страдания и наслаждения суть два противоположные состояния, вызываемые одно другим и необходимые одно для другого. Так что же значат вопросы: зачем, за что страдания? – которые задает себе разумный человек? Почему человек, знающий, что страдание связано с наслаждением, спрашивает себя: зачем? за что страдание, а не спрашивает себя: – зачем? за что наслаждения?

Вся жизнь животного и человека, как животного, есть непрерывная цепь страданий. Вся деятельность животного и человека, как животного, вызывается только страданием. Страдание есть болезненное ощущение, вызывающее деятельность, устраняющую это болезненное ощущение и вызывающую состояние наслаждения. И жизнь животного и человека, как животного, не только не нарушается страданием, но совершается только благодаря страданию. Страдания, следовательно, суть то, что движет жизнь, и потому есть то, что и должно быть; так о чем же человек спрашивает, когда он спрашивает, зачем и за что страдание?

Животное не спрашивает этого.

Когда окунь вследствие голода мучает плотву, паук мучает муху, волк овцу, они знают, что делают то, что должно быть, и совершается то самое, что должно быть; и потому, когда и окунь, и паук, и волк подпадают таким же мучениям от сильнейших их, они, убегая, отбиваясь, вырываясь, знают, что делают все то, что должно быть, и потому в них не может быть ни малейшего сомнения, что с ними и случается то самое, что должно быть. Но человек, занятый только залечиванием своих ног, когда ему их оторвали на поле сражения, на котором он отрывал ноги другим, или занятый только тем, чтобы провести наилучшим образом свое время в одиночной синей тюрьме, после того как он сам прямо или косвенно засадил туда людей, или человек, только заботящийся о том, чтобы отбиться и убежать от волков, разрывающих его, после того как он сам зарезал тысячи живых существ и съел; человек не может находить, что все это, случающееся с ним, есть то самое, что должно быть. Он не может признавать случающегося с ним тем, что должно быть, потому что, подвергшись этим страданиям, он не делал всего того, что он должен был делать. Не сделав же всего того, что он должен был сделать, ему кажется, что с ним и случается то, чего не должно быть.

Но что же, кроме того, чтобы убежать и отбиваться от волков, должен делать человек, разрываемый ими? – То, что свойственно делать человеку, как разумному существу: сознать тот грех, который произвел страдание, каяться в нем и познавать истину.

Животное страдает только в настоящем, и потому деятельность, вызываемая страданием животного, направленная на самого себя в настоящем, вполне удовлетворяет его. Человек же страдает не в одном настоящем, но страдает и в прошедшем, и в будущем, и потому деятельность, вызываемая страданиями человека, если она направлена только на настоящее животного человека, не может удовлетворить его. Только деятельность, направленная и на причину, и на последствия страдания, и на прошедшее, и на будущее, удовлетворяет страдающего человека.

Животное заперто и рвется из своей клетки, или у него сломана нога и оно лижет больное место, или пожирается другим и отбивается от него. Закон его жизни нарушен извне, и оно направляет свою деятельность на восстановление его, и совершает то, что должно быть. Но человек – я сам или близкий мне – сидит в тюрьме; или я сам или близкий мне лишился в сражении ноги, или меня терзают волки: деятельность, направленная на побег из тюрьмы, на лечение ноги, на отбивание от волков, не удовлетворит меня, потому что заключение в тюрьме, боль ноги и терзание волков составляют только крошечную часть моего страдания. Я вижу причины своего страдания в прошедшем, в заблуждениях моих и других людей, и если моя деятельность не направлена на причину страдания – на заблуждение, и я не стараюсь освободиться от него, я не делаю того, что должно быть, и потому то страдание и представляется мне тем, чего не должно быть, и оно не только в действительности, но и в воображении возрастает до ужасных, исключаящих возможность жизни, размеров.

Причина страдания для животного есть нарушение закона жизни животной, нарушение это проявляется сознанием боли, и деятельность, вызванная нарушением закона, направлена на устранение боли; для разумного сознания причина страдания есть нарушение закона жизни разумного сознания; нарушение это проявляется сознанием заблуждения, греха, и деятельность, вызванная нарушением закона, направлена на устранение заблуждения – греха. И как страдание животного вызывает деятельность, направленную на боль, и деятельность эта освобождает страдание от его мучительности, так и страдания разумного существа вызывают деятельность, направленную на заблуждение, и деятельность эта освобождает страдание от его мучительности.

Вопросы: зачем? и за что? – возникающие в душе человека при испытывании или воображении страдания, показывают только то, что человек не познал той деятельности, которая должна быть вызвана в нем страданием и которая освобождает страдание от его мучительности. И действительно, для человека, признающего свою жизнь в животном существовании, не может быть этой, освобождающей страдание деятельности, и тем меньше, чем уже он понимает свою жизнь.

Когда человек, признающий жизнью личное существование, находит причины своего личного страдания в своем личном заблуждении, – понимает, что он заболел оттого, что съел вредное, или что его прибили оттого, что он сам пошел драться, или что он голоден и гол оттого, что он не хотел работать, – он узнает, что страдает за то, что сделал то, что не должно, и за тем, чтобы вперед не делать этого и, направляя свою деятельность на уничтожение заблуждения, не возмущается против страдания и легко и часто радостно несет его. Но когда такого человека постигает страдание, выходящее за пределы видимой ему связи страдания и заблуждения, – как, когда он страдает от причин, бывших всегда вне его личной деятельности или когда последствия его страданий не могут быть ни на что нужны ни его, ни чьей другой личности, – ему кажется, что его постигает то, чего не должно быть, и он спрашивает себя: зачем? за что? и, не находя предмета, на который бы он мог направить свою деятельность, возмущается против страдания, и страдание его делается ужасным мучением. Большинство же страданий человека всегда именно такие, причины или следствия которых – иногда же и то, и другое – скрываются от него в пространстве и времени: болезни наследственные, несчастные случайности, неурожаи, крушения, пожары, землетрясения и т. п., кончающиеся смертью.

Объяснения о том, что это нужно для того, чтобы преподать урок будущим людям, как не надо предаваться тем страстям, которые отражаются болезнями на потомстве, или о том, что надо лучше устроить поезда или осторожнее обращаться с огнем, – все эти объяснения не дают мне никакого ответа. Я не могу признать значения своей жизни в иллюстрации недосмотров других людей; жизнь моя есть моя жизнь, с моим стремлением к благу, а не иллюстрация для других жизней. И объяснения эти годятся только для разговоров и не облегчают того ужаса перед бессмысленностью

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1 угрожающих мне страданий, которые исключают возможность жизни.

Но если бы даже и можно было понять кое-как то, что, своими заблуждениями заставляя страдать других людей, я своими страданиями несу заблуждения других; если можно понять, тоже очень отдаленно, то, что всякое страдание есть указание на заблуждение, которое должно быть исправлено людьми в этой жизни, остается огромный ряд страданий, уже ничем не объяснимых. Человека в лесу одного разрывают волки, человек потонул, замерз или сгорел или просто одиноко болел и умер, и никто, никогда не узнает о том, как он страдал, и тысячи подобных случаев. Кому это принесет какую бы то ни было пользу?

Для человека, понимающего свою жизнь как животное существование, нет и не может быть никакого объяснения, потому что для такого человека связь между страданием и заблуждением только в видимых ему явлениях, а связь эта в предсмертных страданиях уже совершенно теряется от его умственного взора.

Для человека два выбора: или, не признавая связи между испытываемыми страданиями и своей жизнью, продолжать нести большинство своих страданий, как мучения, не имеющие никакого смысла, или признать то, что мои заблуждения и поступки, совершенные вследствие их, – мои грехи, какие бы они ни были, – причиною моих страданий, какие бы они ни были, и что мои страдания суть избавление и искупление от грехов моих и других людей каких бы то ни было.

Возможны только эти два отношения к страданию: одно то, что страдание есть то, чего не должно быть, потому что я не вижу его внешнего значения, и другое то, что оно то самое, что должно быть, потому что я знаю его внутреннее значение для моей истинной жизни. Первое вытекает из признания благом блага моей отдельной личной жизни. Другое вытекает из признания благом блага всей моей жизни прошедшего и будущего в неразрывной связи с благом других людей и существ. При первом взгляде, страдания не имеют никакого объяснения и не вызывают никакой другой деятельности, кроме постоянно растущего и ничем не разрешимого отчаяния и озлобления; при втором, страдания вызывают ту самую деятельность, которая и составляет движение истинной жизни, – сознание греха, освобождение от заблуждений и подчинение закону разума.

Если не разум человека, то мучительность страдания волей-неволей заставляют его признать то, что жизнь его не умещается в его личности, что личность его есть только видимая часть всей его жизни, что внешняя, видимая им из его личности связь причины и действия, не совпадает с той внутренней связью причины и действия, которая всегда известна человеку из его разумного сознания.

Связь заблуждения и страдания, видимая для животного только в пространственных и временных условиях, всегда ясна для человека вне этих условий в его сознании. Страдание, какое бы то ни было, человек сознает всегда как последствие своего греха, какого бы то ни было, и покаяние в своем грехе, как избавление от страдания и достижение блага.

Вся жизнь человека с первых дней детства ведь состоит только в этом: в сознании через страдание греха и в освобождении себя от заблуждений. Я знаю, что пришел в эту жизнь с известным знанием истины, и что чем больше было во мне заблуждений, тем больше было страданий моих и других людей, чем больше я освобождался от заблуждений, тем меньше было страданий моих и других людей и тем большего я достигал блага. И потому я знаю, что чем больше то знание истины, которое я уношу из этого мира и которое мне дает мое, хотя бы последнее, предсмертное страдание, тем большего я достигаю блага.

Мучения страдания испытывает только тот, кто, отделив себя от жизни мира, не видя тех своих грехов, которыми он вносил страдания в мир, считает себя невиноватым и потому возмущается против тех страданий, которые он несет за грехи мира.

И удивительное дело, то самое, что ясно для разума, мысленно, – то самое подтверждается в единой истинной деятельности жизни, в любви. Разум говорит, что человек, признающий связь своих грехов и страданий с грехом и страданиями мира, освобождается от мучительности страдания; любовь на деле подтверждает это.

Половина жизни каждого человека проходит в страданиях, которых он не только не признает мучительными и не замечает, но считает своим благом только потому, что

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
они несутся как последствия заблуждений и средство облегчения страданий любимых людей. Так что чем меньше любви, тем больше человек подвержен мучительности страданий, чем больше любви, тем меньше мучительности страдания; жизнь же вполне разумная, вся деятельность которой проявляется только в любви, исключает возможность всякого страдания. Мучительность страдания – это только та боль, которую испытывают люди при попытках разрывания той цепи любви к предкам, к потомкам, к современникам, которая соединяет жизнь человеческую с жизнью мира.

Глава XXXV

Страдания телесные составляют необходимое условие жизни и блага людей «Но все-таки больно, телесно больно. Зачем эта боль?» спрашивают люди. «А затем, что это нам не только нужно, но что нам нельзя бы жить без того, чтобы нам не бывало больно», ответил бы нам тот, кто сделал то, что нам больно, и сделал так мало больно, как только было можно, а благо от этого «больно» сделал так велико, как только было можно. Ведь кто не знает, что самое первое ощущение нами боли есть первое и главное средство и сохранения нашего тела и продолжения нашей животной жизни, что, если бы этого не было, то мы все детьми сожгли бы для забавы и изрезали бы все свое тело. Боль телесная оберегает животную личность. И пока боль служит обереганием личности, как это происходит в ребенке, боль эта не может быть тою ужасающею мукой, какою мы знаем боль в те времена, когда мы находимся в полной силе разумного сознания и противимся боли, признавая ее тем, чего не должно быть. Боль в животном и в ребенке есть очень определенная и небольшая величина, никогда не доходящая до той мучительности, до которой она доходит в существе, одаренном разумным сознанием. В ребенке мы видим, что он плачет от укуса блохи иногда так же жалостно, как от боли, разрушающей внутренние органы. И боль неразумного существа не оставляет никаких следов в воспоминании. Пусть каждый постарается вспомнить свои детские страдания боли, и он увидит, что у него об них не только нет воспоминания, но что он даже и не в силах восстановить их в своем воображении. Впечатление наше при виде страданий детей и животных есть больше наше, чем их страдание. Внешнее выражение страданий неразумных существ неизмеримо больше самого страдания и потому в неизмеримо большей степени вызывает наше сострадание, как это можно заметить при болезнях мозга, горячках, тифах и всяких агониях.

В те времена, когда не проснулось еще разумное сознание и боль служит только ограждением личности, она не мучительна; в те же времена, когда в человеке есть возможность разумного сознания, она есть средство подчинения животной личности разуму и по мере пробуждения этого сознания становится все менее и менее мучительной.

В сущности, только находясь в полном обладании разумного сознания, мы можем и говорить о страданиях, потому что только с этого состояния и начинается жизнь и те состояния ее, которые мы называем страданиями. В этом же состоянии ощущение боли может растягиваться до самых больших и суживаться до самых ничтожных размеров. В самом деле, кто не знает, без изучения физиологии, того, что чувствительность имеет пределы, что, при усилении боли до известного предела, или прекращается чувствительность – обморок, оцепение, жар, или наступает смерть. Увеличение боли, стало быть, очень точно определенная величина, не могущая выйти из своих пределов. Ощущение же боли может увеличиваться от нашего отношения к ней до бесконечности и точно так же может уменьшаться до бесконечно малого.

Мы все знаем, как может человек, покоряясь боли, признавая боль тем, что должно быть, свести ее до нечувствительности, до испытания даже радости в перенесении ее. Не говоря уже о мучениках, о Гусе, певшем на костре*, – простые люди только из желания выказать свое мужество переносят без крика и дергания считающиеся самыми мучительными операции. Предел увеличения боли есть, предела же уменьшения ее ощущения нет.

Мучения боли действительно ужасны для людей, положивших свою жизнь в плотском существовании. Да как же им и не быть ужасными, когда та сила разума, данная человеку для уничтожения мучительности страданий, направлена только на то, чтобы увеличивать ее?

Как у Платона есть миф о том, что бог определил сперва людям срок жизни 70 лет, но потом, увидав, что людям хуже от этого, переменял на то, что есть теперь, т. е. сделал так, что люди не знают часа своей смерти, – так точно верно определял бы разумность того, что есть, миф о том, что люди сначала были сотворены без

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
ощущения боли, но что потом для их блага сделано то, что теперь есть.

Если бы боги сотворили людей без ощущения боли, очень скоро люди бы стали просить о ней; женщины без родовых болей рожали бы детей в таких условиях, при которых редкие бы оставались живыми, дети и молодежь перепортили бы себе все тела, а взрослые люди никогда не знали бы ни заблуждений других, прежде живших и теперь живущих людей, ни, главное, своих заблуждений, – не знали бы, что им надо делать в этой жизни, не имели бы разумной цели деятельности, никогда не могли бы примириться с мыслью о предстоящей плотской смерти и не имели бы любви.

Для человека, понимающего жизнь как подчинение своей личности закону разума, боль не только не есть зло, но есть необходимое условие как его животной, так и разумной жизни. Не будь боли, животная личность не имела бы указания отступлений от своего закона; не испытывая страданий разумное сознание, человек не познал бы истины, не знал бы своего закона.

Но вы говорите, скажут на это, про страдания свои личные, но как же отрицать страдания других? Вид этих страданий – вот самое мучительное страдание, не совсем искренно скажут люди. Страдание других? Но страдания других, – то, что вы называете страданиями, – не прекращались и не прекращаются. Весь мир людей и животных страдает и не переставал страдать. Неужели мы только сегодня узнали про это? Раны, увечья, голод, холод, болезни, всякие несчастные случайности и, главное, роды, без чего никто из нас не явился на свет, – ведь все это необходимые условия существования. Ведь это – то самое, уменьшение чего, помощь чему и оставляет содержание разумной жизни людей, – то самое, на что направлена истинная деятельность жизни. Понимание страданий личностей и причин заблуждений людских и деятельность для уменьшения их ведь есть все дело жизни человеческой. Ведь затем-то я и человек – личность, чтобы я понимал страдания других личностей, и затем-то я – разумное сознание, чтобы в страдании каждой отдельной личности я видел общую причину страдания – заблуждения, и мог уничтожить ее в себе и других. Как же может материал его работы быть страданием для работника? Все равно, как пахарь бы сказал, что непаханая земля – его страдание. Непаханая земля может быть страданием только для того, кто хотел бы видеть пашню вспаханную, но не считает своим делом жизни пахать ее.

Деятельность, направленная на непосредственное любовное служение страдающим и на уничтожение общих причин страдания – заблуждений, и есть та единственная радостная работа, которая предстоит человеку и дает ему то неотъемлемое благо, в котором состоит его жизнь.

Страдание для человека есть только одно, и оно-то и есть то страдание, которое заставляет человека волей-неволей отдаваться той жизни, в которой для него есть только одно благо.

Страдание это есть сознание противоречия между греховностью своей и всего мира и не только возможностью, но обязанностью осуществления не кем-нибудь, а мной самим всей истины в жизни своей и всего мира. Утолить это страдание нельзя ни тем, чтобы участвуя в грехе мира, не видеть своего греха, ни еще менее тем, чтобы перестать верить не только в возможность, но в обязанность не кого-нибудь другого, но мою – осуществить всю истину в моей жизни и жизни мира. – Первое только увеличивает мои страдания, второе лишает меня силы жизни. Утоляет это страдание только сознание и деятельность истинной жизни, уничтожающие несоразмерность личной жизни с целью, сознаваемой человеком. Волей-неволей человек должен признать, что жизнь его не ограничивается его личностью от рождения и до смерти и что цель, сознаваемая им, есть цель достижимая и что в стремлении к ней – в сознании большей и большей своей греховности и в большем и большем осуществлении всей истины в своей жизни и в жизни мира и состоит и состояло и всегда будет состоять дело его жизни, неотделимой от жизни всего мира. Если не разумное сознание, то страдание, вытекающее из заблуждения о смысле своей жизни, волей-неволей загоняет человека на единственный истинный путь жизни, на котором нет препятствий, нет зла, а есть одно, ничем ненарушимое, никогда не начавшееся и не могущее кончиться, все возрастающее благо.

Заключение

Жизнь человека есть стремление к благу, и то, к чему он стремится, то и дано ему.

Зло в виде смерти и страданий видны человеку только, когда он закон своего

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1
плотского животного существования принимает за закон своей жизни. Только когда он, будучи человеком, спускается на степень животного, – только тогда он видит смерть и страдания. Смерть и страдания, как пугалы, со всех сторон ухают на него и загоняют на одну открытую ему дорогу человеческой жизни, подчиненной своему закону разума и выражающейся в любви. Смерть и страдания суть только преступления человеком своего закона жизни. Для человека, живущего по своему закону, нет смерти и нет страдания.

«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

«Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня: ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».

«Ибо иго мое благо и бремя мое легко» (От Мат. Гл. 11).

Жизнь человека есть стремление к благу; к чему он стремится, то и дано ему: жизнь, не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом.

Прибавление 1-е.

Обыкновенно говорят: мы изучаем жизнь не по сознанию своей жизни, а вообще вне себя. Но ведь это все равно, что сказать: мы рассматриваем предметы не глазами, но вообще вне себя.

Предметы мы видим вне себя потому, что мы видим их в своих глазах, и жизнь мы знаем вне себя потому только, что мы ее знаем в себе. И видим предметы мы только так, как мы их видим в своих глазах, и определяем мы жизнь вне себя только так, как мы ее знаем в себе. Знаем же мы жизнь в себе, как стремление к благу. И потому, без определения жизни как стремления к благу, нельзя не только наблюдать, но и видеть жизнь.

Первый и главный акт нашего познания живых существ тот, что мы много разных предметов включаем в понятие одного живого существа, и это живое существо исключаем из всего другого. И то и другое мы делаем только на основании всеми нами одинаково создаваемого определения жизни, как стремления к благу себя, как отдельного от всего мира существа.

Мы узнаем, что человек на лошади – не множество существ и не одно существо, не потому, что мы наблюдаем все части, составляющие человека и лошадь, а потому, что ни в голове, ни в ногах, ни в других частях человека и лошади мы не видим такого отдельного стремления к благу, которое мы знаем в себе. И узнаем, что человек на лошади не одно, а два существа, потому что узнаем в них два отдельные стремления к благу, тогда как в себе мы знаем только одно.

Только поэтому мы узнаем, что есть жизнь в соединении всадника и лошади, что есть жизнь в табуне лошадей, что есть жизнь в птицах, в насекомых, в деревьях, в траве. Если же бы мы не знали, что лошадь желает себе своего и человек своего блага, что того желает каждая отдельная лошадь в табуне, что того блага себе желает каждая птица, козявка, дерево, трава, мы не видели бы отдельности существа, а не видя отдельности, никогда не могли бы понять ничего живого: и полк кавалеристов, и стадо, и птицы, и насекомые, и растения – все бы было как волны на море, и весь мир сливался бы для нас в одно безразличное движение, в котором мы никак не могли бы найти жизнь.

Если я знаю, что лошадь, и собака, и клещ, сидящий на ней, – живые существа, и могу наблюдать их, то только потому, что у лошади, и собаки, и клеща есть свои отдельные цели, – цели, для каждого, своего блага. Знаю же я это потому, что таковым, стремящимся к благу, знаю себя.

В этом стремлении к благу и состоит основа всякого познания о жизни. Без признания того, что стремление к благу, которое чувствует в себе человек, есть жизнь и признак всякой жизни, невозможно никакое изучение жизни, невозможно никакое наблюдение над жизнью. И потому наблюдения начинаются тогда, когда уже известна жизнь, и никакое наблюдение над проявлениями жизни не может (как это предполагает ложная наука) определить самую жизнь.

Люди не признают определения жизни в стремлении к благу, которое они находят в

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
своем сознании, а признают возможность знания этого стремления в клеще, и на
основании этого предполагаемого, ни на чем не основанного знания того блага, к
которому стремится клещ, делают наблюдения и выводы даже о самой сущности жизни.

Всякое мое понятие о внешней жизни основано на сознании моего стремления к
благу. И потому, только познав, в чем мое благо и моя жизнь, я буду в состоянии
познать и то, что есть благо и жизнь других существ. Благо же и жизнь других
существ, не познав свою, я никак не могу знать.

Наблюдения над другими существами, стремящимися к своим, неизвестным мне, целям,
составляющим подобие того блага, стремление к которому я знаю в себе, не только
не могут ничего уяснить мне, но наверное могут скрыть от меня мое истинное
познание жизни.

Ведь изучать жизнь в других существах, не имея определения своей жизни, это все
равно, что описывать окружность, не имея центра ее. Только установив одну
непоколебимую точку как центр, можно описывать окружность. Но какие бы фигуры мы
ни рисовали, без центра не будет окружности.

Прибавление 2-е.

Ложная наука, изучая явления, сопутствующие жизни, и предполагая изучать самую
жизнь, этим предположением извращает понятие жизни; и потому, чем дольше она
изучает явление того, что она называет жизнью, тем больше она удаляется от
понятия жизни, которое она хочет изучать.

Сначала изучаются животные млекопитающиеся, потом другие, позвоночные, рыбы,
растения, кораллы, клеточки, микроскопические организмы, и дело доходит до того,
что теряется различие между живыми и неживыми, между пределами организма и
неорганизма, между пределами одного организма и другого. Доходит до того, что
самым важным предметом исследования и наблюдения представляется то, что уже не
может быть наблюдаемо. Тайна жизни и объяснение всего представляется в запятых,
живчиках, не видных уже, а скорее предполагаемых, нынче открываемых, а завтра
забываемых. Объяснение всего предполагается в тех существах, которые содержатся
в микроскопических существах, и тех, которые еще и в этих... содержатся, и т. д.
до бесконечности, как будто бесконечная делимость малого не есть бесконечность
такая же, как и бесконечность великого. Тайна открывается тогда, когда будет
исследована вся бесконечность малого до конца, т. е. никогда. И люди не видят
того, что представление о том, что вопрос получает разрешение в бесконечно
малом, есть несомненное доказательство того, что вопрос поставлен неправильно. И
эта последняя стадия безумия – та, которая явно показывает совершенную утрату
смысла исследований, – эта-то стадия и считается торжеством науки; последняя
степень слепоты представляется высшей степенью зречести. Люди зашли в тупик и
тем явно обличили перед собой ложь того пути, по которому они шли; и тут-то нет
пределов их восторгам. Еще немного усилить микроскопы, и мы поймем переход из
неорганического в органическое и органического в психическое, и вся тайна жизни
откроется нам.

Люди, изучая тени вместо предметов, забыли совсем про тот предмет, тень которого
они изучали, и, все дольше и дольше углубляясь в тень, пришли к полному мраку и
радуются тому, что тень сплошная.

Значение жизни открыто в сознании человека, как стремление к благу. Уяснение
этого блага, более и более точное определение его, составляет главную цель и
работу жизни всего человечества, и вот, вследствие того, что работа эта трудна,
т. е. не игрушка, а работа, люди решают, что определение этого блага и не может
быть найдено там, где оно положено, т. е. в разумном сознании человека, и что
поэтому надо искать его везде, – только не там, где оно указано.

Это вроде того, что бы делал человек, которому дали на записке точное указание
того, что ему нужно, и который, не умея прочесть ее, бросил бы эту записку и
спрашивал бы у всех встречных, не знают ли они того, что ему нужно. Определение
жизни, которое неизгладимыми буквами, в его стремлении к благу, начертано в душе
человека, люди ищут везде, только не в самом сознании человека. Это тем более
странно, что все человечество, в лице мудрейших представителей своих, начиная с
греческого изречения, гласившего: «познай самого себя», говорило и продолжает
говорить совершенно обратное. Все учения религиозные суть не что иное, как
определения жизни, как стремления к действительному, необманному благу,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
доступному человеку.

Прибавление 3-е.

Все яснее и яснее слышится человеку голос разума; человек чаще и чаще прислушивается к этому голосу, и приходит время и пришло уже, когда голос этот стал сильнее, чем голос, призывающий к личному благу и к обманному долгу. С одной стороны, становится все более и более ясным, что жизнь личности с ее приманками не может дать блага, с другой стороны, то, что уплата всякого долга, предписываемого людьми, есть только обман, лишаящий человека возможности уплаты по единственному долгу человека – тому разумному и благому началу, от которого он исходит. Тот давнишний обман, требующий веры в то, что не имеет разумного объяснения, уже износился, и нельзя возвратиться к нему.

Прежде говорили: не рассуждай, а верь тому долгу, что мы предписываем. Разум обманет тебя. Вера только откроет тебе истинное благо жизни. И человек старался верить и верил, но сношения с людьми показали ему, что другие люди верят в совершенно другое и утверждают, что это другое дает большее благо человеку. Стало неизбежно решить вопрос о том, какая – из многих – вера вернее; а решать это может только разум.

Человек и всегда познает все через разум, а не через веру. Можно было обманывать, утверждая, что он познает через веру, а не через разум; но как только человек знает две веры и видит людей, исповедующих чужую веру так же, как он свою, так он поставлен в неизбежную необходимость решить дело разумом. Буддист, познавши магометанство, если он останется буддистом, останется буддистом уже не по вере, а по разуму. Как скоро ему предстала другая вера и вопрос о том, откинуть ли свою или предлагаемую, – вопрос решается неизбежно разумом. И если он, узнав магометанство, остался буддистом, прежняя слепая вера в Будду уже неизбежно зиждется на разумных основаниях.

Попытки в наше время влить в человека духовное содержание через веру помимо разума – это все равно, что попытки питать человека помимо рта.

Общение людей показало им ту, общую им всем, основу познания, и люди уже не могут вернуться к прежним заблуждениям – и наступает время и наступило уже, когда мертвые услышат глас сына божия и, услышав, оживут.

Заглушить этот голос нельзя, потому что голос этот не чей-нибудь один голос, а голос всего разумного сознания человечества, который высказывается и в каждом отдельном человеке, и в лучших людях человечества, и теперь уже в большинстве людей.

Пора опомниться!

Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные способности, губит благосостояние семей и, что всего ужаснее, губит душу людей и их потомство, и, несмотря на это, с каждым годом все больше и больше распространяется употребление спиртных напитков и происходящее от него пьянство. Заразная болезнь захватывает все больше и больше людей: пьют уже женщины, девушки, дети. И взрослые не только не мешают этому отравлению, но, сами пьяные, поощряют их. И богатым, и бедным представляется, что веселым нельзя иначе быть, как пьяным или полупьяным, представляется, что при всяком важном случае жизни: похоронах, свадьбе, крестинах, разлуке, свидании – самое лучшее средство показать свое горе или радость состоит в том, чтобы одурманиться и, лишившись человеческого образа, уподобиться животному.

И что удивительнее всего, это то, что люди гибнут от пьянства и губят других, сами не зная, зачем они это делают. В самом деле, если каждый спросит себя, для чего люди пьют, он никак не найдет никакого ответа. Сказать, что вино вкусно, нельзя, потому что каждый знает, что вино и пиво, если они не подслащены, кажутся неприятными для тех, кто их пьет в первый раз. К вину приучаются, как к другому яду, табаку, понемногу, и нравится вино только после того, как человек привыкнет к тому опьянению, которое оно производит. Сказать, что вино полезно для здоровья, тоже никак нельзя теперь, когда многие доктора, занимаясь этим делом, признали, что ни водка, ни вино, ни пиво не могут быть здоровы, потому что питательности в них нет, а есть только яд, который вреден. Сказать, что вино прибавляет силы, тоже, нельзя, потому что не раз и не два, а сотни раз было

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 замечено, что артель пьющая в столько же людей, как и артель непьющая, сработает много меньше. И на сотнях и тысячах людей можно заметить, что люди, пьющие одну воду, сильнее и здоровее тех, которые пьют вино. Говорят тоже, что вино греет, но и это неправда, и всякий знает, что выпивший человек согревается только накоротко, а надолго скорее застынет, чем непьющий. Сказать, что если выпить на похоронах, на крестинах, на свадьбах, при свиданиях, при разлуках, при покупке, продаже, то лучше обдумаешь то дело, для которого собрались, – тоже никак нельзя, потому что при всех таких случаях нужно не одуреть от вина, а с свежей головой обсудить дело. Что важнее случай, то трезвей, а не пьяней надо быть. Нельзя сказать и того, чтобы вредно было бросить вино тому, кто привык к нему, потому что мы каждый день видим, как пьющие люди попадают в острог и живут там без вина и только здороваются. Нельзя сказать и того, чтобы от вина больше веселья было. Правда, что от вина накоротко люди как будто и согреваются и развеселяются, но и то и другое ненадолго. И как согреется человек от вина и еще пуще озябнет, так и развеселится от вина человек и еще пуще сделается скучен. Только стоит зайти в трактир да посидеть, посмотреть на драку, крик, слезы, чтобы понять то, что не веселит вино человека. Нельзя сказать и того, чтобы не вредно было пьянство. Про вред его и телу и душе всякий знает.

И что ж? И не вкусно вино, и не питает, и не крепит, и не греет, и не помогает в делах, и вредно телу и душе – и все-таки столько людей его пьют, и что дальше, то больше. Зачем же пьют и губят себя и других людей? «Все пьют и угощают, нельзя же и мне не пить и не угощать», – отвечают на это многие, и, живя среди пьяных, эти люди точно воображают, что все кругом пьют и угощают. Но ведь это неправда. Если человек вор, то он будет и водиться с ворами, и будет ему казаться, что все воры. Но стоит ему бросить воровство, и станет он водиться с честными людьми и увидит, что не все воры. То же и с пьянством. Не все пьют и угощают. Если бы все пили, так уже не надолго бы оставалось и жизни людям: все бы перемерли; но до этого не допустит бог: и всегда были и теперь есть много и много миллионов людей непьющих и понимающих, что пить или не пить – дело не шуточное. Если сцепились рука с рукой люди пьющие и торгующие вином и наступают на других людей и хотят спить весь мир, то пора и людям разумным понять, что и им надо схватиться рука с рукой и бороться со злом, чтобы их и их детей не сполчили заблудшие люди. Пора опомниться!

О голоде

I

За последние два месяца нет книги, журнала, номера газеты, в которой бы не было статей о голоде, описывающих положение голодающих, взывающих к общественной или государственной помощи и упрекающих правительство и общество в равнодушии, медлительности и апатии.

Судя по тому, что известно по газетам и что я знаю непосредственно о деятельности администрации и земства Тульской губернии, упреки эти несправедливы. Не только нет медлительности и апатии, но скорее можно сказать, что деятельность администрации, земства и общества доведена теперь до той последней степени напряжения, при которой оно может ослабеть, но едва ли может еще усилиться. Повсюду идет кипучая, энергическая деятельность.

В высших административных сферах шли и идут безостановочно работы, имеющие целью предотвратить ожидаемое бедствие. Ассигнуют, распределяют суммы на выдачу пособий, на общественные работы, делают распоряжения о выдаче топлива. В пострадавших губерниях собираются продовольственные комитеты, экстренные губернские и уездные собрания, придумываются средства приобретения продовольствия, собираются сведения о состоянии крестьян: через земских начальников – для администрации, через земских деятелей – для земства, обсуживаются и изыскиваются средства помощи. Роздана рожь для обсеменения, принимаются меры для сохранения семян овса на весну и, главное, для продовольствия в продолжение зимы.

Кроме того, по всей России совершаются пожертвования в кружках, при церквях, чиновниками отчисляются проценты из жалований, собираются пожертвования при редакциях, жертвуют частные лица и учреждения.

По всей России основались отделения Красного Креста, и непострадавшие губернии причислены по одной и по несколько к одной пострадавшей, собирая для нее пожертвования.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Если результаты, достигнутые до сих пор, меньше, чем можно бы ожидать, то причина этого не в недостаточности деятельности, но в том отношении к народу, в котором происходит эта деятельность и при котором, мне думается, помощь народу в теперешнем бедствии очень трудна.

О том, что я разумею под отношением к народу, – я скажу после.

До сих пор могли быть сделаны два дела: выдача семян на обсеменение и заготовление из казенных лесов дров на отопление.

Оба эти дела сделаны, судя по газетам и по тому, что мне известно непосредственно в нашей местности и по другим губерниям, не совсем удачно.

В нашей губернии крестьяне обсеменились почти везде своими семенами. Выдано же было отчасти мало, отчасти поздно, в некоторых же и многих местах семена выданы были без надобности людям, которые не нуждались в них, так что во многих уездах выданные семена продавались и пропивались.

Другое предстоящей осенью дело было дело заготовления топлива. С 1-го сентября было разрешено выдавать из казенных лесов топливо пострадавшим от неурожая крестьянам. Около 20-х чисел сентября состоялось расписание волостей, причисленных к известным лесничествам, и объявлено по волостям о разрешении собирать бесплатно топливо. Волости, причисленные к лесничествам, отстоят от них на 40–50 верст, так что перевоз валежника осенью на подножном корму не представлял бы затруднения. А между тем мне верно известно, что 14-го октября, т. е. в продолжение почти месяца, не было ни одного крестьянина в подгороднем нашем лесничестве. И в Крапивенском лесничестве тоже не отпускали ничего. Если принять во внимание то, что только осенью, когда есть еще подножный корм, для крестьянина есть возможность ехать вдаль за дровами, и то, что только осенью можно собирать не засыпанный еще снегом валежник, и то, что теперь каждый день может уже выпасть зима, – можно смело сказать, что это, другое дело, исполнено тоже неудачно.

Так сделаны были дела обсеменения и заготовления топлива, но оба эти дела вместе составляют едва ли одну десятую того дела продовольствия, которое предстоит теперь. Так что, судя по тому, как сделалось несовершенно то, что сделалось, трудно ожидать, чтобы огромное и трудное дело продовольствия сделано было лучше. Все, что известно по газетам, и все, что мне непосредственно известно о видах на совершение этого дела, – не обещает успеха. Как администрация, так и земства по отношению к этому делу народного продовольствия до сих пор еще не знают, что и как они будут делать.

Неопределенность эта усложняется, главное, разногласием, которое везде существует между двумя главными органами: администрацией и земством.

Странно сказать, вопрос о том: есть ли то бедствие, которое вызывает деятельность, т. е. есть ли голод или нет его, и если он есть, то в каких размерах, – есть вопрос нерешенный между администрацией и земством.

Повсюду земства требуют больших сумм, администрация же считает их преувеличенными и излишними и или отказывает, или сбавляет их. Администрация жалуется на то, что земства увлекаются общим настроением и, не вникая в сущность дела, не мотивируя, пишут жалобные литературные описания нужды народной и требуют огромные суммы, которые правительство не может дать и которые, если бы и были даны, принесли бы больше зла, чем пользы.

«Необходимо, чтобы народ узнал нужду и сам бы сократил свои расходы, – говорят представители администрации, – а то теперь все, что требуется земствами, все, что говорится в собраниях, передается в искаженном виде народу, и крестьяне надеются на такую помощь, которую они не могут получить. От этого происходит то, что люди не идут на предлагаемые работы и пьянствуют больше, чем когда-либо». «Какой же голод, – говорят представители администрации, – когда люди отказываются от работы, когда акциз, собранный в осенние месяцы нынешнего года, больше, чем за прошлый, и когда ярмарки торговли крестьянским товаром лучше всех годов.

Если только послушать требования земства, то с выдачей продовольствия будет то же, что с выдачей семян в некоторых уездах, где их выдали ненуждающимся и тем

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 только поощрили пьянство», – говорят представители администрации и – собирают подати.

Так смотрит на дело администрация. И нельзя не признать справедливости такого взгляда, если рассматривать дело с общей точки зрения: Но не менее справедливы доводы земства, когда на все эти возражения оно отвечает описанием крестьянского имущества по волостям, из которого явствует, что против среднего урожая нынешний урожай ниже вчетверо и впятеро и что средств пропитания у большинства населения нет.

Для того чтобы вырезать, приготовить и наложить заплату, надо знать размер дыры.

А вот в размерах этой дыры оказывается невозможным согласиться. Одни говорят, что дыра невелика и как бы заплату не разодрала дальше; другие говорят, что недостанет и материи на заплату. Кто прав? В каких размерах правы те или другие?

II

Ответом на эти вопросы пусть будет описание того, что я видел и слышал в четырех посещенных мною пострадавших от неурожая уездах Тульской губернии.

Первый уезд, посещенный мною, был Крапивенский, пострадавший в своей черноземной части.

Первое впечатление, отвечавшее в положительном смысле на вопрос о том, находится ли население в нынешнем году в особенно тяжелых условиях: употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, – с $\frac{1}{3}$ и у некоторых с $\frac{1}{2}$ лебеды, – хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят все – и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные.

Другое впечатление, указывающее на особенность положения в нынешнем году, это общие жалобы на отсутствие топлива. Тогда еще – это было в начале сентября – уже нечем было топить. Говорили, что порубили лозины на гумнах, что я и видел; говорили, что перерубили и перекололи на дрова все чурбачки, все деревянное. Многие покупают дрова в прочищающемся помещичьем лесу и в сводящейся поблизости роще. Ездят за дровами верст за 7, за 10. Цена колотых дров осиновых за шкалик, т. е. $\frac{1}{16}$ куб. саж., 90 копеек, так что дров на зиму понадобится рублей на 20, если топить все покупными.

Бедствие несомненное: хлеб нездоровый, с лебедой, и топиться нечем.

Но смотришь на народ, на его внешний вид, – лица здоровые, веселые, довольные. Все в работе, никого дома. Кто молотит, кто возит. Помещики жалуются, что не могут дозваться людей на работу. Когда я там был, шла копка картофеля и молотба. В праздник престольный пили больше обыкновенного, да и в будни попадались пьяные. Притом самый хлеб с лебедой, когда приглядишься, как и почему он употребляется, получает другое значение.

В том дворе, в котором мне в первом показали хлеб с лебедой, на задворках молотила своя молотилка на четырех своих лошадях, и овса, с своей и наемной земли, было 60 копен, дававших по 9-ти мер, т. е., по нынешним ценам, на 300 рублей овса. Ржи, правда, оставалось мало, четвертей 8, но, кроме овса, было до 40 четвертей картофеля, была греча, а хлеб с лебедой ела вся семья в 12 душ. Так что оказывалось, что хлеб с лебедой был в этом случае не признаком бедствия, а приемом строгого мужика для того, чтоб меньше ели хлеба, – так же, как для этой же цели и в изобильные года хозяйственный мужик никогда не даст теплого и даже мягкого хлеба, а все сухой. «Мука дорогая, а на этих пострелят разве наготовишься! Едят люди с лебедой, а мы что ж за господа такие!»

Отсутствие топлива тоже становится не так страшно, когда узнаешь подробности положения. Купить на 20 рублей – откуда взять в нынешнем году? – Так мне и говорил другой мужик, жалуясь на безвыходность нынешнего года. А между тем у этого мужика два сына живут в работниках, один за 40, другой за 50 рублей, и он одного из них женил нынешний год, несмотря на то, что баб у него в доме довольно. Отсутствие же топлива выкупается тем, что нынешний год соломы хотя и меньше обыкновенного, но она травяная, с колоском и составляет превосходный корм. Так что не топят соломой не потому только, что ее мало, а потому, что она нынешний год заменит отчасти посыпку мукой скотине. (Так это там, где была хоть солома. Во многих же уездах соломы совсем не было.) Положение большинства дворов

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1 при поверхностном наблюдении представляется таким, что неурожай ржи выкупается урожаем овса, стоящим в высокой цене, и хорошим урожаем картофеля. Продают овес, покупают рожь и кормятся преимущественно картофелем. Но не у всех есть и овес и картофель; когда я переписал всю деревню, то оказалось, что из 57 дворов 29 было таких, у которых ржи уже ничего не оставалось или несколько пудов, от 5 до 8, и овса мало, так что при промене двух четвертей на четверть ржи им не хватит пищи до рождества. Таковы 29 дворов; 15 же дворов совсем плохие. У этих дворов нет главного подспорья нынешнего года – овса, так как, будучи плохи еще прошлого года, они не могли обсеять ярового и земля сдана. Некоторые уже теперь собираются.

Таковы приблизительно и другие деревни Крапивенского уезда. Процент богатых, средних и плохих почти один и тот же: 50% или около того средних, т. е. таких, которые в нынешнем году съедят все свои продовольствия до декабря, 20% богатых и 30% совсем плохих, которым уже теперь или через месяц будет есть нечего.

Положение крестьян Богородицкого уезда хуже. Урожай, в особенности ржи, здесь был хуже. Здесь процент богатых, т. е. таких, которые могут просуществовать на своем хлебе, тот же, но процент плохих еще больше. Из 60-ти дворов 17 средних, 32 совсем плохих, таких же плохих, как те 15 плохих в первой деревне Крапивенского уезда.

Здесь, в Богородицком уезде, вопрос топлива был еще труднее разрешим, так как лесов еще меньше, но общее впечатление опять то же, как и в Крапивенском уезде. Пока ничего особенного, показывающего голод: народ бодрый, работающий, веселый, здоровый. Волостной писарь жаловался, что пьянство в успенье (престол) было такое, как никогда.

Чем дальше в глубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже. На гумнах хлеба или соломы все меньше и меньше, и плохих дворов все больше и больше. На границе Ефремовского и Богородицкого уездов положение худо в особенности потому, что при всех тех же невзгодах, как и в Крапивенском и Богородицком уездах, при еще большей редкости лесов, не родился картофель. На лучших землях не родилось почти ничего, только воротились семена. Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зеленая. Того белого ядрышка, которое обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и потому она не съедобна.

Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наестся натошак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалют.

Здесь бедные дворы, опустившиеся в прежние годы, доедали уже последнее в сентябре. Но и это не худшие деревни. Худшие – в Ефремовском и Епифанском уездах. Вот большая деревня Ефремовского уезда. Из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадах собирать. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда. Я зашел в один дом, чтобы видеть хлеб с отрубями. Мужик получил три меры ржи на обсеменение, когда у него уж было посеяно, и, смешав эти три меры с тремя мерами отрубей, смолот вместе, и вышел хлеб довольно хороший, но последний. Баба рассказывала, как девочка наелась хлеба из лебеды и ее несло сверху и снизу, и она бросила печь с лебедой. Угол избы полон котьясьями лошадиными и сучками, и бабы ходят собирать по выгонам котьясья и по лесам обломки сучков в палец толщиной и длиной. Грязь жилья, оборванность одежд в этой деревне очень большая, но видно, что это обычно, потому что такая же и в достаточных дворах. В этой же деревне слободка солдатских детей безземельных. Их дворов десять. У крайнего домика этой слободки, у которого мы остановились, вышла к нам оборванная, худая женщина и стала рассказывать свое положение. У нее пять человек детей. Старшей девочке десять лет. Двое больны, – должно быть, инфлуенцей. Один трехлетний ребенок больной, в жару, вынесен наружу и лежит прямо на земле, на выгоне, шагах в восьми от избушки, покрытый разорванным остатком зипуна. Ему и сыро, и холодно будет, когда пройдет жар, но все-таки лучше, чем в четырехаршинной избушке с развалившейся печкой, с грязью, пылью и другими четырьмя детьми. Муж этой женщины ушел куда-то и пропал. Она кормится и кормит своих больных детей собираясь. Но собирать ей затруднительно, потому что вблизи дают мало. Надо ходить вдаль, за 20–30 верст, и надо бросать детей. Так она и делает. Наберет кусочков, оставит дома и, как станут выходить, пойдет опять. Теперь она была дома, – вчера только пришла, и кусочков у ней хватит еще до завтра.

В таком положении она была и прошлого и третьего года, и еще хуже третьего года, потому что в третьем годе она сгорела и девочка старшая была меньше, так что не с кем было оставлять детей. Разница была только в том, что немного больше подавали и подавали хлеб без лебеды. И в таком положении не она одна. В таком положении не только нынешний год, но и всегда все семьи слабых, пьющих людей, все семьи сидящих по острогам, часто семьи солдат. Такое положение только легче переносится в хорошие года. Всегда и в урожайные годы бабы ходили и ходят по лесам украдкой, под угрозами побоев или острога, таскать топливо, чтобы согреть своих холодных детей, и собирали и собирают от бедняков кусочки, чтобы прокормить своих заброшенных, умирающих без пищи детей. Всегда это было! И причиной этого не один нынешний неурожайный год, только нынешний год все это ярче выступает перед нами, как старая картина, покрытая лаком. Мы среди этого живем!

III

Таких деревень, как эта, очень много и в Богородицком и в Ефремовском уездах. Но есть и хуже. И таковы деревни Епифанского уезда.

Вот одна из них: верст шесть от одной деревни до другой нет жилья и сел. Есть только в стороне помещичьи хутора. Все поля и поля, жирные, черноземные, глубоко вспаханные плугами и прекрасно посеянные рожью. Картофель весь выкопан; кое-где только перепахивают второй раз. Кое-где пашут под яровое. В жнивах ходят прекрасные стада помещичьи. Озимы прекрасные, дороги хозяйственно окопаны канавами, посажены срубавшей лозиною; в лощинах разводится сажены лес. Кое-где огороженные и оберегаемые леса помещиков. На хуторах по дороге пропасть соломы, и убирается в подвалы и бунты картофель. Все обработано, и обработано искусно, на всем виден положенный труд тысяч людей, исходивших с сохами, плугами, косами, граблями все борозды этих необозримых богатых полей. Прихожу к жительству этих людей. В крутых берегах большая прекрасная река, с обеих сторон поселение. На этой стороне Епифанского уезда поменьше, на той стороне, Данковского, побольше. Там и церковь с колокольней и блестящим на солнце крестом; по бугру, на той стороне, вытянулись красивые издали крестьянские домики.

Подхожу к краю деревни на этой стороне. Первая изба – не изба, а четыре каменные, серого камня, смазанные на глине стены, прикрытые потолочинами, на которых навалена картофельная ботва. Двора нет. Это жилье первой семьи. Тут же, спереди этого жилища, стоит телега, без колес, и не за двором, где обыкновенно бывает гумно, а тут же перед избой, расчищенное местечко, ток, на котором только что обмолотили и извезли овес. Длинный мужик в лаптях лопатой и руками насыпает из вороха в плетеную севалку чисто отвеянный овес, босая баба лет 50-ти, в грязной, черной, вырванной в боку рубахе, носит эти севалки, ссыпает в телегу без колес и считает. К бабе жметесь, мешая ей, в одной серой от грязи рубахе, растрепанная девочка лет семи. Мужик – кум бабе, он пришел помочь ей извезть и убрать овес. Баба – вдова, муж ее умер второй год, а сын в солдатах на осеннем ученье, невестка в избе с двумя своими малыши детьми: один грудной, на руках, другой лет двух сидит на лавке.

Весь урожай настоящего года – в овсе, который уберется весь в телегу, четверти четыре. От ржи, за посевом, остался аккуратно прибранным в пуньке мешок с лебедой, пуда в три. Ни проса, ни гречи, ни чечевицы, ни картошек не сеяли и не садили. Хлеб испекли с лебедой – такой дурной, что есть нельзя, и в нынешний день баба утром сходила побираться в деревню, верст за восемь. В деревне этой праздник, и она набрала фунтов пять кусочков без лебеды пирога, которые она показывала мне. В лукошке было набрано корок и кусочков в ладонь, фунта 4. Вот все имущество и все видимые средства пропитания.

Другая изба такая же, только немного лучше покрыта и есть дворишко. Урожай ржи такой же. Такой же мешок лебеды стоит в сенях и представляет амбары с запасами. Овса в этом дворе не сеяли, так как не было семян весной; картофелю три четверти, и есть пшеница две меры. Рожь, какая осталась от выдачи на семена, баба испекла пополам с лебедой и теперь доедают. Осталось полторы ковриги. У бабы четверо детей и муж. Мужа в то время, как я был в избе, не было дома, – он клал избу, каменную на глине у соседа-мужика через двор.

Третья изба такая же, как и первая, без двора и крыши, положение такое же. Пока я был в этой третьей избе и разговаривал с хозяйкой, сюда же вошла баба и стала рассказывать соседке, как ее мужа избили, как она не чаёт ему живым быть и как его нынче утром причастили. Очевидно, что соседка все знала это давно и что

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
рассказывалось это мне. Я предложил посмотреть больного, чтобы помочь ему, чем можно. Баба ушла и скоро опять вернулась, чтоб проводить меня. Больной лежал в соседней избе. Изба эта была большая, бревенчатая, с каменной пунькой и двором. В этой избе живут две чужие семьи на квартире, не имея домов. Глава одной из этих семей и был избитый больной. На хорах между печью и стеной лежал больной, покрытый веретьем, и жалобно стонал. Я подошел, раскрыл его с осторожностью. Это был коренастый, здоровый мужик лет 40, с налитым кровью лицом и атлетическими мускулами на оголенной руке. Я стал расспрашивать его, и он, стараясь стонать слабым голосом, рассказал мне, что третьего дня у них была сходка, и он и другой товарищ взяли билеты (паспорты), чтобы идти на низ, и тут он сказал одному мужику, что не надо ругаться, – в ответ на что этот мужик сбил его с ног и стал по нем ходить, т. е. избил его всего, и голову и грудь. Оказалось, что, взявши паспорта, поставили по восьмью, да тут же бывший староста, растративший мирских денег 50 рублей, поставил полведра за то, что ему рассрочили платеж на три срока, и мужики перепились.

Я ощупал, осмотрел избитого. Он был совершенно здоров и сильно вспотел под своим веретьем. Знаков никаких не было, и очевидно, он лежал и причащали его только, чтобы вызвать со стороны начальства, к которому он меня причислял, наказание тому, с кем он подрался. Когда я высказал ему, что не надо судиться и что я думаю, что он не опасно избит и может встать, он остался недоволен, и бабы, которые внимательно следили за мною и которых была полна изба, стали с неудовольствием говорить, что коли так, то они и всех до смерти перебьют.

Бедность всех трех семей, живущих тут, такая же полная, как и в первых дворах. Ржи ни у кого нет. У кого пшеница пуда два, у кого картошек недели на две. Хлеб, испеченный с лебедой из ржи, выданной на семена, у всех есть еще, но хватит не надолго.

Народ почти весь дома: кто мажет избу, кто перекладывает, кто сидит, ничего не делаю. Обмолочено все, картофель выкопан.

Такова вся деревня в 30 дворов, за исключением двух семей, которые зажиточны.

Деревня эта сгорела наполовину прошлого года и не отстроилась. Те первые дворы с женщиной, молотившей овес, и другие 8 дворов сряду выселены на новое место на край для исполнения правила страхования. Большинство так бедны, что до сих пор живут на квартирах. Так же слабы и остальные и непогоревшие, хотя погоревшие в общем несколько хуже. Положение деревни таково, что из 30-ти дворов 12 безлошадных.

Деревня в бедственном состоянии, но очевидно, что не неурожай нынешнего года главное бедствие. Неурожай этот представляется даже маленькой бедой в сравнении с теми частными причинами бедствий, которым подвержена каждая отдельная семья, и теми общими, независимыми от неурожая бедствиями, которые привели их в то состояние, в котором они находятся.

В каждой почти семье своя отдельная беда, гораздо значительнее неурожая нынешнего года.

У бывшего старосты беда та, что ему надо под угрозой суда уплатить 50 рублей по третям, и он продает весь овес на этот долг. У теперешнего старосты, хорошего столяра, беда та, что его посадили в старосты и лишили возможности пойти в работу. Жалованья ему дают 15 рублей в год, а он говорит, что легко заработал бы 60 и не подумал бы о неурожае. У третьего мужика беда в том, что он задолжал уже давно, а теперь пришлось платить, и он должен был продать три стены деревянной избы, оставив себе одну на топку. Теперь ему жить не в чем, и он мажет из камня крошечную келью, где будет жить с женой и детьми. У четвертого беда та, что он рассорился с жившей с ним матерью, и она отделилась от него, сломала свою избу и ушла к другому сыну, взяв свою часть. А ему жить и не с чем и негде. У пятого беда, что он ездил в город с овсом, загулял и пропил все, что было овса.

Общие же хронические причины бедствия тоже во много раз более сильные, чем неурожай. Как и везде: малоземельность, пожары, ссоры, пьянство, упадок духа.

Перед уходом из деревни я остановился подле мужика, только что привезшего с поля картофельные ботовья, плети (как у них называют) и складывавшего их у стены избы.

«Откуда это?»

«У помещика купляем».

«Как? Почему?»

«За десятину плетей – десятину на лето убирать». То есть за право собрать с десятины выкопанного картофеля картофельную ботву крестьянин обязывается вспахать, посеять, скосить, связать, свезти десятину хлеба, т. е. по обыкновенным дешевым ценам розничной работы сработать, по крайней мере, на 8 рублей, а по установленной в той местности цене выходит пять.

Мужик был разговорчив, я остановился с ним у телеги, и скоро человек шесть мужиков собралось тут же, и мы разговорились. Бабы, прислушиваясь, стояли поодаль. Ребята, жуя черный, чернильного цвета липкий хлеб с лебедой, вертелись подле нас, разглядывая меня и прислушиваясь. Я повторил некоторые расспросы, поверяя показания старосты. Все оказалось верным. Даже количество безлошадных оказалось больше, чем показал староста. Всю нищету свою рассказывали не то что с неудовольствием, но с какой-то постоянной над кем-то и над чем-то иронией.

«Что ж это вы так плохи, обедняли хуже других?» – спросил я.

Отвечать стали несколько голосов, – так определен был ответ.

«А что же поделаешь? Летось половину деревни как корова языком слизнула – выгорело. А то неурожай. И летось плохо было, а уж нынче вовсе чисто. Да какой тебе урожай, коли земли нет? Какая земля? – На квас».

«Ну, заработки?» – сказал я.

«Какие заработки? Где они? Ведь он (это помещик), нас на 11 верст обхватил. Всё его земля, куда хошь иди. Цена везде одна. Ну, вот плати 5 рублей за плети, а их на месяц не хватит».

«Ну, как же жить будете?»

– Так и будем жить. Распродадим, что есть, а там что бог даст.

– Продать-то уж нечего. Котьясья нешто продавать станешь! Вон у меня угол целый набран. Затопишь, так перхаешь, перхаешь.

– Уж писали, писали нас, раз десять писали, – сказал староста, – а все толку нет.

– Видно, писаря плохие. Вот дай дед (это на меня) запишет. Он тверже запишет. Вишь, перо-то у него какая и т. д.

Мужики смеются и очевидно что-то такое знают, но не сказывают.

Что же это такое? Неужели эти в самом деле не понимают своего положения или так надеются на помощь извне, что не хотят делать никаких усилий? Могу ошибаться, но похоже на это.

И тут я вспомнил двух немного выпивших старых мужичков Ефремовского уезда, ехавших из волостного правления, куда они ездили справляться о том, когда потребуются их сыновья на осеннее учение, которые на вопрос мой, как у них урожай и как они живут, отвечали мне, несмотря на то что они были из самой плохой местности, – что, слава богу, спасибо царю-батюшке, на обсеменение выдали, теперь будут выдавать и на продовольствие до заговен по 30 фунтов на человека, а после заговен – по полтора пуда.

Ведь то, что люди этой епифанской деревни не могут прожить зимы, не померев от голоду, или, по крайней мере, от болезней, происходящих от голода и дурной пищи, если они не предпримут чего-нибудь, так же несомненно, как и то, что колодка пчел без меду и оставленная на зиму, помрет к весне. Но в том-то и вопрос: предпримут они что-нибудь или нет? До сих пор похоже, что нет. Только один из них распродал все и уезжает в Москву. Остальные как будто не понимают своего

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
положения. Ждут ли они, что им помогут извне, или они, как дети, провалившиеся в прорубь или потерявшие дорогу, в первую минуту еще не понимая всей опасности своего положения, смеются над непривычностью его. Может быть, и то и другое. Но несомненно, что эти люди находятся в таком состоянии, при котором они едва ли сделают усилия, чтобы помочь себе.

IV

Что же, есть голод или нет голода? И если есть, то в каких размерах? И в каких размерах должна быть подана помощь? Все графы, по которым описываются имущества крестьян, ничего не отвечают и не могут ответить на эти вопросы.

Администрация и земство представляют себе задачу прокормления голодного народа точно так же, как представляют себе такую же задачу прокормления данного количества скотины. На столько-то волов нужно на 200 дней зимы столько-то пудов сена, соломы, барды. Заготовили это количество корма, поставили на стойло волов, и можно быть уверенным, что волы перезимуют. С людьми расчет совершенно иной.

Во-первых, для вола и всякой скотины *minimum* и *maximum* необходимой пищи очень недалеко друг от друга. Съев нужное ей количество корма, скотина перестает есть и больше ни в чем не нуждается, а недоев нужного ей количества, она скоро заболевает и умирает. Для человека же расстояние между *minimum*'ом и *maximum*'ом нужного ему, не только в виде пищи, но и других потребностей – огромно: человек может питаться просфоркой, как постники, горстью риса, как китайцы и индейцы, может не есть 40 дней, как доктор Таннер, и остаться здоров, и может поглотить огромное по ценности и питательности количество пищи и питья; и, кроме пищи, нуждается еще во многих вещах, которые могут разрастаться до бесконечности и суживаться до самого малого.

Во-вторых, вол на стойле не может сам себе добыть пищи, человек же сам добывает ее, и тот человек, которого мы собираемся кормить, есть самый главный добытчик пищи, тот самый, который в самых тяжелых условиях добывает то, чем мы собираемся его кормить. Кормить мужика, это все равно что во время весны, когда пробилась трава, которую может уже набрать скотина, держать скотину на стойле и самому щипать для нее эту траву, т. е. лишить стадо той огромной силы собирания, которая есть в нем, и тем погубить его.

Нечто подобное совершилось бы и с мужиком, если бы мы стали точно так кормить его, и он поверил бы этому.

«Бюджет мужика не сходится, – дефицит, – ему нечем кормиться», – надо его кормить.

Да учтите всякого среднего мужика не в неурожайный, а в обычный год, когда, как в наших местах, в тех самых местах, где голод сплошь да рядом, хлеба с надельной земли хватает только до рождества, и вы увидите, что ему в обыкновенные годы, по спискам урожая, кормиться нечем и дефицит такой, что ему непременно надо перевести скотину и самому раз в день есть. Таков бюджет среднего мужика, – про бедного и говорить нечего, – а, смотришь, он не только не перевел скотину, но женил сына или выдал дочь, справил праздник и прокурил 5 рублей на табак.

Кто не видал пожаров, очищавших все? Казалось бы, надо погибнуть погорельцам. Смотришь, кому пособил сват, дядя, кто достал кубышку, кто задался в работники, а кто поехал побираться; энергия напряглась, и смотришь, – через два года справились не хуже прежнего.

А переселенцы, уходящие с семьями, кормящиеся годами работами, пока не сядут на месте? Одно время я занимался вопросом прошедшего заселения Самарского края. И факт, который подтверждали мне все самарские старожилы, тот, что большинство переселенцев, шедших по маршрутам с помощью правительства, погибало и приходило в нищету, а большинство беглых, встречавших только препятствия от правительства, приходило и селилось благополучно и богато. А безземельные крестьяне, дворовые, солдатские дети? Все кормились и кормятся и в такие года, когда хлеб был такой же дорогой, как и теперь.

Разногласие о том, есть ли голод, или нет голода, и в каких размерах, – происходит оттого, что за основание для определения положения крестьянина берут его имущественный бюджет, тогда как главные статьи бюджета его определяются не имуществом, а его трудом.

Для определения степени нужды, которой бы можно было руководствоваться при раздаче пособий, во всех земствах составлены по волостям подробные подворные списки о количестве душ, едоков, работников, наделов; о количестве посеянных различных хлебов и урожая, о количестве скотины, о среднем урожае и еще многое другое. Списки составлены с необыкновенною роскошью граф и подробностей. Но тот, кто знает обиход крестьянина, знает, что списки эти говорят очень мало. Думать то, что крестьянский двор наживает только то, что он получает с своей наделной земли, и проживает только то, что он проест, большая ошибка. В большинстве случаев то, что он получает с наделной земли, составляет только меньшую часть того, что он наживает. Главное богатство крестьянина в том, что зарабатывают он и его домашние, зарабатывают ли они это на наемной земле, или работая на помещика, или живя у чужих людей, или промыслами. Мужик и его домашние ведь всегда все работают. Обычное нам состояние физической праздности есть бедствие для мужика. Если у мужика нет работы всем членам его семьи, если он и его домашние едят, а не работают, то он считает, что совершается бедствие вроде того, как если бы из разошедшей бочки уходило вино, и обыкновенно всеми средствами ищет и всегда находит средство предотвратить это бедствие – находит работу. В мужицкой семье все члены ее с детства до старости работают и зарабатывают. Мальчик 12-ти лет уже в подпасках или в работниках при лошадях, девочка прядет или вяжет чулки, варежки. Мужик в заработках или вдали, или дома, или на поденной, или берет работу сдельно у помещиков, или сам нанимает землю. Старик плетет лапти; это обычные заработки. Но есть и исключительные: мальчик водит слепых, девочка в няньках у богатого мужика, мальчик в мастеровых, мужик бьет кирпич или делает севалки, баба – повитуха, лекарка, брат слепой – подбирается, грамотный – читает псалтирь по мертвым, старик растирает табак, вдова тайно торгует водкой. Кроме того: у того сын в кучерах, кондукторах, урядниках, у того дочь в горничных, няньках, у того дядя в монахах, приказчиках, и все эти родственники помогают и поддерживают двор. Из таких-то статей, не входящих в графы, составляется главный приход мужицкой семьи. Статьи расхода еще более разнообразны и далеко не ограничиваются пищей: подати казенные, земские, рекрута справиться, орудия, кузнечная работа, сошники, шкворни, колеса, топоры, вилки, шорное, тележное, постройки, печь, одежда, обувка себе и ребятам, праздники, говеть себе и семейным, свадьба, крестины, похороны, лечение, гостинцы ребятам, табак, горшки, посуда, соль, деготь, керосин, богомолье. У каждого человека, кроме того, есть еще свои свойства характера, слабости, добродетели, пороки, которые стоят денег. В самом бедном дворе в пять-шесть душ обернется в год от 50 до 70 рублей, в богатом от 70-ти до 300-т, в среднем 100–120 рублей. И каждый хозяин может при небольшом усилии энергии сделать из этих 100 рублей дохода 150, а при ослаблении ее сделать из 100–50, при бережливости и порядке сделать из 100 рублей расхода 60, а при небрежности и слабости из ста рублей расхода – двести.

Беда в нынешнем году в том, что вследствие дороговизны хлеба больше людей нуждаются в заработках, хозяева по этой же причине уменьшают количество рабочих, и потому приход меньше, а расход при дорогой покупке хлеба неизбежно значительно больше. Так что всякому хозяину труднее увеличить приход и уменьшить расход. Но и при этих условиях степень нужды двора все-таки от не определяемых списками обстоятельств может увеличиться и уменьшиться на значительную величину.

Как же при этих условиях учесть бюджет мужика и решить вопрос о том, которым из них помогать и поскольку?

В земствах учреждены попечители – лица, имеющие заведовать раздачей пособий по волостям. В одном из земств учреждены даже советы при попечителях, из священника, старшины, церковного старосты и двух уполномоченных, которые должны решать, кому сколько дать. Но советы эти ничего не помогут делу распределения, потому что по спискам и по тому, что известно теперь о крестьянских семьях, никак нельзя определить того, что с ними будет.

Чтобы правильно определить степень нужды крестьянина, нужны не списки, а надо призвать прорицателя, который предскажет, кто из мужиков и его домашних будет жив, здоров, будет жить в согласии с семьей, работать и найдет работу, кто будет воздержан и аккуратен, а кто будет болеть, ссориться и не найдет работы, поддастся соблазнам и увлечениям. Прорицателей таких нет, и узнать этого нельзя. Нельзя заранее узнать нуждающихся, и потому правильно распределить даровое пособие народу не то что трудно, но прямо невозможно.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Люди, мало думавшие об отношениях богатых к бедным, обыкновенно думают, что только бы богатые отдали бедным или были бы принуждены отдать часть своего богатства, и все будет прекрасно. Но это большая ошибка. Попробуйте раздавать деньги бедным в городе, да это и пробуют. И что же выходит?

Лет семь тому назад в Москве, по воле умершего купца, раздавали шесть тысяч по два рубля всем бедным. Набралась такая толпа, что двух задавили до смерти и большинство денег досталось здоровым золоторотцам, а бедным, слабым ничего не досталось.

То же самое происходит и произойдет в деревне и везде, где будут раздавать даром. Обыкновенно думают, что только бы было что раздавать, а раздать, распределить это уже легко. Положим, думают обыкновенно, что бывают злоупотребления, обманы, но для этого надо быть внимательным, позаботиться исследовать, и тогда можно отделить не нуждающихся и дать только истинно нуждающимся.

В этом-то и заблуждение! Существо дела таково, что этого нельзя сделать! Раздавать даровые пособия только нуждающимся – нельзя, потому что нет тех внешних признаков, по которым можно бы было определить нуждающегося, а самая раздача дарового вызывает самые дурные страсти, так что уничтожаются и те признаки, которые были.

Администрация и земства хлопочут о том, чтобы узнать истинно нуждающихся, все же мужики, и вовсе не нуждающиеся, узнав, что будет раздаваться даровое, стараются притвориться или даже сделаться нуждающимися, чтобы без труда получить пособие.

Веками, поколениями выработались в людях приемы приобретения богатств и средств к жизни и суждения о достоинстве различных приемов! Приобретать трудом хорошо, похвально, без труда – дурно, стыдно. И вдруг является способ приобретения без труда, не подлый и не имеющий в себе ничего предосудительного. Очевидно, какую путаницу в понятиях производит такое появление нового способа приобретения. И то, что раздача пособий крестьянам считается заимообразною, не изменяет дела: крестьяне знают, что отдачи не может быть.

Кроме того, раздают даром; что это значит? Откуда у того, кто раздает, то, что он раздает? Очевидно, те миллионы рублей или пудов, которые находятся во власти раздавателей, приобретены ими не тем трудом, которым приобретаются крестьянами рубли и пуды хлеба, а более легким. «Нельзя ли и нам также приобрести эти рубли и пуды? Нельзя ли и нам принять участие в этих миллионах? И что значит для этих миллионов те десятки лишних рублей или пудов, которые перепадут мне, бедному». Так невольно рассуждают люди при даровой раздаче, и такого рода рассуждения и вытекающая из них деятельность не только парализует всю пользу раздачи той жадностью и теми обманами, которые она вызовет, но и, главное, тем отвлечением людей от самого главного и прочного средства приобретения – от труда. Раздача даровая несет в себе не только столько же зла, сколько она бы могла принести пользы, но больше; и в особенности среди сельского населения с его фантастическими представлениями о казне и с его разрастающимися, как комы снега, слухами.

Так что же? Не выдавать пособия, когда мрут с голода? Ведь в деревне, где нет хлеба до ноября и где нет работы, через неделю наступит, несомненно, настоящий голод для женщин, для старых и малых, да и для самих, может быть, и ленивых, и обманувшихся, но живых людей. Очевидно, нельзя не выдавать, но если выдавать, то как же давать, кому давать?

Если давать всем поровну, как того требуют везде крестьяне, резонно говоря, что если отвечать круговой порукой, то надо, по крайней мере, выдавать всем поровну, чтобы было за что, то для того, чтобы при равномерной выдаче достало самым бедным на прокормление, потребуется такая сумма, которой, очевидно, нельзя найти. Если же выдавать всем помалу, то то, что достанется бедным, будет недостаточно для того, чтобы спасти их от гибели.

Если выдавать одним нуждающимся, то как отделить истинно нуждающихся от не истинно нуждающихся? Зажиточный мужик, обыкновенно нанимающий землю и кормящий этим свои 12 душ, теперь проедающий деньги, нужные ему на наем земли, проедающий потом семенной овес на арендную землю, нуждающийся он или нет? А если не нуждающийся, то нуждающийся ли тот, который, если не получит пособия, первый

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
заложит богачу свою яровую землю и проест семена и останется без овса на будущий год? А если и этот не нуждающийся, то нуждающийся ли тот, который проедает лошадь? И тот, и другой, и третий сбиты с обычного трудового хода жизни. И нельзя сказать, кто больше нуждающийся.

Главное же то, что чем больше будет даровое пособие, тем более ослабится энергия народа, а чем больше ослабится энергия народа, тем более увеличится нужда.

А не помогать нельзя.

В этом cercle vicieux[9] бьются администрация и земства.

V

И выхода из этого ложного круга действительно нет и не может быть, потому что дело, за которое взялись администрация и земство, – дело невозможное. Ведь дело это состоит ни больше, ни меньше, как в том, чтобы прокормить народ. Мы, господа, взялись за то, чтобы прокормить, кормильца, – того, кто сам кормил и кормит нас.

Грудной ребенок хочет кормить свою кормилицу; паразит то растение, которым он питается! Мы, высшие классы, живущие все им, не могущие ступить шагу без него, мы его будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное.

Детям дали лошадь – настоящую, живую лошадь, и они поехали кататься и веселиться. Ехали, ехали, гнали под гору, на гору. Хорошая лошадка обливалась потом, задыхалась, везла, и все везла, слушалась; а дети кричали, хвастались друг перед другом; кто лучше правит, и подгоняет, и скачет. И им казалось, как и всегда кажется, что когда скакала лошадка, что это они сами скакали, и они гордились своей скачкой.

Долго веселились дети, не думая о лошади, забыв о том, что она живет, трудится и страдает, и если замечали, что она останавливается, то только сильнее взмахивали кнутом, стегали и кричали. Но всему есть конец, пришел конец и силам доброй лошадки, и она, несмотря на кнут, стала останавливаться. Тут только дети вспомнили, что лошадь живая, и вспомнили, что лошадей поят и кормят, но детям не хотелось останавливаться, и они стали придумывать, как бы на ходу накормить лошадь. Они достали длинную палку и на конец ее привязали сено и, прямо с козел, на ходу подносили это сено лошади. Кроме того, двое из детей, заметив, что лошадь шатается, стали поддерживать ее; и держали ее зад руками, чтобы она не завалилась ни направо, ни налево. Дети придумывали многое, но только не одно, что должно бы было им прежде всего прийти в голову, – то, чтобы слезть с лошади, перестать ехать на ней, и если они точно жалеют ее, отпрячь ее и дать ей свободу.

Разве не то же, что делали эти дети с везущей их лошадью, когда они гнали ее, делали и делают люди богатых классов с рабочим народом во все времена и до и после освобождения. И разве не то же, что делают дети, стараясь, не слезая с лошади, накормить ее, делают люди общества, придумывая средства, не изменяя своего отношения к народу – прокормить его теперь, когда он слабеет и может отказаться везти?

Придумывают все возможное, но только не одно то, что само просится в ум и в сердце: слезть с той лошади, которую ты жалеешь, перестать ехать на ней и погонять ее.

Народ голодает, и мы, высшие классы, очень озабочены этим и хотим помочь этому. И для этого мы заседаем, собираем комитеты, собираем деньги, покупаем хлеб и распределяем его народу.

Да отчего он и голоден? Неужели так трудно понять это? Неужели нужно или клеветать на него, как бессовестно делают одни, говоря, что народ беден оттого, что он ленив и пьяница; или обманывать самого себя, как делают другие, говоря, что народ беден только оттого, что мы не успели еще передать ему всей мудрости нашей культуры, а что мы, вот, с завтрашнего дня начнем, не утаивая ничего, передавать ему всю эту нашу мудрость, и тогда уж он перестанет быть беден; и потому нам нечего стыдиться того, что мы теперь живем на его шее, – все это для его блага?

Нам, русским, это должно быть особенно понятно. Могут не видеть этого промышленные, торговые народы, кормящиеся колониями, как англичане. Благосостояние богатых классов таких народов не находится в прямой зависимости от положения их рабочих. Но наша связь с народом так непосредственна, так очевидно то, что наше богатство обуславливается его бедностью, или его бедность нашим богатством, что нам нельзя не видеть, отчего он беден и голоден. А зная, отчего он голоден, нам очень легко найти средство насытить его.

Средство одно: не объедать его.

Неужели надо искать эти *midî à quatorze heures*, [10] когда так все ясно и просто, особенно ясно и просто для самого народа, на шее которого мы сидим и едем? Ведь это детям можно воображать, что не лошадь их везет, а они сами едут посредством махания кнута, но нам-то, взрослым, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа.

Народ голоден оттого, что мы слишком сыты.

Разве может не быть голоден народ, который в тех условиях, в которых он живет, то есть при тех податях, при том малоземелье, при той заброшенности и одичании, в котором его держат, должен производить всю ту страшную работу, результаты которой поглощают столицы, города и деревенские центры жизни богатых людей?

Все эти дворцы, театры, музеи, вся эта утварь, все эти богатства, – все это выработано этим самым голодающим народом, который делает все эти ненужные для него дела только потому, что он этим кормится, т. е. всегда этой вынужденной работой спасает себя от постоянно висящей над ним голодной смерти. Таково его положение всегда.

Нынешний год только вследствие неурожая показал, что струна слишком натянута. Народ всегда держится нами впроголодь. Это наше средство, чтобы заставлять его на нас работать. Нынешний же год проголодь эта оказалась слишком велика. Но нового, неожиданного ничего не случилось. И нам, кажется, можно знать, отчего народ голоден.

Заботы общества теперь о помощи народу в беде голода подобны заботам учредителей Красного Креста на войне. Энергия одних на войне направляется на калечение и убийство людей, других – на то, чтобы помогать калеченным и убиваемым. Все это хорошо, пока деятельность войны и также деятельность истощения народа, угнетения его – считаются нормальными. Но как скоро мы начинаем утверждать, что мы жалеем людей, убиваемых на войне, и людей голодающих, то не проще ли не убивать людей и не учреждать и средств лечения их? Не проще ли перестать губить благосостояние народа, чем, губя его, делать вид, что мы озабочены его благосостоянием?

В последние 30 лет сделалось модой между наиболее заметными людьми русского общества исповедовать любовь к народу, к меньшому брату, как это принято называть. Люди эти уверяют себя и других, что они очень озабочены народом и любят его. Но все это неправда. Между людьми нашего общества и народом нет никакой любви и не может быть.

Между людьми нашего общества – чистыми господами в крахмаленных рубашках, чиновниками, помещиками, коммерсантами, офицерами, учеными, художниками и мужиками нет никакой другой связи, кроме той, что мужики, работники, *hands*, как это выражают англичане, нужны нам, чтобы работать на нас.

Зачем скрывать то, что мы все знаем, что между нами, господами, и мужиками лежит пропасть? Есть господа и мужики, черный народ. Одни уважаемы, другие презираемы, и между теми и другими нет соединения. Господа никогда не женятся на мужичках, не выдают за мужиков своих дочерей, господа не общаются как знакомые с мужиками, не едят вместе, не сидят даже рядом; господа говорят рабочим ты, рабочие говорят господам вы. Одних пускают в чистые места и вперед в соборы, других не пускают и толкают в шею; одних секут, других не секут.

Это две различные касты. Хотя переход из одной в другую и возможен, но до тех пор, пока переход не совершился, разделение существует самое резкое, и между господином и мужиком такая же пропасть, как между кшетрием и парием.*

Вольтер говорил, что если бы возможно было, пожав шишечку в Париже, этим

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stou1
пожатием убить мандарина в Китае, то редкий парижанин лишил бы себя этого
удовольствия.

Отчего же не говорить правду? Если бы, пожавши пуговку в Москве или Петербурге, этим пожатием можно было бы убить мужика в Царевококшайском уезде и никто бы не узнал про это, я думаю, что нашлось бы мало людей из нашего сословия, которые воздержались бы от пожатия пуговки, если б это могло им доставить хоть малейшее удовольствие.

И это не предположение только. Подтверждением этого служит вся русская жизнь, все то, что не переставая происходит по всей России.

Разве теперь, когда люди, как говорят, мрут от голода, помещики, купцы, вообще богачи изменили свою жизнь, перестали требовать от народа для удовлетворения своих прихотей губительного для него труда, разве перестали богачи убирать свои палаты, есть дорогие обеды, обгоняться на своих рысаках, ездить на охоты, наряжаться в свои наряды? Разве теперь богачи не сидят с своими запасами хлеба, ожидая еще больших повышений цен, разве фабриканты не сбивают цен с работы? Разве чиновники перестают получать жалование, собираемое с голодных? Разве все интеллигентные люди не продолжают жить по городам – для своих, слушаешь их, самых возвышенных целей, пожирая там, в городах, эти свозимые для них туда средства жизни, от отсутствия которых мрет народ?

Зачем обманывать себя? Народ нужен нам только как орудие. И выгоды наши (сколько бы мы ни говорили противное) всегда диаметрально противоположны выгодам народа. Чем больше мне дадут жалования и пенсии, говорит чиновник, т. е. чем больше возьмут с народа, тем мне лучше. Чем дороже я продам хлеб и все нужные предметы народу и чем ему будет труднее, тем мне будет лучше, – говорит и купец и землевладелец. Чем меньше я дам работы народу, заменив ее машинами, и чем дороже продам ему свой товар, тем я больше наживу, – говорит фабрикант. Чем дешевле будет работа, т. е. чем беднее будет народ, тем мне лучше, – говорят все люди богатых классов. Какое же у нас может быть сочувствие народу? Между нами и народом нет иной связи, кроме той, что мы тянем за одну и ту же палку, но каждый к себе. Чем лучше мне, тем хуже ему, – чем хуже ему, тем лучше мне. Как же нам при таких условиях помогать народу!

И потому, если человек нашего общества действительно хочет служить народу, то первое, что ему нужно сделать, это ясно понять свое отношение к нему. Когда ничего не предпринимается, то ложь, оставаясь ложью, не особенно вредна. Но когда, как теперь, люди хотят служить народу, то первое и главное, что нужно, это откинуть ложь, ясно понять свое отношение к нему.

Поняв же свое истинное отношение к народу, состоящее в том, что мы живем им, что бедность его происходит от нашего богатства и голод его – от нашей сытости, мы не можем начать служить ему иначе, как тем, чтобы перестать делать то, что вредит ему. Если мы точно жалеем лошадь, на которой мы едем, то мы прежде всего слезем с нее и пойдем своими ногами.

Поняв свое отношение к народу, желая служить ему, первое, что мы сделаем, будет неизбежно то, что мы постараемся rendre gorge, [11] воздать народу то, что мы отобрали от него, второе будет, что мы перестанем отбирать от него то, что отбираем, и, в-третьих, то, что постараемся, изменив свою жизнь, разорвать кастовую черту, разделяющую нас от народа.

Спасает людей от всяких бедствий, в том числе и от голода, только любовь. Любовь же не может ограничиваться словами, а всегда выражается делами. Дела же любви по отношению к голодным состоят в том, чтобы отдать из двух кусков и из двух одежд голодному, как это сказано не Христом даже, а Иоанном Крестителем, т. е. в жертве.

Для того же, чтобы быть в состоянии это сделать, надо прежде всего видеть холодного и голодного, стать в прямые отношения с ним, разрушить те преграды, которые отделяли нас от него.

Я не говорю, что всякий, кто хочет принести помощь голодающим, должен непременно поехать и поселиться в холодной избе, жить во вшах, питаться хлебом с лебедой и умереть через два месяца или две недели и что всякий, кто не делает этого, тот не приносит никакой помощи. Я не это говорю – я говорю, что поступить так,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
именно так, жить и умереть вместе с теми, которые будут умирать через два месяца или две недели, было бы очень хорошо – так же хорошо, как прожить и умереть так, как умер Damien у прокаженных.* Но я не говорю, что всякий должен и может это сделать и что тот, кто не сделает всего этого, ничего не сделал. Я говорю то, что, чем ближе к этому поступит человек, тем будет лучше для него и для других, но что сделает хорошо всякий, кто хотя сколько-нибудь приблизится к этому идеалу.

Есть два предела: один тот, чтобы отдать свою жизнь за други своя; другой тот, чтобы жить, не изменяя условий своей жизни. Между этими двумя пределами находятся все люди: одни на степени учеников Христа, оставивших всё и пошедших за ним, другие на степени богатого юноши, тотчас же отвернувшегося и ушедшего, когда ему сказано было об изменении жизни.

Между этими двумя пределами находятся различные Закхеи*, отчасти только изменяющие свою жизнь.

Но для того, чтобы быть Закхеем, надо не переставая стремиться к первому пределу, надо знать и помнить, что идеал, к которому следует стремиться, не состоит в том, чтобы, продолжая жить барской жизнью, приобретать и распространять как можно больше знаний, которые каким-то таинственным, непонятным путем окажутся когда-то полезными народу, но прямо и просто уменьшать свои требования, удовлетворяемые трудом народа, и прямо и просто сейчас сближаться с ним и по мере сил своих служить ему.

Прокормится ли, не прокормится народ, весь народ, я не знаю, скажет себе человек, ставший на эту точку зрения, и не могу знать: завтра может сделаться мор или нашествие, от которого и без голода помрет народ, или завтра же откроется новое питательное вещество, которое прокормит всех, или, что проще всего, я умру завтра и ничего не узнаю о том, прокормился или не прокормился народ. Главное же то, что меня никто не приставлял к делу прокормления сорока миллионов живущего в таких-то пределах народа, и я, очевидно, не могу достигнуть внешней цели прокормления и избавления от несчастий таких-то людей, а приставлен я к своей душе, к тому, чтобы свою жизнь провести как можно ближе к тому, что мне указывает моя совесть.

Совесть же моя говорит мне, что я виноват перед народом, что постигшая его беда отчасти от меня и что потому мне нельзя продолжать жить, как я жил, а надо изменить свою жизнь, как можно больше сблизиться с народом и служить ему.

И удивительное дело, стоит человеку отвернуться от задачи разрешения внешних вопросов и поставить себе единый, истинный, свойственный человеку внутренний вопрос: как мне прожить наилучшим образом в этот год тяжелого испытания – чтобы все те общие вопросы получили разрешение.

Общая правительственная деятельность, задаваясь внешней целью – прокормить и поддержать благосостояние сорока миллионов людей, встречает на своем пути непреодолимые препятствия. 1) Определить степень предстоящей нужды для населения, могущего проявить в этом поддержании себя наибольшую энергию и совершенную апатию, – нет никакой возможности. 2) Если допустить, что определение это возможно, то количество требуемых сумм так велико, что нет никакого вероятия приобрести их. 3) Если допустить, что суммы эти будут найдены, то даровая раздача денег и хлеба населению ослабит энергию и самостоятельность народа, более всего другого могущую поддержать в нынешнее тяжелое время его благосостояние. 4) Если и допустить, что раздача будет производиться так, что не ослабит самостоятельности народа, то нет возможности правильно распределить пособия, и ненуждающиеся захватят долю нуждающихся, из которых большинство все-таки останется без помощи и погибнет.

Только деятельность, имеющая внутреннюю цель для души, всегда соединенная с жертвой, только такая деятельность устраняет все препятствия, мешавшие деятельности правительственной с внешней целью.

Это та деятельность, которая заставляет в нынешнем голодном году в голодной местности, что я видел не раз, крестьянку, хозяйку дома, при словах: «Христа ради», слышных под окном, пожатьсь, поморщиться и потом все-таки достать с полки последнюю, начатую ковригу и отрезать от нее с пол-ладони кусочек и, перекрестившись, подать его.

Для этой деятельности не существует первого препятствия – невозможности определения степени нужды нуждающегося: «Просят Христа ради Маврины сироты». Она знает, что им взять негде, и подает.

Не существует и второго препятствия – огромности количества нуждающихся: нуждающиеся всегда были и есть, вопрос только в том, сколько я своих сил могу им отдать. Подающей милостыню хозяйке не нужно рассчитывать того, сколько миллионов голодающих в России. Для нее один вопрос: как пустить нож по ковриге, – потоньше или потолще? Но тонко ли, толсто ли, она подает и твердо, несомненно знает, что если каждый от себя оторвет, то всем достанет, сколько бы их ни было.

Третье препятствие еще меньше существует для хозяйки. Она не боится того, что подача этого ломтика ослабит энергию Мавриных ребят и поощрит их к праздности и попрошайничеству, потому что она знает, что и эти ребята понимают, как дорог ей ломоть, который она отрезает им.

Нет и четвертого препятствия. Хозяйке нет нужды заботиться о том, правда ли нужно подать тем, которые стоят теперь под окошком, и нет ли других более нуждающихся, которым бы надо отдать этот ломоть. Ей жалко Мавриных ребят, она и дает им, и знает, что если все друг дружку жалеть будут, то всем хорошо будет и нынешний год, и всегда и в России, и во всем мире.

Вот эта-то деятельность, имея только внутреннюю цель, всегда спасала, спасает и теперь спасёт людей. Вот эта-то деятельность должна быть усвоена людьми, желающими в нынешнее, трудное время служить другим людям.

Спасает эта деятельность людей потому, что она есть то зерно, мельчайшее из всех, которое вырастает в величайшее дерево.

Так ничтожно то, что могут сделать один, два человека, десятки людей, живя в деревне среди голодных и по силам помогая им. Очень мало. Но вот что я видел в свою поездку. Шли ребята из-под Москвы, где они были в пастухах. И один заболел и отстал от товарищей. Он часов пять просидел и пролежал на краю дороги, и десятки мужиков прошли мимо его. В обед ехал мужик с картофелем и расспросил малого и, узнав, что он болен, пожалел его и привез в деревню.

Кто это? Кого привез Аким? – Аким рассказал, что малый болен, отоцал, не ел два дня. Малого посадили у избы, до старосты. Подошла одна баба, принесла картошек, другая – пирожка, третья молока. – Ах, сердечный, отоцал! Как не пожалеть? Свое детище. И тот самый малый, мимо которого, несмотря на его жалкий вид, проходили, не пожалев его, десятки людей, стал всем жалок, всем дорог, потому что один пожалел его.

Тем-то и важна любовная деятельность, что она заразительна. Деятельность общая, правительственная, выражающаяся в теперешних обстоятельствах даровой раздачей, по расписаниям и спискам, хлеба и денег, вызывает самые дурные чувства: жадность, зависть, притворство, осуждение; деятельность личная вызывает, напротив, лучшие чувства, любовь и желание жертвы. «Я работал, трудился – мне ничего, а лентяя, пьяницу награждать. Кто же ему велел пропивать? Поделом вору и мука», – говорит богатый и средний мужик, которым не дают пособий. С не меньшей злобой говорит бедняк про богача, требующего равную долю. «Мы и бедны-то от них – от богачей. Они нас сосут, а им еще давай нашу долю; он и так гладок» и т. п. Такие чувства вызывает раздача дарового пособия. Но, напротив, увидит один, как другой поделился последним, потрудился для несчастного, и ему хочется сделать то же. В этом сила любовной деятельности. Сила в том, что она заразительна, а как скоро она заразительна, то распространению ее нет пределов.

Как одна свеча зажигает другую, и одной свечой зажигаются тысячи, так и одно сердце зажигает другое, и зажигаются тысячи. Миллионы рублей богачей делают меньше, чем сделают хоть небольшое уменьшение жадности и увеличение любви в массе людей. Только бы увеличилась любовь – сделается то чудо, которое совершилось при раздаче пяти хлебов. Все насытятся, и еще останется.

И сделать это чудо могут не те люди, которые с гордым сознанием своей необходимости народу, не изменяя своего отношения к нему, будут изыскивать общие средства прокормления 32-х миллионов, а только те, которые, сознав свою вину перед народом в угнетении его и в отделении себя от него, с смирением и

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
покаянием постараются, соединившись с ним, разделить с ним и его беду нынешнего
года.

Деятельность эта практически представляется мне такою: человек из общества, желающий в тяжелый нынешний год принять участие в общем бедствии, приезжает в одну из пострадавших от неурожая местностей и начинает там жить, проживая там на месте, в Мамадышском, Лукояновском, Ефремовском уездах в голодной деревне, те обычные десятки тысяч, тысячи или сотни рублей, которые он проживает ежегодно, и посвящая свой досуг, употребляемый им в городах на увеселения, на ту деятельность на пользу голодного народа, какая ему будет по силам. Уже одно то, что он будет жить там и проживет там то, что он проживает обыкновенно в городе, принесет материальную помощь народу; а то, что он будет жить среди этого народа, даже не с самоотвержением, но только с бескорыстием, уже принесет нравственную пользу ему и народу. Очевидно, человек, приехавший в голодную местность для того, чтобы быть полезным народу, не может ограничиться тем, чтобы только жить в свое удовольствие среди голодного населения. Я представляю себе такого человека, мужчину или женщину или семью с средними средствами, положим с тысячею рублями в год, переехавшего так в неурожайную местность.

Лицо это или семья нанимает или получает от знакомых помещиков помещение, или выбирает, нанимает избу, устраивается в ней сообразно своим требованиям и способностям к перенесению неудобств жизни, заготавливает дрова, провизию, заводит лошадь, корм и т. п. Все это хлеб народу; но этим не могут ограничиться отношения этой семьи или этого лица к народу. На кухню придут сейчас же нищие с сумами. Надо подать. Кухарка жалуется, что хлеба выходит много. Надо или отказывать в кусочках, или печь лишние хлебы. Стали печь лишние хлебы, народу стало ходить больше. Из семьи, где хлеб дошел и есть нечего, пришли попросить, надо и туда дать. Оказывается, что своя кухарка не управляется и печь мала. Надо нанять избу для хлебов и нанять особую кухарку. Это стоит денег. Денег нет. У поселившегося лица есть друзья, знакомые, которые знают, что он или она уехали в неурожайный уезд. Ему или ей присылают денег люди, знающие его, и дело продолжается, принимает соответствующие нужде формы, растет.

Мне кажется, что столовые, – места, где кормят проходящих, – это та форма помощи, которая сама собою сложится из отношений богатых людей к голодающим и принесет наибольшую пользу. Форма эта более всего вызывает прямую деятельность помогающего, более всего сближает его с населением, менее всего подлежит злоупотреблениям, дает возможность при меньших средствах прокормить наибольшее число людей, а главное, обеспечивает общество от того страшного, висящего над нами всеми дамоклов меча, – мысли о том, что вот-вот, пока мы живем по-старому, здесь, там умер человек от голода.

Если бы такие столовые распространились везде в голодающих местностях, ужасная, угнетающая нашу совесть угроза была бы устранена.

В Данковском и Епифанском уездах с сентября открылись такие столовые. Народ дал им название «сиротских призрений», и, как кажется, самое название это предотвращает злоупотребление этими учреждениями. Здоровый мужик, имеющий хоть какую-нибудь возможность прокормиться, сам не пойдет в эти столовые обедать сирот, да и, сколько я наблюдал, считает это стыдом. Вот письмо, полученное мною от моего приятеля, земского деятеля* и постоянного деревенского жителя, о деятельности этих сиротских призрений:

«Шесть сиротских призрений открыто не более десяти дней, и уже питается в них около 200 человек. Заведующий столовыми, с совета сельского старосты, уже принужден допускать едоков с разбором, так много представляется нуждающихся. Оказывается, что кормятся крестьяне не семьями, а что нуждающиеся семьи выставляют своих кандидатов – почти исключительно старух и детей. Так, например, отец шести человек детей – в дер. Пашкове – просил допустить двух из них, а затем через два дня привел еще третьего. Староста говорил, что «особливо хорошо поглядеть, как помлаже ребятишки свекольник полюбили». Тот же староста мне рассказывал, что иногда матери сами приводят своих детей, «слыгаются, что это для смелости, а оглядится, да и сама поест». Когда слышишь эти слова старосты, то понимаешь, что это не ложь и что придумать их нельзя; ужели голод еще не наступил? Мы, конечно, знаем, что зверь у порога; но беда в том, что этот зверь одновременно врывается во столько семей, что не хватит, пожалуй, наших запасов. Учет показал, что в день выходит на едока 1 ½ ф. хлеба и 1 ф. картофеля, но сверх того потребно топливо да всякая мелочь: лук, соль, свекла и т. д. Более же

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
всего затрудняет топливо, оно представляет собою наиболее дорогой материал. Крестьяне установили очередные подводы, чтоб ездить за припасами. Организация требует распорядительного человека, и хлопотлива хозяйственная заготовка припасов; самые же сиротские призрения не нуждаются в надзоре за расходом припасов: сама хозяйка так привыкла жить век крохами, да к тому же все посетители так следят за оборотами своей столовой, что малейшая небрежность – и она моментально бы огласилась, а затем и устранилась бы сама собой. У меня вырыто новых два подвала и в них засыпано уже 300 четвертей картофеля, но всего этого мало, так как требования растут ежедневно. Кажется, что помощь попала в самую надлежащую точку. Человек над шестью столовыми поставлен, но время расширить круг деятельности столовых и срок еще не пропущен.

Чую, насколько отрадна для молодого поколения будет работа в столовых; ведь испытываешь наслаждение, поливая в засуху растения; каково же должно быть упоение ежедневно кормить голодных малышей!»

Больших подробностей о деятельности этих учреждений я пока не знаю. Думаю, что эта форма удобная и возможная, но эта форма не исключает все другие. Живущие по деревням лица, как только они вступят в близкое и непосредственное общение с народом, найдут новые, соответствующие нужде формы помощи, которые могут быть до бесконечности разнообразны.

Нужно только, чтобы были люди. А люди эти есть, наверное есть. Я был в 4-х уездах, и в каждом уезде есть уже люди, готовые на эту деятельность и в некоторых начавшие ее.

Стыдно

В 1820-х годах семеновские офицеры, цвет тогдашней молодежи, большей частью масоны и впоследствии декабристы, решили не употреблять в своем полку телесного наказания, и, несмотря на тогдашние строгие требования фронтовой службы, полк и без употребления телесного наказания продолжал быть образцовым.

Один из ротных командиров Семеновского же полка, встретясь раз с Сергеем Ивановичем Муравьевым, одним из лучших людей своего, да и всякого, времени, рассказал ему про одного из своих солдат, вора и пьяницу, говоря, что такого солдата ничем нельзя укротить, кроме розог. Сергей Муравьев не сошелся с ним и предложил взять этого солдата в свою роту.

Перевод состоялся, и переведенный солдат в первые же дни украл у товарища сапоги, пропил их и набуянил. Сергей Иванович собрал роту и, вызвав перед фронт солдата, сказал ему: «Ты знаешь, что у меня в роте не бьют и не секут, и тебя я не буду наказывать. За сапоги, украденные тобой, я заплачу свои деньги, но прошу тебя, не для себя, а для тебя самого, подумать о своей жизни и изменить ее». И, сделав дружеское наставление солдату, Сергей Иванович отпустил его.

Солдат опять напился и подрался. И опять не наказали его, но только уговаривали: «Еще больше повредишь себе; если же ты исправись, то тебе самому станет лучше. Поэтому прошу тебя больше не делать таких вещей».

Солдат был так поражен этим новым для него обращением, что совершенно изменился и стал образцовым солдатом.

Рассказывавший мне это брат Сергея Ивановича, Матвей Иванович*, считавший, так же как и его брат и все лучшие люди его времени, телесное наказание постыдным остатком варварства, позорным не столько для наказываемых, сколько для наказывающих, никогда не мог удержаться от слез умиления и восторга, когда говорил про это. И, слушая его, трудно было удержаться от того же.

Так смотрели на телесное наказание образованные русские люди 75 лет тому назад. И вот прошло 75 лет, и в наше время внуки этих людей заседают в качестве земских начальников в присутствиях и спокойно обсуждают вопросы о том, должно ли, или не должно, и сколько ударов розгами должно дать такому и такому – то взрослому человеку, часто отцу семейства, иногда деду. Самые же передовые из этих внуков в комитетах и земских собраниях составляют заявления, адреса и прошения о том, чтобы ввиду гигиенических и педагогических целей сечь не всех мужиков, людей крестьянского сословия, а только тех, которые не кончили курса в народных училищах.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Очевидно, перемена в среде так называемого высшего образованного сословия произошла огромная. Люди 20-х годов, считая телесное наказание позорным действием для себя, сумели уничтожить его в военной службе, где оно считалось необходимым; люди нашего времени спокойно применяют его не над солдатами, а над всеми людьми одного из сословий русского народа и осторожно, политично, в комитетах и собраниях, со всякими оговорками и обходами, подают правительству адреса и прошения о том, что наказание розгами не соответствует требованиям гигиены и потому должно бы было быть ограничено, или что желательнее бы было, чтобы секли только тех крестьян, которые не кончили курса грамоты, или чтобы были уволены от сечения те крестьяне, которые подходят под манифест по случаю бракосочетания императора.

Очевидно, совершилась страшная перемена в среде так называемого высшего русского общества; и что удивительнее всего, – что эта перемена совершилась именно тогда, когда в том самом одном сословии, которое считается необходимым подвергать отвратительному, грубому и глупому истязанию сечения, в этом самом сословии совершилась за эти 75 лет, а в особенности за последние 35 лет со времени освобождения, такая же огромная перемена, но только в обратном направлении.

В то время как высшие правящие классы так огрубели и нравственно понизились, что ввели в закон сечение и спокойно рассуждают о нем, в крестьянском сословии произошло такое повышение умственного и нравственного уровня, что употребление для этого сословия телесного наказания представляется людям из этого сословия не только физической, но и нравственной пыткой.

Я слышал и читал про случаи самоубийства крестьян, приговоренных к розгам. И не могу не верить этому, потому что сам видел, как самый обыкновенный молодой крестьянин при одном упоминании на волостном суде о возможности совершения над ним телесного наказания побледнел как полотно и лишился голоса; видел также, как другой крестьянин, 40 лет, приговоренный к телесному наказанию, заплакал, когда на вопрос мой о том, исполнено ли решение суда, должен был ответить, что оно уже исполнено.

Знаю я тоже, как знакомый мне почтенный, пожилой крестьянин, приговоренный к розгам за то, что он, как обыкновенно, поругался с старостой, не обратив внимания на то, что староста был при знаке, был приведен в волостное правление и оттуда в сарай, в котором приводятся в исполнение наказания. Пришел сторож с розгами; крестьянину велено было раздеться.

– Пармен Ермилыч, ведь у меня сын женатый, – дрожа всем телом, сказал крестьянин, обращаясь к старшине. – Разве нельзя без этого? Ведь грех это.

– Начальство, Петрович... я бы рад, что делать? – отвечал смущенный старшина.

Петрович разделся и лег.

– Христос терпел и нам велел, – сказал он.

Как рассказывал мне присутствовавший писарь, у всех тряслись руки, и все не смели смотреть в глаза друг другу, чувствуя, что они делают что-то ужасное. И вот этих-то людей считают необходимым и, вероятно, полезным для кого-то, как животных, – да и животных запрещают истязать, – сечь розгами.

Для блага нашего христианского и просвещенного государства необходимо подвергать нелепейшему, неприличнейшему и оскорбительнейшему наказанию не всех членов этого христианского просвещенного государства, а только одно из его сословий, самое трудолюбивое, полезное, нравственное и многочисленное.

Высшее правительство огромного христианского государства, 19 веков после Христа, ничего не могло придумать более полезного, умного и нравственного для противодействия нарушениям законов, как то, чтобы людей, нарушавших законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить прутьями по заднице. [12]

И люди нашего времени, считающие себя самыми передовыми, внуки тех людей, которые 75 лет тому назад уничтожили телесное наказание, теперь почтительнейше и совершенно серьезно просят господина министра и еще кого-то о том, чтобы поменьше сечь взрослых людей русского народа, потому что доктора находят, что

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
это нездорово, не сечь тех, которые кончили курс, и избавить от сечения тех, которых должны сечь вскоре после бракосочетания императора. Мудрое же правительство глубокомысленно молчит на такие легкомысленные заявления или даже воспрещает их.

Но разве можно об этом просить? Разве может быть об этом вопрос? Ведь есть поступки, совершаются ли они частными людьми, или правительствами, про которые нельзя рассуждать хладнокровно, осуждая совершение этих поступков только при известных условиях. И сечение взрослых людей одного из сословий русского народа в наше время и среди нашего кроткого и христиански просвещенного народа принадлежит к такого рода поступкам. Нельзя для прекращения такого преступления всех законов божеских и человеческих политично подъезжать к правительству со стороны гигиены, школьного образования или манифеста. Про такие дела можно или совсем не говорить, или говорить по существу дела и всегда с отвращением и ужасом. Ведь просить о том, чтобы не стегать по оголенным ягодицам только тех из людей крестьянского сословия, которые выучились грамоте, все равно что если бы, – где существовало наказание прелюбодейной жене, состоящее в том, чтобы, оголив эту женщину, водить ее по улицам, – просить о том, чтобы наказание это применять только к тем женщинам, которые не умеют вязать чулки или что-нибудь подобное.

Про такие дела нельзя «почтительнейше просить» и «повергать к стопам» и т. п., такие дела можно и должно только обличать. Обличать же такие дела должно потому, что дела эти, когда им придан вид законности, позорят всех нас, живущих в том государстве, в котором дела эти совершаются. Ведь если сечение крестьян – закон, то закон этот сделан и для меня, для обеспечения моего спокойствия и блага. А этого нельзя допустить. Не хочу и не могу я признавать того закона, который нарушает все законы божеские и человеческие, и не могу себя представить солидарным с теми, которые пишут и утверждают такие преступления под видом закона.

Если уже говорить про это безобразие, то можно говорить только одно: то, что закона такого не может быть, что никакие указы, зеркала, печати и высочайшие повеления не сделают закона из преступления, а что, напротив, облечение в законную форму такого преступления (как то, что взрослые люди одного, только одного, лучшего сословия могут по воле другого, худшего сословия – дворянского и чиновничьего – подвергаться неприличному, дикому, отвратительному наказанию) доказывает лучше всего, что там, где такое мнимое узаконение преступления возможно, не существует никаких законов, а только дикий произвол грубой власти.

Если уже говорить про телесное наказание, совершаемое только над одним крестьянским сословием, то надо не отстаивать прав земского собрания или жаловаться на губернатора, опротестовавшего ходатайство о несечении грамотных, министру, а на министра сенату, а на сенат еще кому-то, как это предлагает тамбовское земство, а надо не переставая кричать, вопить о том, что такое применение Дикого, переставшего уже употребляться для детей наказания к одному лучшему сословию русских людей есть позор для всех тех, кто прямо или косвенно участвуют в нем.

Петрович, который лег под розги, перекрестившись и сказав: «Христос терпел и нам велел», – простил своих мучителей и после розог остался тем, чем был. Одно, что произвело в нем совершенное над ним истязание, это – презрение к той власти, которая может предписывать такие наказания. Но на многих молодых людей не только самое наказание, но часто одно признание того, что оно возможно, действует, понижая их нравственное чувство и возбуждая иногда отчаянность, иногда зверство. Но не тут еще главный вред этого безобразия. Главный вред – в душевном состоянии тех людей, которые устанавливают, разрешают, предписывают это беззаконие, тех, которые пользуются им, как угрозой, и всех тех, которые живут в убеждении, что такое нарушение всякой справедливости и человечности необходимо для хорошей, правильной жизни. Какое страшное нравственное искалечение должно происходить в умах и сердцах таких людей, часто молодых, которые, я сам слышал, с видом глубокомысленной практической мудрости говорят, что мужика нельзя не сечь и что для мужика это лучше.

Вот этих-то людей больше всего жалко за то озверение, в которое они впали и в котором коснеют.

И потому освобождение русского народа от развращающего влияния узаконенного преступления – со всех сторон дело огромной важности. И освобождение это

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
произойдет не тогда, когда будут изъяты от телесного наказания кончившие курс, или еще какие-нибудь из крестьян, или даже все крестьяне, за исключением хотя бы одного, а только тогда, когда правящие классы признают свой грех и смиренно покаются в нем.

14 декабря 1895 г.

Голод или не голод?

Нынешней зимою я получил письмо от г-жи Соколовой* с описанием нужды крестьян в Воронежской губернии и передал это письмо с своей заметкой в «Русские Ведомости», и с тех пор некоторые лица стали обращаться ко мне свои пожертвования для помощи нуждающимся крестьянам. Небольшие пожертвования эти я направил отчасти моему хорошему знакомому в Землянский уезд – 200 руб., ежемесячные же пожертвования смоленских врачей и еще небольшие пожертвования я переслал в Чернский уезд Тульской губернии моему сыну и его жене*, поручив им распределение помощи в их местности. Но в апреле месяце я получил новые и довольно значительные пожертвования: г-жа Мевиус прислала 400 р., по мелочи собралось рублей 300, С. Т. Морозов дал 1000 р. – собралось около двух тысяч, и, считая себя не вправе отказаться от посредничества между жертвователями и нуждающимися, я решил поехать на место, для того чтобы наилучшим образом распределить эту помощь.

Как и в 1891-м году, я считал, что наилучшая форма помощи – это столовые, потому что только при устройстве столовых можно обеспечить хорошей ежедневной пищей стариков, старух, больных и детей бедных, в чем, я полагаю, состоит желание жертвователей. При выдаче провианта на руки цель эта не достигается, потому что всякий хороший хозяин, получив муку, всегда прежде всего замесит ее лошади, на которой ему нужно пахать (и поступив так, поступит совершенно правильно, потому что пахать ему нужно для прокормления своей семьи не только в нынешнем, но и в будущем году), слабые же члены семьи будут недоедать в нынешнем году, как и до выдачи, так что цель жертвователей не будет достигнута.

Кроме того, только в форме столовых для слабых членов семей есть какой-нибудь предел, на котором можно остановиться. При выдаче на руки помощь идет на хозяйство, а для того, чтобы удовлетворить требованиям разоренного крестьянского хозяйства, никак нельзя решить, что крайне и что не крайне нужно: крайне нужна и лошадь, и корова, и выкуп заложенной шубы, и подати, и семена, и постройка. Так что при выдаче помощи на руки приходится выдавать или по произволу, наобум, или всем поровну, без различия. Поэтому я решил распределять помощь как и в 1891-м и 1892-м годах, – в форме столовых.

Для определения же наиболее нуждающихся семей и числа лиц из каждой из них, которые должны быть допускаемы в столовые, я руководствовался, как и прежде, следующими соображениями: 1) количеством скота, 2) числом наделов, 3) числом членов семьи, находящихся в заработках, 4) количеством едоков и 5) исключительными несчастными случаями, постигшими семью: пожаром, болезнями членов семьи, смертью лошади и т. п.

Первая деревня, в которую я приехал, было знакомое мне Спасское, принадлежавшее Ивану Сергеевичу Тургеневу. Расспросив старосту и стариков о положении крестьян этой деревни, я убедился, что оно далеко не так дурно, как было дурно положение тех крестьян, среди которых мы устраивали столовые в 1891-м году.

У всех дворов были лошади, коровы, овцы, был картофель и не было разоренных домов; так что, судя по положению спасских крестьян, я подумал, что не преувеличены ли толки о нужде нынешнего года.

Но посещение следующей за Спасским – Малой Губаревки и других деревень, на которые мне указали, как на очень бедные, убедило меня в том, что Спасское находится в исключительно счастливых условиях и по хорошему разделу, и по случайно хорошему урожаю прошлого года.

Так, в первой деревне, в которую я приехал, – Малой Губаревке, на 10 дворов было 4 коровы и 2 лошади; два семейства побирались, и нищета всех жителей была страшная.

Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение деревень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, Гущина, Хмелинок, Шеломова, Лопашина,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Сидорова, Михайлова Брода, Бобрика, двух Каменок.

Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка – пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, – и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить.

Так что крайней нужды в окружающей нас местности– районе 7–8 верст – так много, что, устроив 14 столовых, мы каждый день получаем просьбы о помощи из новых деревень, находящихся в таком же положении.

Там же, где устроены столовые, они идут хорошо, обходятся около 1 р. 50 к. на человека в месяц и, как кажется, удовлетворяют поставленной нами себе цели: поддержать жизнь и здоровье слабых членов самых бедных семейств.

Вчера вечером я заехал в деревню Гущино, состоящую из 49 дворов, из которых 24 без лошадей. Было время ужина. На дворе, под двумя вычищенными навесами, сидели за пятью столами 80 человек столующихся: старики попеременно со старухами за большими столами на скамейках; дети за маленькими столиками на чурбачках с перекинутыми тесинами. Ужинавшие только что кончили первое блюдо (картофель с квасом), и подавалось второе – капустные щи. Бабы наливали корцами в деревянные чашки дымящиеся, хорошо заправленные щи; столовщик с ковригой хлеба и ножом обходил столы и, прижимая ковригу к груди, отрезал и подавал ломти прекрасного, свежего, пахучего хлеба тем, у кого был доеден. [13]

Хозяйка и женщина из столующихся служат взрослым, хозяйская дочь, девочка, служит детям.

Ужинавшие были большей частью исхудалые, истощенные, в изношенных одеждах, редкобородые, седые и лысые старики и сморщенные старушки. На всех лицах было выражение спокойствия и довольства. Все эти люди, очевидно, находились в том мирном и радостном настроении и даже некотором возбуждении, которое производит употребление достаточной пищи после долгого лишения ее. Слышались звуки еды, степенный разговор и изредка смех на детских столах. Были тут и два прохожих нищих, за которых столовщик извинялся, что допустил их к ужину.

Все происходило чинно, степенно, точно как будто этот порядок существовал веками.

Из Гущино я поехал в деревню Гневышево, из которой дня два тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта состоит, так же как и Губаревка, из 10 дворов. На десять дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны, и все умоляют помочь им. «Хоть бы мало-мальски ребята отдыхали», – говорят бабы. «А то просят папки (хлеба), а дать нечего, так и заснет не ужинаючи».

Я знаю, что тут есть доля преувеличения, но то, что говорит тут же мужик в кафтане с прорванным плечом, уже наверное не преувеличение, а действительность.

«Хоть бы двоих, троих с хлеба спихнуть, – говорит он. – А то вот свез в город последнюю свитку (шуба уж давно там), привез три пудика, на восемь человек – на долго ли! А там уж и не знаю, что везти...»

Я попросил разменять мне три рубля. Во всей деревне не нашлось и рубля денег.

Очевидно, необходимо устроить и тут столовую. Так же, вероятно, нужно и в двух деревнях, из которых приходили просить.

Кроме того, нам сообщают, что в южной части Черненого уезда, на границе Ефремовского, нужда очень велика, и до сих пор нет никакой помощи. Казалось бы очевидным, что надо продолжать и расширять дело, и это возможно, так как в последнее время получены еще довольно значительные пожертвования: 500 р. от кн. Кудашевой, 1000 р. от г-жи Мансуровой, 2000 р. от драматических деятелей.

Но оказывается, что не только расширить дело, но и продолжать его почти нельзя. Продолжать же нельзя по следующим причинам:

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Орловский губернатор не разрешает открывать столовые: 1) без соглашения с местным попечительством, 2) без обсуждения вопроса об открытии каждой столовой с г. земским начальником и 3) без того, чтобы заблаговременно не уведомлять губернатора о том, сколько нужно открывать столовых в известной местности.

Из Тульской же губернии уже приезжал становой с требованием не устраивать столовых без разрешения губернатора. Кроме того, запрещено всем не местным жителям участвовать и помогать в устройстве столовых без разрешения губернатора; без участия же таких помощников, специально занятых сложным и хлопотливым делом столовых, устройство их невозможно. Так что, несмотря на несомненную нужду народа, несмотря на средства, данные жертвователями для помощи этой нужде, дело наше не только не может расшириться, но находится в опасности быть совершенно прекращенным.

Вследствие этого полученные мною в последнее время деньги, а именно:

от	кн. Кудашевой	500	руб.
	г-жи Мансуровой	1000	
	драматических деятелей	2000	
всего	3500	р.	

и еще некоторые небольшие пожертвования остаются неизрасходованными и будут возвращены их жертвователям, если они не пожелают дать им другое назначение.

На 22 мая отчет полученных и израсходованных мною денег следующий:

Приход					
От смоленских врачей	323	р.	27	к.	
Г. Мевуис	400				
Кн. Т.	100				
А. З.	200				
Баумана	25				
М. К.	40				
С.	25				
Из «Р. В.»	112	р.	48	к.	
От С. В. и Д. С.	20				
неизвестной через Д.	16				
Касаткина	25				
Из «Р. В.»	200				
Баумана	20				
Неизвестной	200				
Гимназистов	118				
За медаль С. Н. Шиль	199				
От Ол. Ковалевской	4				
С. Т. М.	1000				
Е. Ф. Юнге	15				

3012	р.	75	к.		
Расход					
Мука	2061	р.	18	к.	2584 пуда
Пшено	140	р.			150 пудов
Горох	60	р.			75 п.
Картофель	171	р.	24	к.	131 четв.
Капуста	27	р.	50	к.	56 пуд. 35 ф.
Извоз	3	р.	10	к.	
Дрова	56	р.	75	к.	
Масло	27	р.	80	к.	5 пуд.
Соль	2	руб.	40	к.	10 пуд.

2549	р.	97	к.		

Таково мое личное дело; теперь постараюсь ответить на те общие вопросы, на которые навела меня моя деятельность, – вопросы, которые, судя по газетам, занимали и общество в последнее время.

Вопросы эти следующие:

Есть ли в нынешнем году голод или нет голода?

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Отчего происходит так часто повторяющаяся нужда народная?

И как сделать, чтобы нужда эта не повторялась и не требовала бы особенных мер для ее покрытия?

На первый вопрос ответу следующее:

есть статистические исследования, по которым видно, что русские люди вообще недоедают на 30% того, что нужно человеку для нормального питания; кроме этого, есть сведения о том, что молодые люди черноземной полосы последние 20 лет всё меньше и меньше удовлетворяют требованиям хорошего сложения для воинской повинности; всеобщая же перепись* показала, что прирост населения, 20 лет тому назад, бывши самым большим в земледельческой полосе, всё уменьшаясь и уменьшаясь, дошел в настоящее время до нуля в этих губерниях. Но и без изучения статистических данных, стоит только сравнить среднего исхудалого до костей, с нездоровым цветом лица крестьянина-земледельца средней полосы с тем же крестьянином, попавшим в дворники, кучера – на хорошие харчи, и сравнить движения этого дворника, кучера и ту работу, которую он может дать, с движениями и работой крестьянина, живущего дома, чтоб увидеть, насколько недостаточным питанием ослаблены силы этого крестьянина.

Когда, как это делалось прежде нерасчетливыми хозяевами и теперь еще делается, держат скотину для навоза, питая ее на холодном дворе кое-чем, только чтобы она не издохла, происходит то, что из всей этой скотины вытерпевает без ущерба своему организму только та, которая находится в полной силе; старые же, слабые, неокрепшие молодые животные или издыхают, или если и выживают, то в ущерб своему приплоду и здоровью, а молодые в ущерб росту и сложению.

Вот точно в таком положении находится русское крестьянство черноземного центра. Так что, если разуместь под словом «голод» такое недоедание, вследствие которого непосредственно за недоеданием людей постигают болезни и смерть, как это, судя по описаниям, было недавно в Индии, то такого голода не было ни в 1891-м году, нет и в нынешнем.

Если же под голодом разуместь недоедание, не такое, от которого тотчас умирают люди, а такое, при котором люди живут, но живут плохо, преждевременно умирая, уродуясь, не плодясь и вырождаясь, то такой голод уже около 20 лет существует для большинства черноземного центра и в нынешнем году особенно силен.

Таков мой ответ на первый вопрос. На второй вопрос: отчего это произошло? ответ мой состоит в том, что причина этого духовная, а не матерьяльная.

Военные люди знают, что такое значит дух войска; знают, что этот неосязаемый элемент есть первое главное условие успеха, что при отсутствии этого элемента делаются недействительными все другие. Пускай будут солдаты прекрасно одеты, накормлены, вооружены, пускай будет сильнейшая позиция – сражение будет проиграно, если не будет того неосязаемого элемента, который называется духом войска. То же самое в борьбе с природой. Как только в народе нет духа бодрости, уверенности, надежды на все большее и большее улучшение своего состояния, а есть, напротив, сознание тщеты своих усилий, уныние – народ не победит природы, а будет побежден ею. А именно таково в наше время положение всего нашего крестьянства и в особенности земледельческого центра. Он чувствует, что его положение как земледельца – плохо, почти безвыходно, и, приспособившись к этому безвыходному положению, уже не борется с ним, а живет и действует лишь настолько, насколько его к этому побуждает инстинкт самосохранения. Кроме того, самая бедственность положения, до которого он дошел, еще усиливает упадок его духа. Чем ниже в своем экономическом благосостоянии спускается население, как тяжесть на рычаге, тем труднее ему подняться, и крестьяне чувствуют это и как бы махнули на себя рукой: «Где уж нам, – говорят они, – не до жиру, быть бы живу!»

Признаков этого упадка духа очень много. Один, первый и главный – это полное равнодушие ко всем духовным интересам. Вопросы религиозного совершенно не существует в земледельческом центре; и совсем не потому, что крестьянин твердо держится православия (напротив, все отчеты и все сведения священников подтверждают то, что народ всё более и более становится равнодушным к церкви), а потому, что у него нет интереса к духовным вопросам.

Второй признак – это косность, нежелание изменять своих привычек и своего

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 положения. За все эти годы, в то время, как в других губерниях вошли в употребление плуги, железные бороны, травосеяние, посеы дорогих растений, садоводство, даже минеральное удобрение, – в центре все остается по-старому с сохой, трехпольем, изрезанными делянками в борону шириной и всеми рюриковскими приемами и обычаями. Даже переселений всего меньше из черноземного центра.

Третий признак – отвращение к сельской работе, – не лень, а вялая, невеселая, непроеводительная работа, работа, эмблемой которой может служить колодезь, из которого вытягивается ведро не журавцом, не колесом, как это делалось прежде, а просто веревкой, руками, и вытягивается в ведре, которое течет и из которого вытекает треть воды, пока его донесут до места. Такова почти вся работа черноземного мужика, кое-как, с огрехами пашущего 16 часов на чуть волочащей ноги лошади пашню, которую он на хорошей лошади, при хорошей пище, хорошим плугом мог бы вспахать в полдня. При этом естественно желание забыться, и потому вино и табак все более и более распространяются, так что в последнее время пьют и курят мальчишки-дети.

Четвертый признак упадка духа – это неповиновение сыновей родителям, меньших братьев старшим, неприсылка заработанных на стороне денег в семью и стремление молодых поколений избавиться от тяжелой безнадежной сельской жизни и пристроиться где-нибудь в городе.

Поразительным для нас признаком происшедшего за последние 7 лет упадка было то, что во многих деревнях взрослые и, казалось бы, достаточные крестьяне просят в столовые и идут в них, если их допускают. Этого не было в 1891-м году. Вот, например, случай, показывающий всю ту степень и бедности и недоверия к своим силам, до которой дошли крестьяне.

В деревне Шушмине, Чернского уезда, помещица продает крестьянам через банк землю. Она требует с них по 10 р. приплаты за десятину, и то разлагая на два срока по 5 рублей, отдавая притом им землю с посевом и по 2 четверти овса на яровой посев. И при этих поразительно выгодных условиях крестьяне медлят и ничего не предпринимают.

Так что ответ мой на второй вопрос состоит в том, что причины того положения, в котором находятся крестьяне: потеряли бодрость, уверенность в своих силах, надежду на улучшение своего положения – пали духом.

Ответ же на третий вопрос: как помочь бедственному положению крестьян – вытекает из этого второго ответа. Для того, чтобы помочь крестьянству, нужно одно: поднять его дух, устранить всё то, что его подавляет.

Подавляет же дух народа непризнание в нем теми, которые управляют им, его человеческого достоинства, признание крестьянина не человеком, как все, а грубым, неразумным существом, которое должно быть опекаемо и руководимо во всяком деле, и, вследствие этого, под видом заботы о нем, полное стеснение его свободы и унижение его личности.

Так, в самом важном, религиозном отношении каждый крестьянин не чувствует себя свободным членом своей церкви, свободно избравшим, или по крайней мере свободно признавшим исповедуемую им веру, а рабом этой церкви, обязанным беспрекословно исполнять те требования, которые ему предписаны его религиозными начальниками, присланными к нему и поставленными независимо от его желания или выбора. То, что это есть важная причина подавленного состояния народа, подтверждает то, что всегда, везде, как только крестьяне освобождались от деспотизма церковного, впадая, как это называется, в секту, так тотчас же поднимается дух этого народа, и тотчас же, без исключения, устанавливалось и экономическое благосостояние его.

Другое губительное для народа проявление этой заботы о нем есть исключительные законы для крестьянства, сводящиеся в действительности к отсутствию всяких законов и полному произволу приставленных к управлению крестьянами чиновников.

Для крестьян номинально существуют какие-то особенные законы и по владению землею, и по дележам, и по наследству, и по всем обязанностям его, а в действительности же есть какая-то невообразимая каша крестьянских положений, разъяснений, обычного права, кассационных решений и т. п., вследствие которых крестьяне совершенно справедливо чувствуют себя в полной зависимости от произвола своих бесчисленных начальников.

Начальниками же своими крестьянин признает, кроме сотского, старосты, старшины и писаря, и урядника и станового, и исправника, и страхового агента, и землемера, и посредника по размежеванию, и ветеринара, и его фельдшера, и доктора, и священника, и судью, и следователя, и всякого чиновника, и даже помещика, всякого господина, потому что по опыту знает, что всякий такой господин может сделать с ним всё, что хочет. Больше же всего подавляет дух народа, хотя это не видно, то постыдное, разумеется не для жертв его, а для участников и попустителей его, – истязание розгами, которое, как дамоклов меч, висит над каждым крестьянином.

Так что на три поставленные вначале вопроса: есть ли голод или нет голода? Отчего происходит нужда народа? И что нужно сделать, чтоб помочь этой нужде? – ответы мои следующие: голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и всё усиливается, и которое особенно чувствительно нынешний год при дурном прошлогоднем урожае, и которое будет еще хуже прошлогоднего. Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: «Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка».

На второй же вопрос ответ мой состоит в том, что причина бедственности положения народа не материальная, а духовная; что причина главная – упадок его духа, так что пока народ не поднимется духом, до тех пор не помогут ему никакие внешние меры, ни министерство земледелия и все его выдумки, ни выставки, ни сельскохозяйственные школы, ни изменение тарифов, ни освобождение от выкупных платежей (которое давно пора бы сделать, так как крестьяне давно переплатили то, что заняли, если считать по теперь употребительному проценту), ни снятие пошлин с железа и машин, ни столь любимые теперь и выставляемые несомненным лекарством от всех болезней – приходские школы, ничто не поможет народу, если его состояние духа останется то же. Я не говорю, чтоб все эти меры не были полезны, но они делаются полезными только тогда, когда народ поднимется духом и сознательно, и свободно захочет воспользоваться ими.

Ответ же мой на третий вопрос, – как сделать, чтоб нужда не повторялась, состоит в том, что для этого нужно, не говорю уже уважать, а перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним, как с животным, нужно дать ему свободу исповеданья, нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, а не произволу земских начальников; нужно дать ему свободу ученья, свободу чтенья, свободу передвижения и, главное, снять то позорное клеймо, которое лежит на прошлом и теперешнем царствовании, – разрешение дикого истязания, сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии крестьян.

Если б мне сказали: вот ты хочешь добра народу, – выбирай одно из двух: дать ли всему разоренному народу на двор по 3 лошади, по 2 коровы и по три навозные десятины, и по каменному дому, или только свободу вероисповедания, обучения, передвижения и уничтожение всех специальных законов для крестьян, то, не колеблясь, я выбрал бы второе, потому что убежден, что какими бы материальными благами ни оделить крестьян, если только они останутся с тем же духовенством, теми же приходскими школами, теми же казенными кабаками, той же армией чиновников, мнимо озабоченных их благосостоянием, то они через 20 лет опять проживут всё и останутся такими же бедными, какими были. Если же освободить крестьян от всех тех пут и унижений, которыми они связаны, то через 20 лет они приобретут все те богатства, которыми мы бы желали наградить их, и гораздо еще больше того.

Думаю же я, что это будет так, во-первых, потому, что я всегда находил и больше разума, и настоящего знания, нужного людям, среди крестьян, чем среди чиновников, и потому думаю, что крестьяне сами скорее и лучше обдумают, что для них нужнее; во-вторых, потому, что крестьяне, те самые, о благе которых идет забота, лучше знают, в чем оно состоит, чем чиновники, озабоченные преимущественно получением жалованья, и, в-третьих, потому, что опыт жизни постоянно и безошибочно показывает, что чем больше крестьяне подвергаются влиянию чиновников, как это происходит в центрах, тем более они беднеют, и, напротив, чем дальше крестьяне живут от чиновников, как, например, в Сибири, в Самарской, Оренбургской, Вятской, Вологодской, Олонецкой губерниях, – тем больше, без исключения, они благоденствуют.

Вот те мысли и чувства, которые вызывало во мне новое сближение с крестьянской

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
нуждой, и я счел своею обязанностью высказать их для того, чтобы люди искренние, действительно желающие отплатить народу за всё то, что мы получали и получаем от него, не тратили бы даром свои силы на деятельность второстепенную и часто ложную, а все силы свои употребили бы на то, без чего никакая помощь не будет действительной, – на уничтожение всего того, что подавляет дух народа, и на восстановление всего того, что может поднять его.

26-го мая 1898.

4-го июня 1898 г.

Прежде чем отсылать эту статью, я решил съездить еще в Ефремовский уезд, о бедственном состоянии некоторых местностей которого я слышал от лиц, внушающих полное доверие.

По пути к этой местности мне пришлось проехать во всю его длину весь Чернский уезд. Ржи в той местности, где я жил, т. е. в северной части Чернского и Мценского уездов, в нынешнем году чрезвычайно плохи, хуже прошлогодних, – но то, что я увидел по пути к Ефремовскому уезду, превзошло мои самые мрачные предположения.

Местности, которые я проехал – около 35-ти верст в длину – от Гремячево до границ Ефремовского и Богородицкого уездов и в ширину, как мне говорили, верст на 20 – ожидает и в будущем году ужасное бедствие. Рожь на пространстве этого четырехугольника – почти в 100 тысяч десятин – пропала совершенно. Едешь версту, две, десять, двадцать, и по обеим сторонам дороги на помещичьих землях вместо ржи сплошная лебеда, на крестьянских – нет даже и лебеды. Так что к будущему году положение крестьян этой местности (также, как мне говорили, пропала рожь и во многих других местах) будет несравненно хуже нынешнего.

Говорю о положении только крестьян, а не вообще землевладельцев, потому что только для крестьян, прямо, непосредственно кормящихся своим хлебом и именно ржаным полем, урожай ржи имеет решающее значение, вопрос жизни и смерти.

Как только у крестьянина не хватает своего хлеба на весь обиход или на большую часть его, и хлеб дорог, как нынешний год (около рубля) – так положение его угрожает сделаться отчаянным, подобно положению, скажем, чиновника, лишившегося места и жалования и продолжающего кормить свою семью в городе.

Чиновнику без жалования, для того чтобы существовать, нужно тратить или запасы, или продавать вещи, и каждый день жизни приближает его к полной гибели, точно так же крестьянина, принужденного покупать дорогой хлеб свыше обычного, обеспеченного определенным заработком количества, с той разницей, что, спускаясь ниже и ниже, чиновник, пока он жив, не лишается возможности получить место и восстановить свое положение, крестьянин же, лишаясь лошади, поля, семян, лишается окончательно возможности поправиться.

В таком угрожающем гибелью положении находится большинство крестьян здешней местности. Но в будущем году положение это будет не только угрожающим, но для большинства наступит самая гибель.

И потому помощь как правительственная, так и частная будет в будущем году настоятельно необходима. А между тем именно теперь, как в нашей Тульской губ., так и в Орловской, Рязанской и других губерниях, принимаются самые энергические меры для противодействия частной помощи во всех ее видах, и, как видно, меры общие, постоянные. Так, в тот Ефремовский уезд, куда я направлялся, совершенно не допускаются посторонние лица для помощи нуждающимся. Устроенная там пекарня лицом, приехавшим с пожертвованиями от Вольноэкономического общества, была закрыта, само лицо выслано и также высланы прежде приезжавшие лица. Считается, что нужды в этом уезде нет и что помощь не нужна в нем. Так что, хотя и по личным причинам, я не мог исполнить своего намерения и проехать в Ефремовский уезд, поездка моя туда была бы бесполезна или произвела бы ненужные осложнения.

В Чернском же уезде за это время моего отсутствия, по рассказам приехавшего оттуда моего сына, произошло следующее: полицейские власти, приехав в деревню, где были столовые, запретили крестьянам ходить в них обедать и ужинать; для верности же исполнения те столы, на которых обедали, разломали, – и спокойно

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
уехали, не заменив для голодных отнятый у них кусок хлеба ничем, кроме требования безропотного повиновения. Трудно себе представить, что происходит в головах и сердцах людей, подвергшихся этому запрещению, и всех тех людей, которые узнали про него. Еще труднее, для меня по крайней мере, представить себе, что происходит в головах и сердцах других – тех людей, которые считают нужным предписывать такие мероприятия и исполнять их, т. е. воистину не зная, что творят, – отнимать изо рта хлеб милостыни у голодных, больных, старых и детей... Я знаю те соображения, которые выставляются в защиту таких мероприятий: во-первых, надо доказать, что положение вверенного нашему управлению населения не так дурно, как это хотят выставить люди противной нам партии; во-вторых, всякое учреждение (а столовые и пекарни – это учреждения) должно быть подчинено контролю правительства, хотя в 1891 и 1892 гг. такого подчинения не было; в-третьих, прямое и близкое отношение людей, помогающих населению, может вызвать в нем нежелательные мысли и чувства. Но ведь все эти соображения, если бы они и были справедливы, – а они все ложны – так мелочны и ничтожны, что не могут иметь никакого значения в сравнении с тем, что делается столовыми или пекарнями, раздающими хлеб нуждающимся.

Всё дело ведь состоит в следующем: есть люди, – не будем говорить умирающие, но страдающие от нужды; есть другие, живущие в избытке и по доброму чувству отдающие этим людям свой излишек; есть третьи, желающие быть посредниками между первыми и вторыми и на это отдающие свой труд.

Неужели такие деятельности могут быть для кого-нибудь вредными и может входить в обязанность правительства противодействовать им?

Я понимаю, что солдат-сторож в Боровицких воротах, когда я хотел подать нищему, воспретил мне это и не обратил никакого внимания на мое указание на Евангелие, спросив меня, читал ли я воинский устав, но правительственное учреждение не может игнорировать Евангелие и требований самой первобытной нравственности, т. е. того, чтобы люди людям помогали. Правительство, напротив, только затем и существует, чтобы устранить всё то, что мешает этой помощи.

Так что правительство не имеет никакого основания для противодействия такой деятельности. Если же ложно направленные органы правительства и требовали бы подчинения такому воспрещению, частный человек обязан не подчиняться такому требованию.

Когда приезжавший к нам становой пристав сказал, что что же мне стоит обратиться к губернатору с просьбой о разрешении устройства столовых, я ответил ему, что не могу этого сделать, так как не знаю такого законоположения, которым запрещалось бы устройство столовых; если же и было таковое, то я не мог бы подчиниться ему, потому что, подчинившись такому законоположению, я завтра мог бы быть поставлен в необходимость подчиниться запрещению выдачи муки, подачи милостыни без разрешения правительства. Право же подавать милостыню установлено самую высшую властью, и никакая другая власть не может отменить его.

Можно закрыть столовые, пекарни, выслать из одного уезда в другой тех людей, которые приехали помогать населению, но нельзя воспрепятствовать этим высланным из одного уезда людям жить в каком-нибудь другом, у своих знакомых или в крестьянской избе и служить народу какими-либо другими способами, отдавая точно так же на служение ему свои средства и труды. Нельзя отгородить один класс народа от другого. Всякая же попытка такого отгораживания приносит те самые последствия, которые этим отгораживанием желательно было избежать.

Воспрепятствовать общению людей нельзя, можно только нарушить правильное течение этого общения и там, где бы оно было благотворно, дать ему вредное направление. Помочь предстоящему, как и всякому человеческому бедствию, может только духовный подъем народа (я разумею под народом не одно крестьянство, но весь народ, как рабочие, так и богатые классы); подъем же народа бывает только в одном направлении: в большем и большем братском единении людей и потому для помощи народу надо поощрять это единение, а не препятствовать ему. Только таким большим, чем прежде, братским единением людей не только покроется и нынешнее и ожидаемое бедствие будущего года, но и поднимется общее благосостояние всё упадающего и упадающего крестьянства и предотвратится повторение бедствий 91, 92 и нынешнего годов.

Царю и его помощникам

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Обращение Льва Николаевича Толстого

Опять убийства, опять уличные побоища, опять будут казни, опять страх, ложные обвинения, угрозы и озлобление с одной стороны, и опять ненависть, желание мщения и готовность жертвы с другой. Опять все русские люди разделились на два враждебные лагеря и совершают и готовятся совершить величайшие преступления.

Очень может быть, что теперь проявившееся волнение и будет подавлено. Но если теперь оно и будет подавлено, оно не может заглухнуть, а будет все более и более развиваться в скрытом виде и неизбежно рано или поздно проявится с увеличенной силой и произведет еще худшие страдания и преступления.

Зачем это? Зачем это, когда так легко избавиться от этого?

Обращаемся ко всем вам, людям, имеющим власть, от царя, членов государственного совета, министров, до родных – матери, жены, дядей, братьев и сестер, близких людей царя, могущих влиять на него убеждением. Обращаемся к вам не как к врагам, а как к братьям, неразрывно – хотите ли вы этого или нет – связанным с нами так, что всякие страдания, которые мы несем, отзываются и на вас, и еще гораздо тяжелее, если вы чувствуете, что могли устранить эти страдания и не сделали этого, – сделайте так, чтобы положение это прекратилось.

Вам или большинству из вас кажется, что все происходит оттого, что среди правильного течения жизни являются какие-то беспокойные, недовольные люди, мутящие народ и нарушающие это правильное течение, что виноваты во всем только эти люди, что надо усмирить, обуздать этих беспокойных, недовольных людей, и тогда опять все будет хорошо, и изменять ничего не надо.

Но ведь если бы все дело было в беспокойных и злых людях, то стоило бы только переловить, заключить их в тюрьмы, сослать или казнить, и все волнения окончились бы. Но вот уже более 30 лет ловят, заключают, казнят, ссылают этих людей тысячами, а количество их все увеличивается, и недовольство существующим строем жизни не только растет, но все расширяется и захватило теперь уже миллионы людей рабочего народа, огромное большинство всего народа. Ясно, что недовольство происходит не от беспокойных и злых людей, а от чего-то другого. И стоит только вам, правительственным людям, на минуту отвести внимание от той острой борьбы, которой вы сейчас заняты, – перестать наивно думать то, что выражено в недавнем циркуляре министра внутренних дел – что если полиция будет вовремя разгонять толпу и вовремя стрелять в нее, то все будет тихо и спокойно, – стоит вам только перестать верить этому, чтобы ясно увидеть ту причину, которая производит неудовольствие в народе и выражается волнениями, принимающими все более и более широкие и глубокие размеры.

Причины в том, что вследствие несчастного, случайного убийства царя, который освободил народ, совершенного небольшой группой людей, ошибочно воображавших, что они этим служат всему народу, правительство решило не только не идти вперед, отрешаясь все более и более от несвойственных условиям жизни деспотических форм правления, но напротив, вообразив себе, что спасение, именно в этих грубых отживших формах, в продолжение 20 лет не только не идет вперед, соответственно общему развитию и усложнению жизни, и даже не стоит на месте, а идет назад, этим обратным движением все более и более разделяясь с народом и его требованиями.

Так что виноваты не злые, беспокойные люди, а правительство, не желающее видеть ничего, кроме своего спокойствия в настоящую минуту. Дело не в том, чтобы вам сейчас защищаться от врагов, желающих вам зла, – никто не желает вам зла, – а в том, чтобы, увидав причину недовольства общества, устранить ее. Люди все не могут желать раздора и вражды, а всегда предпочитают жить в согласии и любви с своими братьями. Если же теперь они волнуются и как будто желают вам зла, то только потому, что вы представляетесь им той преградой, которая лишает не только их, но и миллионы их братьев лучших благ человека – свободы и просвещения.

Для того чтобы люди перестали волноваться и нападать на вас, так мало нужно, и это малое так нужно для вас самих, так очевидно даст вам успокоение, что было бы удивительно, если бы вы не сделали этого.

А сделать нужно сейчас только очень мало. Сейчас нужно только следующее:

Во-первых – уравнивать крестьян во всех их правах с другими гражданами и потому уничтожить –

- а) ни с чем не связанный, нелепый институт земских начальников;
- б) отменить те особые правила, которые устанавливаются для определения отношений рабочих к нанимателям;
- в) освободить крестьян от стеснения паспортов для перехода с места на место и также и от лежащих исключительно на них квартирной, подводной, сельской, полицейской повинности (сотские, десятские);
- г) освободить их от несправедливого обязательства платить по круговой поручке долги других людей, а также и от выкупных платежей, давно уже покрывших стоимость выкупаемых земель;
- и главное д) уничтожить бессмысленное, ни на что не нужное, оставленное только для самого трудолюбивого, нравственного и многочисленного сословия людей, позорное телесное наказание.

Уравнение крестьянства, составляющего огромное большинство народа, во всех правах с другими сословиями особенно важно потому, что не может быть прочно и твердо такое общественное устройство, при котором большинство это не пользуется одинаковыми с другими правами, а находится в положении раба, связанного особыми, исключительными законами. Только при равноправности трудящегося большинства со всеми другими гражданами и освобождения его от позорных исключений может быть твердое устройство общества.

Во-вторых – нужно перестать применять так называемые правила усиленной охраны*, уничтожающей все существующие законы и отдающей население во власть очень часто безнравственных, глупых и жестоких начальников. Неприменение усиленной охраны важно потому, что эта приостановка действия общих законов развивает доносы, шпионство, поощряет и вызывает грубое насилие, употребляемое часто против рабочих, входящих в столкновения с хозяевами и землевладельцами (нигде не употребляются такие жестокие истязания, как там, где действуют эти правила). Главное же потому, что только благодаря этой страшной мере все чаще и чаще стала употребляться вернее всего развращающая людей, противная христианскому духу русского народа и не признанная до этого в нашем законодательстве смертная казнь, составляющая величайшее, запрещенное богом и совестью человека преступление.

В-третьих – нужно уничтожить все преграды к образованию, воспитанию и преподаванию. Нужно:

- а) не делать различия в доступе к образованию между лицами различных положений и потому уничтожить все исключительные для народа запрещения чтений, преподаваний и книг, почему-то считаемых вредными для народа;
- б) разрешить доступ во все школы лиц всех национальностей и исповеданий, не исключая и евреев, почему-то лишенных этого права;
- в) не препятствовать учителям вести преподавание в школах на тех языках, на которых говорят дети, посещающие школу;

главное г) разрешить устройство и ведение всякого рода частных школ, как низших, так и высших, всем людям, желающим заниматься педагогической деятельностью.

Освобождение образования, воспитания и преподавания от тех стеснений, в которых они находятся теперь, важно потому, что только эти стеснения мешают рабочему народу избавиться от того самого невежества, которое служит теперь для правительства главным доводом для применения к народу этих самых стеснений. Освобождение от правительственного вмешательства в дело образования рабочего народа дало бы возможность народу усвоить несравненно более быстро и целесообразно все те знания, которые нужны ему, а не те, которые навязываются ему. Разрешение же открытия и ведения школ частными лицами уничтожило бы постоянно возникающие волнения среди учащейся молодежи, недовольной порядками заведений, в которых они находятся. Если бы не было препятствий к устройству свободных частных школ, как низших, так и высших, молодые люди, недовольные порядками правительственных учебных заведений, переходили бы в те частные учреждения, которые отвечали бы их требованиям.

Наконец, в-четвертых, и самое важное, нужно уничтожить все стеснения религиозной свободы. Нужно:

а) уничтожить все те законы, по которым всякое отступление от признанной правительством церкви карается как преступление;

б) разрешить открытие и устройство старообрядческих часовен, церквей, молитвенных домов баптистов, молокан, штундистов и др.;

в) разрешить религиозные собрания и религиозные проповеди всех исповеданий;

и г) не препятствовать людям различных исповеданий воспитывать своих детей в той вере, которую они считают истинной.

Сделать это необходимо потому, что, не говоря уже о той выработанной историей и наукой и признанной всем миром истине, что религиозные гонения не только не достигают своей цели, но производят обратное действие, усиливая то, что они хотят уничтожить, не говоря и о том, что только вмешательство власти в дела веры производит вреднейший и потому худший, так сильно обличаемый Христом порок лицемерия, не говоря уже об этом, вмешательство власти в дела веры препятствует достижению высшего блага как отдельного человека, так и всех людей – единения их между собою. Единение же достигается никак не насильственным и невозможным удержанием всех людей в раз усвоенном внешнем исповедании одного религиозного учения, которому приписывается непогрешимость, а только свободным движением всего человечества в приближении к единой истине, которая одна и поэтому одна и может соединить людей.

Таковы самые скромные и легко исполнимые желания, как мы думаем, огромного большинства русского общества. Применение этих мер несомненно успокоит общество и избавит его от тех страшных страданий и (то, что хуже страданий) преступлений, которые неизбежно совершатся с обеих сторон, если правительство будет заботиться только о подавлении волнений, оставляя нетронутыми их причины.

Обращаемся ко всем вам – царю, министрам, членам государственного совета и советчикам и близким к царю, – вообще ко всем лицам, имеющим власть, помогите успокоению общества и избавлению его от страданий и преступлений. Обращаемся к вам не как к людям другого лагеря, а как к невольным единомышленникам, сотоварищам нашим и братьям.

Не может быть того, чтобы в обществе людей, связанных между собою, было бы хорошо одним, а другим – худо. В особенности же не может этого быть, если худо большинству. Хорошо же всем может быть только тогда, когда хорошо самому сильному, трудящемуся большинству, на котором держится все общество.

Помогите же улучшить положение этого большинства и в самом главном: в его свободе и просвещении. Только тогда и ваше положение будет спокойно и истинно хорошо.

Мнение это не одно мое мнение, а мнение многих и лучших, разумных, бескорыстных и добрых людей, желающих того же.

15 марта 1901

Ответ на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма

He who begins by loving Christianity better than Truth will precede by loving his own Sect or Church better than Christianity, and end in loving himself better than all.*

Coleridge. [14]

Я не хотел сначала отвечать на постановление обо мне синода, но постановление это вызвало очень много писем, в которых неизвестные мне корреспонденты – одни бранят меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю, другие увещевают меня поверить в то, во что я не переставал верить, третьи выражают со мной единомыслие, которое едва ли в действительности существует, и сочувствие, на которое я едва ли имею право; и я решил ответить и на самое постановление,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 указав на то, что в нем несправедливо, и на обращения ко мне моих неизвестных корреспондентов.

Постановление синода вообще имеет много недостатков. Оно незаконно или умышленно двусмысленно; оно произвольно, неосновательно, неправдиво и, кроме того, содержит в себе клевету и подстрекательство к дурным чувствам и поступкам.

Оно незаконно или умышленно двусмысленно – потому, что если оно хочет быть отлучением от церкви, то оно не удовлетворяет тем церковным правилам, по которым может произноситься такое отлучение; если же это есть заявление о том, что тот, кто не верит в церковь и ее догматы, не принадлежит к ней, то это само собой разумеется, и такое заявление не может иметь никакой другой цели, как только ту, чтобы, не будучи в сущности отлучением, оно бы казалось таковым, что, собственно, и случилось, потому что оно так и было понято.

Оно произвольно, потому что обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не только многие, но почти все образованные люди в России разделяют такое неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах и книгах.

Оно неосновательно, потому что главным поводом своего появления выставляет большое распространение моего совращающего людей лжеучения, тогда как мне хорошо известно, что людей, разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространение моих писаний о религии, благодаря цензуре, так ничтожно, что большинство людей, прочитавших постановление синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною писано о религии, как это видно из получаемых мною писем.

Оно содержит в себе явную неправду, утверждая, что со стороны церкви были сделаны относительно меня не увенчавшиеся успехом попытки вразумления, тогда как ничего подобного никогда не было.

Оно представляет из себя то, что на юридическом языке называется клеветой, так как в нем заключаются заведомо несправедливые и клонящиеся к моему вреду утверждения.

Оно есть, наконец, подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещенных и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получаемых мною письмах. «Теперь ты предан анафеме и пойдешь по смерти в вечное мучение и издохнешь как собака... анафема ты, старый черт... проклят будь», – пишет один. Другой делает упреки правительству за то, что я не заключен еще в монастырь, и наполняет письмо ругательствами. Третий пишет: «Если правительство не уберет тебя, – мы сами заставим тебя замолчать»; письмо кончается проклятиями. «Чтобы уничтожить прохвоста тебя, – пишет четвертый, – у меня найдутся средства...» Следуют неприличные ругательства. Признаки такого же озлобления после постановления синода я замечаю и при встречах с некоторыми людьми. В самый же день 25 февраля, когда было опубликовано постановление, я, проходя по площади, слышал обращенные ко мне слова: «Вот дьявол в образе человека», и если бы толпа была иначе составлена, очень может быть, что меня бы избili, как избili, несколько лет тому назад, человека у Пантелеймоновской часовни.

Так что постановление синода вообще очень нехорошо; то, что в конце постановления сказано, что лица, подписавшие его, молятся, чтобы я стал таким же, как они, не делает его лучше.

Это так вообще, в частности же постановление это несправедливо в следующем. В постановлении сказано: «Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на господу и на Христа его и на святое его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной».

То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на господу, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 по некоторым признакам усомнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически – я перечитал все, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие*; практически же – строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. [15]

И я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании* своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым.

То же, что сказано, что я «посвятил свою литературную деятельность и данный мне от бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и церкви» и т. д., и что я «в своих сочинениях и письмах, во множестве рассеваемых мною так же, как и учениками моими, по всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества нашего, проповедую с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской» – то это несправедливо. Я никогда не заботился о распространении своего учения. Правда, я сам для себя выразил в сочинениях свое понимание учения Христа и не скрывал эти сочинения от людей, желавших с ними познакомиться, но никогда сам не печатал их; говорил же людям о том, как я понимаю учение Христа, только тогда, когда меня об этом спрашивали. Таким людям я говорил то, что думаю, и давал, если они у меня были, мои книги.

Потом сказано, что я «отвергаю бога, во святой троице славимого создателя и промыслителя вселенной, отрицаю господу Иисуса Христа, богочеловека, искупителя и спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицаю бессеменное зачатие по человечеству Христа господу и девство до рождества и по рождестве пречистой богородицы». То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же – духа, бога – любовь, единого бога – начало всего не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли бога, выраженной в христианском учении.

Еще сказано: «не признает загробной жизни и мздовоздаяния». Если разуместь жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами, и рай – постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни; но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, то есть рождения к новой жизни, и верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой поступок уменьшает его.

Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия. В крещении младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который могло иметь крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении таинства брака над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в допущении разводов и в освящении браков разведенных вижу прямое нарушение и смысла и буквы евангельского учения. В периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение перед согрешением.

В елеосвящении так же, как и в миропомазании, вижу приемы грубого колдовства, как и в почитании икон и мощей, как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях, которыми наполнен требник. В причащении вижу; обоготворение плоти и извращение христианского учения. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, – прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками (Мф. XXIII, 8-10).

Сказано, наконец, как последняя и высшая степень моей виновности, что я,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
«ругаясь над самыми священными предметами веры, не содрогнулся подвергнуть глумлению священнейшее из таинств – евхаристии». То, что я не содрогнулся описать просто и объективно то, что священник делает для приготовления этого, так называемого, таинства, то это совершенно справедливо; но то, что это, так называемое, таинство есть нечто священное и что описать его просто, как оно делается, есть кощунство, – это совершенно несправедливо. Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку – перегородкой, а не иконостасом, и чашку – чашкой, а не потиром и т. п., а ужаснейшее, не перестающее, возмутительное кощунство – в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, – уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит бог; и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет здоров; во имя же кого умершего вынется такой кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съест этот кусочек, в того войдет сам бог.

Ведь это ужасно!

Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям, если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков и т. п., так что от учения ничего не остается. И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах – учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостижимой дерзостью говорят в церквях, печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву (присягу), никогда не запрещал убийство (казни, войны), что учение о непротивлении злу с сатанинской хитростью выдуманно врагами Христа. [16]

Ужасно, главное, то, что люди, которым это выгодно, обманывают не только взрослых, но, имея на то власть, и детей, тех самых, про которых Христос говорил, что горе тому, кто их обманет. Ужасно то, что люди эти для своих маленьких выгод делают такое ужасное зло, скрывая от людей истину, открытую Христом и дающую им благо, которое не уравнивается и в тысячной доле получаемой ими от того выгодой. Они поступают, как тот разбойник, который убивает целую семью 5–6 человек, чтобы унести старую поддевку и 40 коп. денег. Ему охотно отдали бы всю одежду и все деньги, только бы он не убивал их. Но он не может поступить иначе. То же и с религиозными обманщиками. Можно бы согласиться в 10 раз лучше, в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не могут поступать иначе. Вот это-то и ужасно. И потому обличать их обманы не только можно, но должно. Если есть что священное, то никак уже не то, что они называют таинством, а именно эта обязанность обличать их религиозный обман, когда видишь его.

Если чувашин мажет своего идола сметаной или сечет его, я могу равнодушно пройти мимо, потому что то, что он делает, он делает во имя чуждого мне своего суеверия и не касается того, что для меня священо; но когда люди, как бы много их ни было, как бы старо ни было их суеверие и как бы могущественны они ни были, во имя того бога, которым я живу, и того учения Христа, которое дало жизнь мне и может дать ее всем людям, проповедуют грубое колдовство, я не могу этого видеть спокойно. И если я называю по имени то, что они делают, то я делаю только то, что должен, чего не могу не делать, если я верую в бога и христианское учение. Если же они вместо того, чтобы ужаснуться на свое кощунство, называют кощунством обличение их обмана, то это только доказывает силу их обмана и должно только увеличивать усилия людей, верующих в бога и в учение Христа, для того чтобы уничтожить этот обман, скрывающий от людей истинного бога.

Про Христа, выгнавшего из храма быков, овец и продавцов, должны были говорить, что он кощунствует. Если бы он пришел теперь и увидал то, что делается его именем в церкви, то еще с большим и более законным гневом наверно повыкидал бы все эти ужасные антимины*, и копыя, и кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и все то, посредством чего они, колдуя, скрывают от людей бога и его учение.

Так вот что справедливо и что несправедливо в постановлении обо мне синода. Я действительно не верю в то, во что они говорят, что верят. Но я верю во многое, во что они хотят уверить людей, что я не верю.

Верю я в следующее: верю в бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нем. Верю в то, что воля бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимаю богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека – в исполнении воли бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе любви; что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и большему благу, дает после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире царства божия, то есть такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою. Верю, что для преуспевания в любви есть только одно средство: молитва, – не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом (Мф. VI, 5-13), а молитва, образец которой дан нам Христом, – уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли бога.

Оскорбляют, огорчают или соблазняют кого-либо, мешают чему-нибудь и кому-нибудь или не нравятся эти мои верования, – я так же мало могу их изменить, как свое тело. Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе верить, как так, как верю, готовясь идти к тому богу, от которого исшел. Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой – более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, потому что богу ничего, кроме истины, не нужно. Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу, как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла.

«Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое спокойствие) больше всего на свете», – сказал Кольридж.

Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти.

4 апреля 1901.

Москва

[Воспоминания о суде над солдатом]

Милый друг Павел Иванович

Очень рад исполнить ваше желание и сообщить вам более подробно то, что было передумано и пережито мною в связи с тем случаем моей защиты солдата, о котором вы пишете в своей книге. Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потери или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей.

Расскажу, как всё это было, а потом уже постараюсь высказать те мысли и чувства, которые тогда вызвало во мне это событие и теперь воспоминание о нем.

Чем особенно я занимался и увлекался в это время, я не помню, вы это лучше меня знаете; знаю только, что жил я в это время спокойной, самодовольной и вполне эгоистической жизнью. Летом 1866 года нас посетил совершенно неожиданно Гриша Колокольцов, кадетом еще ходивший в дом Берсов и знакомый моей жены. Оказалось, что он служил в пехотном полку, расположенном в нашем соседстве.* Это был веселый, добродушный мальчик, особенно занятый в это время своей верховой, казачьей лошадкой, на которой он любил гарцевать, и часто приезжал к нам.

Благодаря ему мы познакомились и с его полковым командиром, полковником Юношей, и с разжалованным или отданным в солдаты по политическим делам (не помню) А. М. Стасюлевичем*, родным братом известного редактора, служившим в этом же полку.

Стасюлевич был уже немолодой человек. Он только недавно из солдат был произведен в прапорщики и поступил в полк к бывшему своему товарищу Юноше, теперь его главному начальнику. И тот и другой, Юноша и Стасюлевич, тоже изредка езжали к нам. Юноша был толстый, румяный, добродушный, холостой еще человек. Он был один из тех так часто встречающихся людей, в которых человеческого совсем не видно из-за тех условных положений, в которых они находятся и сохранение которых они ставят высшей целью своей жизни. Для полковника Юноши условное положение это было положение полкового командира. Про таких людей, судя по-человечески, нельзя сказать, добрый ли, разумный ли он человек, так как неизвестно еще, каким бы он был, если стал бы человеком и перестал бы быть полковником, профессором, министром, судьей, журналистом. Так это было и с полковником Юношей. Он был исполнительный полковой командир, приличный посетитель, но какой он был человек – нельзя было знать. Я думаю, не знал и он сам, да и не интересовался этим. Стасюлевич же был живой человек, хотя и изуродованный с разных сторон, более же всего теми несчастьями и унижениями, которые он, как честолюбивый и самолюбивый человек, тяжело переживал. Так мне казалось, но я недостаточно знал его, чтобы поглубже вникнуть в его душевное состояние. Одно знаю, что общение с ним было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения. Стасюлевича я потом потерял из виду, но недолго после этого, когда полк их стоял уже в другом месте, я узнал, что он без всяких, как говорили, личных причин лишил себя жизни, и сделал это самым странным образом. Он рано утром надел в рукава ваточную тяжелую шинель и в этой шинели вошел в реку и утонул, когда дошел до глубокого места, так как не умел плавать.

Не помню, кто из двух, Колокольцов или Стасюлевич, в один день летом приехав к нам, рассказал про случившееся у них для военных людей самое ужасное и необыкновенное событие: солдат ударил по лицу ротного командира, капитана, академика. Стасюлевич особенно горячо, с сочувствием к участи солдата, которого ожидала, по словам Стасюлевича, смертная казнь, рассказывал про это и предложил мне быть защитником на военном суде солдата.

Должен сказать, что приговоры одними людьми других к смерти и еще других к совершению этого поступка: смертная казнь, всегда не только возмущала меня, но представлялась мне чем-то невозможным, выдуманым, одним из тех поступков, в совершение которых отказываешься верить, несмотря на то, что знаешь, что поступки эти совершались и совершаются людьми. Смертная казнь, как была, так и осталась для меня одним из тех людских поступков, сведения о совершении которых в действительности не разрушают во мне сознания невозможности их совершения.

Я понимал и понимаю, что под влиянием минуты раздражения, злобы, мести, потери сознания своей человечности человек может убить, защищая близкого человека, даже себя, может под влиянием патриотического, стадного внушения, подвергая себя опасности смерти, участвовать в совокупном убийстве на войне. Но то, чтобы люди спокойно, в полном обладании своих человеческих свойств могли обдуманно признавать необходимость убийства такого же, как они, человека и могли бы заставлять совершать это противное человеческой природе дело других людей – этого я никогда не понимал. Не понимал и тогда, когда в 1866 году жил своей ограниченной, эгоистической жизнью, и потому я, как это ни было странно, с надеждой на успех взялся за это дело.

Помню, что, приехав в деревню Озерки, где содержался подсудимый (не помню хорошенько, было ли это в особом помещении, или в том самом, в котором и совершился поступок), и войдя в кирпичную низкую избу, я был встречен маленьким скуластым, скорее толстым, чем худым, это очень редко в солдате, человеком с самым простым, непеременившимся выражением лица. Не помню, с кем я был, кажется, что с Колокольцовым. Когда мы вошли, он встал по-солдатски. Я объяснил ему, что хочу быть его защитником, и просил рассказать, как было дело. Он от себя мало говорил и только на мои вопросы неохотно, по-солдатски отвечал: «так точно». Смысл его ответов был тот, что ему очень скучно было и что ротный был требователен к нему. «Уж очень он на меня налегал», сказал он.

Дело было так, как описано у вас, но то, что он тут же выпил, чтобы придать себе храбрости, едва ли справедливо.

Как я понял тогда причину его поступка, она была в том, что ротный командир его, человек всегда внешне спокойный, в продолжение нескольких месяцев своим тихим, ровным голосом, требующим беспрекословного повиновения и повторения тех работ, которые писарь считал правильно исполненными, довел его до высшей степени

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
раздражения. Сущность дела, как я понял его тогда, была в том, что, кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжелые отношения человека к человеку: отношения взаимной ненависти. Ротный командир, как это часто бывает, испытывал антипатию к подсудимому, усиленную еще догадкой о ненависти к себе этого человека за то, что офицер был поляк, ненавидел своего подчиненного и, пользуясь своим положением, находил удовольствие быть всегда недовольным всем, что бы ни делал писарь, и заставлял его переделывать по нескольку раз то, что писарь считал безукоризненно хорошо сделанным. Писарь же, с своей стороны, ненавидел ротного и за то, что он поляк, и за то, что он оскорблял его, не признавая за ним знания его писарского дела, и, главное, за его спокойствие и за неприступность его положения. И ненависть эта, не находя себе исхода, все больше и больше с каждым новым упреком разгоралась. И когда она дошла до высшей степени, она разразилась самым для него же самого неожиданным образом. У вас сказано, что взрыв был вызван тем, что ротный командир сказал, что накажет его розгами. Это неверно. Ротный просто вернул ему бумагу и наказал, исправив, опять переписать.

Суд скоро состоялся. Председателем был юноша, двумя членами были Колокольцов и Стасюлевич. Привели подсудимого. После не помню каких-то формальностей я прочел свою речь, которую мне не скажу странно, но просто стыдно читать теперь. Судьи с очевидно скрываемой только приличием скукой слушали все те пошлости, которые я говорил, ссылаясь на такие-то и такие-то статьи такого-то тома, и когда все было выслушано, ушли совещаться. На совещании, как я после узнал, один Стасюлевич стоял за применение той глупой статьи, которую я приводил, то есть за оправдание подсудимого вследствие признания его невменяемым. Колокольцов же, добрый, хороший мальчик, хотя и наверное желал сделать мне приятное, все-таки подчинился Юноше, и его голос решил вопрос. И был прочтен приговор смертной казни через расстреляние. Тотчас же после суда я написал, как это у вас и написано, письмо близкой мне и близкой ко двору фрейлине Александре Андреевне Толстой, прося ее ходатайствовать перед государем – государем тогда был Александр II – о помиловании Шибунина.* Я написал Толстой, но по рассеянности не написал имени полка, в котором происходило дело. Толстая обратилась к военному министру Милютину, но он сказал, что нельзя просить государя, не указав, какого полка был подсудимый. Она написала это мне, я поторопился ответить, но полковое начальство поторопилось, и когда не было уже препятствий для подачи прошения государю, казнь уже была совершена.

Все остальные подробности в вашей книге и христианское отношение народа к казненному совершенно верны.

Да, ужасно, возмутительно мне было перечитать теперь эту напечатанную у вас мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я ничего не нашел лучшего, как сослаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законами.

Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую, глупую защиту. Ведь если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себе, что, вследствие того, что они так сели, и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатным заголовком написаны известные слова, и что, вследствие всего этого, они могут нарушить вечный, общий закон, записанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, – то ведь одно, что можно и должно сказать таким людям, – это то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать. А никак не доказывать разными хитростями, основанными на тех лживых и глупых словах, называемых законами, что можно и не убивать этого человека. Ведь доказывать то, что жизнь каждого человека священна, что не может быть права одного человека лишить жизни другого, – это знают все люди, и этого доказывать нельзя, потому что не нужно, а можно и нужно и должно только одно: постараться освободить людей-судей от того одурения, которое могло привести их к такому дикому, нечеловеческому намерению. Ведь доказывать это – все равно, что доказывать человеку, что ему не надо делать то, что противно, несвойственно его природе: не надо зимою ходить голому, не надо питаться содержимым помойной ямы, не надо ходить на четвереньках. То, что это несвойственно, противно природе человеческой, давно уже показано людям в рассказе о женщине, подлежащей избиению камнями.*

Неужели с тех пор появились люди настолько праведные: полковник Юноша и Гриша

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 Колокольцев с своей лошадкой, что уже им не страшно бросить первый камень?

Я не понимал этого тогда. Не понимал я этого и тогда, когда через Толстую ходатайствовал у государя о помиловании Шибунина. Не могу не удивляться теперь на то заблуждение, в котором я был, – о том, что всё, что совершалось над Шибуниным, было вполне нормально и что также нормально было и участие, хотя и не прямое, в этом деле того человека, которого называли государем. И я просил этого человека помиловать другого человека, как будто такое помилование от смерти могло быть в чьей-нибудь власти. Если бы я был свободен от всеобщей одури, то одно, что я мог сделать по отношению Александра второго и Шибунина, это то, чтобы просить Александра не о том, чтобы он помиловал Шибунина, а о том, чтобы он помиловал себя, ушел бы из того ужасного, постыдного положения, в котором он находился, невольно участвуя во всех совершающихся преступлениях (по «закону») уже тем, что, будучи в состоянии прекратить их, он не прекращал их.

Тогда я еще ничего не понимал этого. Я только смутно чувствовал, что совершилось что-то такое, чего не должно быть, не может быть, и что это дело не случайное явление, а в глубокой связи со всеми другими заблуждениями и бедствиями человечества, и что оно-то и лежит в основе всех заблуждений и бедствий человечества.

Я смутно чувствовал еще тогда, что смертная казнь, сознательно рассчитанное, преднамеренное убийство, есть дело прямо противоположное тому закону христианскому, который мы будто бы исповедуем, и дело, явно нарушающее возможность и разумной жизни [и] какой бы то ни было нравственности, потому что ясно, что если один человек или собрание людей может решить, что необходимо убить одного или многих людей, то нет никакой причины, по какой другой человек или другие люди не найдут той же необходимости для убийства других людей. А какая же может быть разумная жизнь и нравственность среди людей, которые могут по своим решениям убивать друг друга. Я смутно чувствовал тогда уже, что оправдание убийства церковью и наукою, вместо достижения своей цели: оправдания, напротив того, показывает лживость церкви и лживость науки. В первый раз я смутно почувствовал это в Париже*, когда видел издали смертную казнь; яснее, гораздо яснее почувствовал это теперь, когда принимал участие в этом деле. Но мне всё еще было страшно верить себе и разойтись с суждениями всего мира. Только гораздо позднее я был приведен к необходимости веры себе и к отрицанию тех двух страшных обманов, держащих людей нашего времени в своей власти и производящих все те бедствия, от которых страдает человечество: обман церковный и обман научный.

Только гораздо позднее, когда уже я стал внимательно исследовать те доводы, которыми церковь и наука стараются поддерживать и оправдывать существование государства, я увидел те явные и грубые обманы, которыми и церковь и наука скрывают от людей злодеяния, совершаемые государством. Я увидел те рассуждения в катехизисах и научных книгах, распространяемых миллионами, которыми объясняется необходимость и законность убийства одних людей по воле других.

Так, в катехизисе, по случаю шестой заповеди – не убий – люди с первых же строк научаются убивать.

«В. Что запрещается в шестой заповеди?

О. Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

В. Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?

О. Не есть незаконное убийство, когда отнимают жизнь по должности, как-то: 1) когда преступника наказывают по правосудию, 2) когда убивают неприятеля на войне за государя и отечество».

И дальше:

«В. Какие случаи относятся могут к законопреступному убийству?

О. Когда кто укрывает или освобождает убийцу».

В «научных» же сочинениях двух сортов: в сочинениях, называемых юриспруденцией с своим уголовным правом, и в сочинениях, называемых чисто научными, доказывается

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 то же самое еще с большей ограниченностью и смелостью. Об уголовном праве нечего и говорить: оно всё есть ряд самых очевидных софизмов, имеющих целью оправдать всякое насилие человека над человеком и самое убийство. В научных же сочинениях, начиная с Дарвина, ставящего закон борьбы за существование в основу прогресса жизни, это самое подразумевается. Некоторые же enfants terribles этого учения, как знаменитый профессор Иенского университета Эрнст Геккель в своем знаменитом сочинении*: «Естественная история миротворения», Евангелии для неверующих, прямо высказывает это:

«Искусственный подбор оказывал весьма благоприятное влияние на культурную жизнь человечества. Как велико в сложном ходе цивилизации, например, влияние хорошего школьного образования и воспитания. Как искусственный подбор, и смертная казнь оказывает такое же благодетельное влияние, хотя в настоящее время многими горячо защищается, как «либеральная мера», отмена смертной казни, и во имя ложной гуманности приводится ряд вздорных аргументов. Однако на самом деле смертная казнь для громадного большинства неисправимых преступников и негодяев является не только справедливым возмездием для них, но и великим благодеянием для лучшей части человечества, подобно тому, как для успешного разведения хорошо культивируемого сада требуется истребить вредные сорные травы. И точно так же, как тщательное удаление зарослей принесет полевым растениям больше света, воздуха и места, неослабное истребление всех закоренелых преступников не только облегчит лучшей части человечества «борьбу за существование», но и произведет выгодный для него искусственный подбор, так как таким образом будет отнята у этих выродившихся отбросов человечества возможность наследственно передать человечеству их дурные качества».

И люди читают это, учат, называя это наукой, и никому в голову не приходит сделать естественно представляющийся вопрос о том, что если убивать дурных полезно, то кто решит: кто вредный. Я, например, считаю, что хуже и вреднее г-на Геккеля я не знаю никого. Неужели мне и людям одних со мною убеждений приговорить г-на Геккеля к повешению? Напротив, чем грубее заблуждения г-на Геккеля, тем больше я желаю ему образумиться и ни в каком случае не хотел бы лишить [его] этой возможности.

Вот эти-то лжи церкви и науки и довели нас теперь до того положения, в котором мы находимся. Уже не месяца, а годы проходят, во время которых нет ни одного дня без казней и убийств, и одни люди радуются, когда убийств правительственных больше, чем убийств революционных, другие же люди радуются, когда больше убито генералов, помещиков, купцов, полицейских. С одной стороны раздаются награды за убийство по 10 и по 25 рублей, с другой стороны революционеры чествуют убийц, экспроприаторов и восхваляют их, как великих подвижников. Вольным палачам платят по 50 рублей за казнь. Я знаю случай, когда к председателю суда, в котором к казни было приговорено 5 человек, пришел человек с просьбой передать ему дело исполнения казни, так как он возьмется сделать это дешевле: по 15 рублей с человека. Не знаю, согласилось ли, или не согласилось начальство на предложение.

Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит и тело и душу...

Всё это я понял гораздо позже, но смутно чувствовал уже тогда, когда так глупо и постыдно защищал этого несчастного солдата. От этого-то я и сказал, что случай этот имел на меня очень сильное и важное для моей жизни влияние.

Да, случай этот имел на меня огромное, самое благодетельное влияние. На этом случае я первый раз почувствовал, первое – то, что каждое насилие для своего исполнения предполагает убийство или угрозу его и что поэтому всякое насилие неизбежно связано с убийством. Второе – то, что государственное устройство, немыслимое без убийств, несовместимо с христианством. И третье, что то, что у нас называется наукой, есть только такое же лживое оправдание существующего зла, каким было прежде церковное учение.

Теперь это для меня ясно, тогда же это было только смутное сознание той неправды, среди которой шла моя жизнь.

Незаконченное, наброски
[Николай Палкин]

Мы ночевали у 95-летнего солдата. Он служил при Александре I и Николае.

– Что, умереть хочешь?

– Умереть? Еще как хочу. Прежде боялся, а теперь об одном бога прошу: только бы покаяться, причаститься привел бог. А то грехов много.

– Какие же грехи?

– Как какие? Ведь я когда служил? При Николае; тогда разве такая, как нынче, служба была! Тогда что было? У! Вспоминать, так ужас берет. Я еще Александра застал. Александра того хвалили солдаты, говорили – милостив был.

Я вспомнил последние времена царствования Александра, когда из 100 – 20 человек забивали насмерть. Хорош же был Николай, когда в сравнении с ним Александр казался милостивым.

– А мне довелось при Николае служить, – сказал старик. – И тотчас же оживился и стал рассказывать.

– Тогда что было, – заговорил он. – Тогда на 50 палок и порток не снимали; а 150, 200, 300... насмерть запарывали.

Говорил он и с отвращением, и с ужасом, и не без гордости о прежнем молодечестве.

– А уж палками – недели не проходило, чтобы забывали насмерть человека или двух из полка. Нынче уж и не знают, что такое палки, а тогда это словечко со рта не сходило, Палки, палки!.. У нас и солдаты Николая Палкиным прозвали. Николай Павлыч, а они говорят Николай Палкин. Так и пошло ему прозвище.

– Так вот, как вспомнишь про то время, – продолжал старик, – да век-то отжил – помирать надо, как вспомнишь, так и жутко станет. Много греха на душу принято. Дело подначальное было. Тебе всыпят 150 палок за солдата (отставной солдат был унтер-офицер и фельдфебель, теперь кандидат), а ты ему 200. У тебя не заживет от того, а ты его мучаешь – вот и грех.

– Унтер-офицера до смерти убивали солдат молодых. Прикладом или кулаком свиснет в какое место нужное: в грудь, или в голову, он и помрет. И никогда взыску небыло. Помрет от убоя, а начальство пишет: «Властию божиею помре». И крышка. А тогда разве понимал это? Только об себе думаешь. А теперь вот ворочаешься на печке, ночь не спится, все тебе думается, все представляется. Хорошо, как успеешь причаститься по закону христианскому, да простится тебе, а то ужас берет. Как вспомнишь все, что сам терпел да от тебя терпели, таки аду не надо, хуже аду всякого...

Я живо представил себе то, что должно вспоминаться в его старческом одиночестве этому умирающему человеку, и мне вчуже стало жутко. Я вспомнил про те ужасы, кроме палок, в которых он должен был принимать участие. Про загоняние насмерть сквозь строй, про расстреливанье, про убийства и грабежи городов и деревень на войне (он участвовал в польской войне), и я стал спрашивать его про это. Я спросил его про гоняние сквозь строй.

Он рассказал подробно про это ужасное дело. Как ведут человека, привязанного к ружьям и между поставленными улицей солдатами с шпирутенами палками, как все бьют, а позади солдат ходят офицеры и покрикивают: «Бей больней!»

– «Бей больней!» – прокричал старик начальническим голосом, очевидно не без удовольствия вспоминая и передавая этот молодецки-начальнический тон.

Он рассказал все подробности без всякого раскаяния, как бы он рассказывал о том, как бьют быков и свежуют говядину. Он рассказал о том, как водят несчастного взад и вперед между рядами, как тянется и падает забиваемый человек на штыки, как сначала видны кровяные рубцы, как они перекрещиваются, как понемногу рубцы сливаются, выступает и брызжет кровь, как клочьями летит окровавленное мясо, как оголяются кости, как сначала еще кричит несчастный и как потом только охает глухо с каждым шагом и с каждым ударом, как потом затихает и как доктор, для этого приставленный, подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли еще бить человека или надо погодить и отложить до другого раза, когда заживет, чтобы можно было начать мученье сначала и добавить то количество ударов, которое какие-то звери, с Палкиным во главе, решили, что надо дать ему. Доктор

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 употребляет свое знание на то, чтобы человек не умер прежде, чем не вынесет все те мучения, которые может вынести его тело.

Рассказывал солдат после, как после того, как он не может больше ходить, несчастного кладут на шинель ничком и с кровавой подушкой во всю спину несут в госпиталь вылечивать с тем, чтобы, когда он вылечится, добавить ему ту тысячу или две палок, которые он недополучил и не вынес сразу.

Рассказывал, как они просят смерти и им не дают ее сразу, а вылечивают и бьют другой, иногда третий раз. И он живет и лечится в госпитале, ожидая новых мучений, которые доведут его до смерти.

И его ведут второй или третий раз и тогда уже добивают насмерть. И все это за то, что человек или бежит от палок, или имел мужество и самоотвержение жаловаться за своих товарищей на то, что их дурно кормят, а начальство крадет их паек.

Он рассказывал все это, и когда я старался вызвать его раскаяние при этом воспоминании, он сначала удивился, а потом как будто испугался.

– Нет, – говорит, – это что ж, это по суду. В этом разве я причинен? Это по суду, по закону.

То же спокойствие и отсутствие раскаяния было у него и по отношению к военным ужасам, в которых он участвовал и которых он много видел и в Турции и в Польше. Он рассказал об убитых детях, о смерти голодом и холодом пленных, об убийстве штыком молодого мальчика-поляка, прижавшегося к дереву.

И когда я спросил его, не мучают ли совесть его и эти поступки, он уже совсем не понял меня. Это на войне, по закону, за царя и отечество. Это дела, по его понятию, не только не дурные, но такие, которые он считает доблестными, добродетельными, искупающими его грехи. То, что он разорял, губил не повинных ничем детей и женщин, убивал пулей и штыком людей, то, что сам засекал, стоя в строю, насмерть людей и таскал их в госпиталь и опять назад на мученье, это все не мучает его, это все как будто не его дела. Это все делал как будто не он, а кто-то другой.

Есть у него кое-какие свои грешки личные, когда он без того, что он называет законом, бил и мучал людей, и эти мучают его, и для искупления от них он уж много раз причащался и еще надеется причаститься перед самой смертью, рассчитывая на то, что это загладит мучающие его совесть грехи. Но он все-таки мучается, и картины ужасов прошедшего не покидают его.

Что бы было с этим стариком, если бы он понял то, что так должно бы быть ясно ему, стоящему на пороге смерти, что между всеми делами его жизни, теми, которые он называет: по закону, и всеми другими нет никакого различия, что все дела его те, которые он мог сделать и не сделать (а бить и не бить, убивать и не убивать людей всегда было в его власти), что все дела его – его дело, что как теперь, накануне его смерти, нет и не может быть никакого посредника между ним и богом, так и не было и не могло быть и в ту минуту, когда его заставляли мучать и убивать людей. Что б с ним было, если бы он понял теперь, что не должен был бить и убивать людей и что закона о том, чтобы бить и убивать братьев, никогда не было и не могло быть. Если бы он понял, что есть только один вечный закон, который он всегда знал и не мог не знать – закон, требующий любви и жалости к людям, а что то, что он называет теперь законом, был дерзкий, безбожный обман, которому он не должен был поддаваться. Страшно подумать о том, что представлялось бы ему в его бессонные ночи на печке и каково было бы его отчаянье, если бы он понял это. Мучения его были бы ужасны.

Так зачем же и мучать его? Зачем мучать совесть умирающего старика? Лучше успокоить ее. Зачем раздражать народ, вспоминать то, что уже прошло?

Прошло? Что прошло? Разве может пройти то, чего мы не только не начинали искоренять и лечить, но то, что боимся назвать и по имени. Разве может пройти жестокая болезнь только от того, что мы говорим, что прошло. Оно и не проходит, и не пройдет никогда, и не может пройти, пока мы не признаем себя больными. Для того чтобы излечить болезнь, надо прежде признать ее. А этого-то мы и не делаем. Не только не делаем, но все усилия наши употребляем на то, чтобы не видеть, не

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
называть ее. Болезнь и не проходит, а только видоизменяется, въедается глубже в
плоть, в кровь, в кости, в мозг костей.

Болезнь в том, что люди, рожденные добрыми, кроткими, люди, с вложенной в их сердце любовью, жалостью к людям, совершают – люди над людьми – ужасающие жестокости, сами не зная, зачем и для чего. Наши русские люди, кроткие, добрые, все проникнутые духом учения Христа, люди, кающиеся в душе о том, что словом оскорбляли людей, что не поделились последним с нищим и не пожалели заключенных, эти люди проводят лучшую пору жизни в убийстве и мучительстве своих братии и не только не каются в этих делах, но считают эти дела или доблестью, или, по крайней мере, необходимостью, такую же неизбежную, как пища или дыхание. Разве это не ужасная болезнь? И разве не лежит на обязанности каждого делать все, что он может, для исцеления ее, и первое, главное, указать на нее, признать ее, назвать ее ее именем.

Солдат старый провел всю свою жизнь в мучительстве и убийстве других людей. Мы говорим: зачем поминать? Солдат не считает себя виноватым, и те страшные дела: палки, сквозь строй и другие – прошли уже; зачем поминать старое? Теперь уж этого нет больше. Был Николай Палкин. Зачем это вспоминать? Только старый солдат перед смертью помянул. Зачем раздражать народ? Так же говорили при Николае про Александра. То же говорили при Александре про павловские дела. Так же говорили при Павле про Екатерину. Так же при Екатерине про Петра и т. д. Зачем поминать? Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь или опасная и я излечился или избавился от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею и все так же болею, еще хуже, и мне хочется обмануть себя. И мы не поминаем только оттого, что мы знаем, что мы больны все так же, и нам хочется обмануть себя.

Зачем огорчать старика и раздражать народ? Палки и сквозь строй – все это уж прошло.

Прошло? Изменило форму, но не прошло. Во всякое прошедшее время было то, что люди последующего времени вспоминают не только с ужасом, но с недоумением: правежи, сжигания за ереси, пытки, военные поселения, палки и гоняния сквозь строй. Мы вспоминаем все это и не только ужасаемся перед жестокостью людей, но не можем себе представить душевного состояния тех людей, которые это делали. Что было в душе того человека, который вставал с постели, умывшись, одевшись в боярскую одежду, помолившись богу, шел в застенки выворачивать суставы и бить кнутом стариков, женщин и проводил за этим занятием, как теперешние чиновники в сенате, свои обычные пять часов и ворочался в семью и спокойно садился за обед, а потом читал Священное писание? Что было в душе тех полковых и ротных командиров: я знал одного такого, который накануне с красавицей дочерью танцевал мазурку на бале и уезжал раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием насмерть сквозь строй бежавшего солдата-татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью. Ведь все это было и при Петре, и при Екатерине, и при Александре, и при Николае. Не было времени, в которое бы не было тех страшных дел, которые мы, читая их, не можем понять. Не можем понять того, как могли люди не видеть тех ужасов, которые они делали, не видеть, если уже не зверства бесчеловечности тех ужасов, то бессмысленность их. Во все времена это было. Неужели наше время такое особенное, счастливое, что в наше время нет таких ужасов, нет таких поступков, которые будут казаться столь же непонятными нашим потомкам? Нам ясна теперь не только жестокость, но бессмысленность сжигания еретиков и пыток судебных для узнания истины. Ребенок видит бессмысленность этого; но люди того времени не видели этого. Умные, ученые люди утверждали, что пытки – необходимое условие жизни людей, что это тяжело, но без этого нельзя. Тоже с палками, с рабством. И пришло время, и нам трудно представить себе то состояние умов, при котором возможно было такое грубое заблуждение.

Где наши пытки, наше рабство, наши палки? Нам кажется, что их нет, что это было прежде, но теперь прошло. Нам кажется это оттого, что мы не хотим понять старого и старательно закрываем на него глаза.

Если мы прямо поглядим на прошедшее, нам откроется и наше настоящее. Если мы только перестанем слепить себе глаза выдуманной государственными пользами и благами и посмотрим на то, что одно важно: добро и зло жизни людей, нам все станет ясно. Если мы назовем настоящими именами костры, пытки, плахи, клейма, рекрутские наборы, то мы найдем и настоящее имя для тюрем, острогов, войск с

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
общую воинскую повинностью, прокуроров, жандармов.

Если мы не будем говорить: зачем помянуть? и не будем заслонять дел людских прошедшего воображаемыми пользами для различных фикций, мы поймем то, что делалось прежде, поймем и то, что делается теперь.

Если нам ясно, что нелепо и жестоко рубить головы на плахе и узнавать истину от людей посредством выворачивания их костей, то так же ясно станет и то, что так же, если не еще более, нелепо и жестоко вешать людей или сажать в одиночное заключение, равное или худшее смерти, и узнавать истину через наемных адвокатов и прокуроров. Если нам ясно станет, что нелепо и жестоко убивать заблудшего человека, то так же ясно станет и то, что еще нелепее сажать такого человека в острог, чтоб совсем развратить его; если ясно станет, что нелепо и жестоко ловить мужиков в солдаты и клеймить, как скотину, то так же нелепо и жестоко забирать всякого 21-летнего человека в солдаты. Если ясно станет, как нелепа и жестока причина, то еще яснее будет нелепость и жестокость гвардий и охраны.

Если мы только перестанем закрывать глаза на прошедшее и говорить: зачем помянуть старое, нам ясно станет, в чем наши точно такие же ужасы, только в новых формах. Мы говорим: все это прошло. Прошло, теперь уж нет пыток, блудниц Екатерин с их самовластными любовниками, нет рабства, нет забиванья насмерть палками и др. Но ведь только так кажется.

Триста тысяч человек в острогах и арестантских ротах сидят, запертые в тесные, вонючие помещения, и умирают медленной телесной и нравственной смертью. Жены и дети их брошены без пропитания, а этих людей держат в вертепе разврата – острогах и арестантских ротах, и только смотрители, полновластные хозяева этих рабов, суть те люди, которым на что-нибудь нужно это жестокое бессмысленное заключение. Десятки тысяч людей с вредными идеями в ссылах разносят эти идеи в дальние углы России и сходят с ума и вешаются. Тысячи сидят по крепостям или убиваются тайно начальниками тюрем, или сводятся с ума одиночными заключениями. Миллионы народа гибнут физически и нравственно в рабстве у фабрикантов. Сотни тысяч людей каждую осень отбираются от семей, от молодых жен, приучаются к убийству и систематически развращаются. Царь русский не может выехать никуда без того, чтобы вокруг него не была цепь явная сотен тысяч солдат, на 50 шагов друг от друга расставленная по дороге, и тайная цепь, следящая за ним повсюду. Король собирает подати и строит башни, и на башне делает пруд, и в пруду, выкрашенном синей краской, и с машинами, представляющими бурю, катается на лодке. А народ мрет на фабриках: и в Ирландии, и во Франции, и в Бельгии.

Не нужно иметь особой проницательности, чтобы видеть, что в наше время все то же и что наше время полно теми же ужасами, теми же пытками, которые для следующих поколений будут так же удивительны по своей жестокости и нелепости.

Болезнь все та же, и болезнь не столько тех, которые пользуются этими ужасами, сколько тех, которые приводят их в исполнение. Пускай бы Петры, Екатерины, Палкины, Баварские короли пользовались в 100, в 1000 раз более. Пускай [бы] устраивали башни, театры, балы, обирали бы народ. Пускай Палкин засекал бы народ, пускай теперешние злодеи вешали бы сотнями тайком в крепостях, только бы они делали это сами, только бы они не развращали народ, не обманывали его, заставляя его участвовать в этом, как старого солдата.

Ужасная болезнь эта, болезнь обмана о том, что для человека может быть какой-нибудь закон выше закона любви и жалости к ближним и что потому он никогда не может ни по чьему требованию делать очевидное несомненное зло своим братьям, убивая, засекая, вешая их, сажая в тюрьмы, забирая их в солдаты, отбирая от них подати.

1880 лет [тому назад] на вопрос фарисеев о том, позволительно давать подать кесарю или нет, сказано: отдавайте кесарево кесарю, а божье богу.

Если бы была у людей в наше время хоть слабая вера в учение Христа, то они считали бы должным богу хоть то, чему не только словами учил бог человека, сказав: «не убий»; сказав: «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали»; сказав: «люби ближнего, как самого себя», – но то, что бог неизгладимыми чертами написал в сердце каждого человека: любовь к ближнему, жалость к нему, ужас перед убийством и мучительством братьев.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Если бы люди верили богу, то они не могли бы не признавать этой первой обязанности к нему, исполнять то, что он написал в их сердце, то есть жалеть, любить, не убивать, не мучать своих братьев. И тогда слова: кесарево кесарю, а божье богу имели бы для них значение.

Царю или кому еще все, что хочешь, но только не божие. Нужны кесарю мои деньги – бери; мой дом, мои труды – бери. Мою жену, моих детей, мою жизнь – бери; все это не божие. Но нужно кесарю, чтоб я поднял и опустил прут на спину ближнего; нужно ему, чтобы я держал человека, пока его будут бить, чтобы я связал человека или с угрозой убийства, с оружием в руке стоял над человеком, когда ему делают зло, чтобы я запер дверь тюрьмы за человеком, чтобы я отнял у человека его корову, хлеб, чтобы я написал бумагу, по которой запрут человека или отнимут у него то, что ему дорого, – всего этого я не могу, потому что тут требуются поступки мои, а они-то и есть божие. Мои поступки – это то, из чего слагается моя жизнь, жизнь, которую я получил от бога, я отдам ему одному. И потому верующий не может отдать кесарю то, что божие. Идти через строй, идти в тюрьму, на смерть, отдавать подати кесарю, – все это я могу, но бить в строю, сажать в тюрьму, водить на смерть, собирать подати – всего этого я не могу для кесаря, потому что тут кесарь требует от меня божие.

Но мы дошли до того, что слова: «богу божие» – для нас означают то, что богу отдавать копеечные свечи, молебны, слова – вообще все, что никому, тем более богу, не нужно, а все остальное, всю свою жизнь, всю святую свою душу, принадлежащую богу, отдавать кесарю!

Памяти И. И. Раевского

Вчера, 26 ноября 1891 года, в 3 часа дня умер в своем доме, в деревне Бегичевке, Данковского уезда, Рязанской губернии, Иван Иванович Раевский.

Он умер на работе среди голодающих, – можно сказать, от сверхсильного труда, который он брал на себя. Он умер, отдав жизнь свою народу, который он горячо любил и которому служил всю свою жизнь.

Но это утверждение могло бы показаться преувеличением, фразой. А тот, о ком я пишу, больше всего в мире ненавидел всякое преувеличение и всякую фразу. Он всю жизнь свою делал, а не говорил. Он был христианином, бессознательным христианином. Он никогда не говорил про христианство, про добродетель, про самопожертвование. У него была в высшей степени черта этой встречающейся в лучших людях pudeur[17] добра. Он как бы боялся испортить свое дело сознанием его.

Да ему и некогда было замечать, потому что не переставая делал христианские дела. Не оканчивалось еще одно, как начиналось другое дело не для себя, а для других: для семьи, для друзей, для народа, который, – повторяю еще раз, потому что это была его характерная черта, – он восторженно любил всю свою жизнь.

Последнее время, которое я провел с ним, эта любовь выражалась страстной, лихорадочной деятельностью. Все силы своей души и могучего организма и всё свое время он отдавал на работу по прокормлению голодающего народа и умер не только на этой работе, но прямо от этой сверхсильной работы, отдав свою жизнь за друзей своих. А такими друзьями его были все русские крестьяне. И это – не красивая фраза, которую говорят обыкновенно о мертвых, а несомненный факт. С утра до вечера он работал с одной этою целью: по прокормлению народа.

Работа его может показаться не трудной и не убийственной: он писал письма, закупал хлеб, сносился с земскими управами, попечителями, нанимал, рассчитывал возчиков хлеба, делал опыты печенья хлеба с различными суррогатами, помогал нам в устройстве столовых, приглашал людей на помощь, устраивал для них удобства, делал учеты, ездил в земские собрания, уездные и губернские, ездил в собрания попечителей по Данковскому и Епифанскому уездам, принимал крестьян, как попечитель по двум попечительствам, и ездил по другим попечительствам, подбодряя тех, у которых, он знал, дело не идет, и сам лично помогал, как частный человек, тем крестьянам, которые обращались к нему.

Дела эти кажутся не трудными и не убийственными для тех, кому не дорог, не важен успех дела, – но для него это всегда был вопрос жизни и смерти. Он видел опасность положения и не переставая работал так, как работают люди из последних сил для спасения жизни других, не жалея своей жизни. И потому дело его спорилось

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 и росло, – его энергия заражала других.

– Нет, живые в руки не дадимся, – говорил он, возвращаясь с работы или вставая от письменного стола, у которого проводил по 8, по 6 часов сряду.

– Не-ет! живые в руки не дадимся, – говорил он, потирая руки, когда ему удавалось устроить какое-нибудь хорошее дело: закупки дешевого хлеба, дров, устройства хлебопечения с картофелем, с свекольными отбросами или закупки льна для раздачи работ бабам.

– Знаю, знаю, – говорил он, – что нехороша эта самоуверенность, но не могу. Как будто чувствую этого врага – голод, который хочет задавить нас, и хочется подбодриться. Живые в руки не дадимся!

Так он работал во всех делах; не умел работать иначе как с страстностью. От этого работа кипела у него, и от этого-то вокруг него люди работали так же энергично, заражаясь от него, – и от этого он заработался до смерти.

Физически он не знал никаких препятствий, и никаких у него не было требований: всё ему было хорошо, ничего для него не было нужно и всё было возможно. Ему было 56 лет, – стало быть, он был старый уже человек, но привычек, требований у него никаких не было: спать где и когда – ему было всё равно, – на полу, на диване; есть ему было всё хорошо – хлеб с отрубями, каша, щи, что попало, – всё ему было хорошо, только насытиться, чтоб голод не мешал заниматься делом; ехать он мог по всякой дороге, во всякую погоду, в санях ли, в телеге ли.

Так он в последний раз, оторвавшись от дел, которыми был завален дома, поехал за сорок верст в Данков на земское собрание с тем, чтобы вернуться в тот же день, а на другой день ехать в Тулу по закупке хлеба, но заболел, приехал больной на другой день и свалился, проболел инфлюенцей, как определил доктор, и через шесть дней умер.

Вчера, когда он уже умирал, я, проходя по деревне, сказал мужику, что Иван Иванович умирает. Мужик ахнул: «Помилуй бог! – сказал он, – что без него делать будем? Воскреситель наш был».

Для мужика он был «воскреситель», а для нас он был тем человеком, одно знание о существовании которого придает бодрость в жизни и уверенность в том, что мир стоит добром, но не злом: не теми людьми, которые махают на все рукой и живут как попало, а такими людьми, каков был Иван Иванович, который всю жизнь боролся со злом, которому борьба эта придавала новые силы и который беспрестанно говорил злу: «Живые в руки не дадимся!»

Это был один из самых лучших людей, которых мне приходилось встречать в моей жизни.

Отношения мои с ним были очень странные (для меня, по крайней мере).

Мне было под 30 лет, ему было с чем-то двадцать, когда мы встретились.* Я никогда не был склонен к быстрым сближениям, но этот юноша тогда неотразимо привлек меня к себе, и я искал сближения с ним и сошелся с ним на «ты». В нем было очень много привлекательного: красота, пышущее здоровье, свежесть, молодечество, необыкновенная физическая сила, прекрасное, многостороннее образование. Элегантно говоривший на трех европейских языках, он блестяще окончил курс кандидатом математического факультета. Но больше всего влекла меня к нему необыкновенная простота вкусов, отвращение от светскости, любовь к народу и главное – нравственная совершенная чистота, теперь редкая между молодыми людьми, а тогда составлявшая еще более редкое исключение. Я думаю, что он никогда в жизни не был пьян, не участвовал в кутеже, не говоря уж о других увлечениях, свойственных молодым людям.

Мы тогда сблизились с ним как будто только на интересах охоты (мы ездили вместе на медвежью охоту) и гимнастики, но в глубине этого сближения, думаю, лежало еще и что-то другое.

Странное дело: сближение это продолжалось недолго. Мы не разошлись, встречались с удовольствием, оба одно время занимались школой и виделись, хоть и очень редко; а потом как бы совсем потеряли друг друга не из вида, а из сердца. Каюсь:

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 он женился, занимался хозяйством, – и мне думалось, что он очерствел, сделался сухим дельцом, семьянином, что мое увлечение им не имело основания. Когда мы встречались и он говорил мне о школах, о народе, о своей общественной деятельности, – мне казалось, что он говорит это по старой памяти, но что уже это не интересуется его. Мы почти разошлись и жили так более 30 лет.

И вот надо же было случиться, чтобы теперь, в эту тяжелую годину, мы опять сошлись на общем деле и чтобы я увидал, что не только он не опустился, не стал эгоистом, но, напротив, сдержал в возрасте близком к старости то, что он только обещал в молодости.

Тогда было с его стороны лишь смутное, неопределенное стремление к народу, теперь была уже деятельная любовь к народу и служение ему с самоотвержением и самопожертвованием. Он не только не очерствел за эти 30 лет, но он, откинув все те соблазны молодости, которые мешали его служению народу, теперь весь отдался ему.

Он представлял удивительное соединение страстной, восторженной любви к своей семье и, вместе с тем, к народу. Одна любовь не только не мешала другой, но содействовала ей. Любовь его к детям, к сыновьям выражалась тем, что он научил их любить народ, служить ему, натаскивал их на это.

Никогда не забуду, с какой любовью рассказывал он мне, как посланный им для переписи бедствующих селений сын его пропадал за этой работой до ночи.

Надо было слышать его рассказ об этом, надо было видеть его лицо во время этого рассказа, чтобы как следует понять и оценить этого человека.

Лев Толстой.

[Бессмысленные мечтания]

17 января нынешнего 1895 г. русские представители дворянства и земства всех 70 с чем-то губерний и областей России собрались в Петербурге для поздравления нового, вступившего на место своего умершего отца, молодого русского императора.

За несколько месяцев до выезда представителей во всех губерниях России в продолжение нескольких месяцев шли усиленные работы приготовлений для этого поздравления: собирались экстренные собрания, предлагали, избирали, интриговали; придумывали форму верноподданнических адресов, спорили, придумывали подарки для подношения, опять спорили, собирали деньги, заказывали, избирали счастливых, которые должны были ехать и иметь счастье лично передать адреса и подарки; и, наконец, люди ехали иногда по несколько тысяч верст со всех концов России с подарками, новыми мундирами, заготовленными речами и радостными ожиданиями увидеть царя, царицу и говорить с ними.

И вот все приехали, собрались, доложились, явились к министрам тому и другому, подверглись всем мытарствам, через которые проводили их, наконец дождались торжественного дня и явились во дворец с своими подарками. Разные курьеры, гофмейстеры, фурьеры, церемониймейстеры, камер-лакеи, адъютанты и т. п. захватили их, водили, проводили, устанавливали, и, наконец, наступила торжественная минута, и все эти сотни, большей частью старые, семейные, седые, почитаемые в своей среде люди замерли в ожидании.

И вот отворилась дверь, вошел маленький, молодой человек в мундире и начал говорить, глядя в шапку, которую он держал перед собой и в которой у него была написана та речь, которую он хотел сказать. Речь заключалась в следующем. [18]

[«Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель»].

Когда молодой царь дошел до того места речи, в котором он хотел выразить мысль о том, что он желает делать все по-своему и не хочет, чтобы никто не только не руководил им, но даже не давал советов, чувствуя, вероятно, в глубине души, что

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy и мысль эта дурная и что форма, в которой она выражена, неприлична, он смешался и, чтобы скрыть свой конфуз, стал кричать визгливым, озлобленным голосом.

Что же такое было? За что такое оскорбление всех этих добродушных людей?

А было то, что в нескольких губерниях: Тверской, главное Тверской, Тульской, Уфимской, еще какой-то земцы в своих адресах, исполненных всякой бессмысленной лжи и лести, намекали в самых темных и неопределенных словах о том, что хорошо бы земству быть тем, чем оно по своему смыслу должно быть и для чего оно было учреждено, т. е. чтобы иметь право доводить до сведения царя о своих нуждах. На эти-то намеки старых, умных, опытных людей, желавших сделать для царя возможным какое-нибудь разумное управление государством, потому что, не зная, как живут люди, что им нужно, нельзя управлять людьми – на эти-то слова молодой царь, ничего не понимающий ни в управлении, ни в жизни, ответил, что это – бессмысленные мечтания.

Когда речь кончилась, наступило молчание. Но придворные прервали его криками «ура», и почти все присутствующие закричали тоже «ура».

После этого все представители поехали в собор и там служили молебен благодарственный. Некоторые из бывших тут говорят, что они не кричали «ура» и не ездили в собор; но если и были таковые, то их было мало, а не кричавшие «ура» и не ездившие в собор не заявили этого публично; так что не несправедливо сказать, что все или огромное большинство представителей радостно приветствовали ругательную речь царя и ездили в собор служить благодарственный молебен за то, что царь удостоил их за их поздравления и подарки назвать глупыми мальчишками.

Прошло 4 месяца, и ни царь не нашел нужным отречься от своих слов, ни общество не выразило своего осуждения его поступка (кроме одного анонимного письма). И как будто всеми решено, что так и должно быть. И депутации продолжают ездить и подличать, и царь так же принимает их подлости, как должное. Мало того, что все вошло в прежнее положение, все вступило в положение гораздо худшее, чем прежде. Необдуманый, дерзкий, мальчишеский поступок молодого царя стал совершившимся фактом; общество, все русское общество проглотило оскорбление, и оскорбивший получил право думать (если он и не думает, то чувствует), что общество этого самого и стоит, что так и надо с ним обращаться, и теперь он может попробовать еще высшую меру дерзости и оскорбления и унижения общества.

Эпизод 17-го января был одним из тех моментов, когда две стороны, вступающие в борьбу между собою, примеряются друг к другу и между ними устанавливаются новые отношения.

Сильный рабочий человек встречает в дверях слабого мальчишку, барчука. Каждый имеет такое же право пройти первым, но вот нахальный мальчишка, барчук, отталкивает в грудь входящего рабочего и дерзко кричит: «Долой с дороги, дрянная такая!»

Момент этот решающий: ответит ли рабочий спокойно руку мальчика, пройдет впереди его и тихо скажет: «Нехорошо так, миленький, делать, я постарше тебе, и ты вперед так не делай». Или покорится, уступит дорогу и снимет шапку и извинится.

От этого момента зависят дальнейшие отношения этих людей и нравственное душевное состояние их. В первом случае мальчик опомнится, станет умнее и добрее, а рабочий свободнее и мужественнее; во втором случае нахальный мальчик делается еще нахальнее и рабочий еще покорнее.

То же столкновение произошло между русским обществом и царем, и благодаря своей необдуманности молодой царь сделал ход, оказавшийся очень выгодным для него и невыгодным для русского общества. Русское общество проглотило оскорбление, и столкновение разрешилось в пользу царя. Теперь он должен стать еще дерзновеннее и будет совершенно прав, если он еще больше будет презирать русское общество; русское же общество, сделав этот шаг, неизбежно сделает и следующие шаги в том же направлении и станет еще покорнее и подлее. Так оно и сделалось. Прошло 4 месяца, и не только не появилось протеста, но все с великим усердием готовятся к приему царя в Москве, к коронации и новым подаркам икон и всяких глупостей, и в газетах восхваляли мужество царя, отстоявшего святыню русского народа – самодержавие. Нашелся даже такой сочинитель, который упрекает царя за то, что он слишком мягко отозвался на неслыханную дерзость людей, решившихся намекнуть на

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
то, что для того, чтобы управлять людьми, надо знать, как они живут и что им
нужно; и что надо было сказать: не «бессмысленные мечтания», а надо было
разразиться громом на тех, которые посмели посягнуть на самодержавие – святыню
русского народа.

В газетах иностранных («Times», «Daily News» и др.) были статьи о том, что для
всякого другого народа, кроме русского, такая речь государя была бы
оскорбительна, но нам, англичанам, судить об этом с своей точки зрения нельзя:
русские любят это и им нужно это.

Прошло 4 месяца, и в известных, так называемых высших кругах русского общества
установилось мнение, что молодой царь поступил прекрасно, так, как должно было
поступить. «Молодец Ники, – говорят про него его бесчисленные кузены, – молодец
Ники, так их и надо».

И течение жизни и управление пошло не только по-старому, но хуже, чем
по-старому: те же бессмысленные жестокие гонения евреев, сектантов; те же ссылки
без суда; те же отнятия детей у родителей; те же виселицы, каторги, казни; та же
нелепая до комизма цензура, запрещающая все, что вздумается цензору или его
начальству; те же одурение и развращение народа.

Положение дел ведь такое: существует огромное государство с населением свыше 100
миллионов людей, и государство это управляемо одним человеком. И человек этот
назначается случайно, не то что избирается из самых лучших и опытных людей
наиболее опытный и способный управлять, а назначается тот, который прежде
родился от того человека, который прежде управлял государством. А так как тот,
который прежде управлял государством, тоже назначался случайно по первородству,
точно так же, как и его предшественник, – и только родоначальник их всех был
властителем, потому что достиг власти или избранием, или выдающимися
дарованиями; или, как это бывало большей частью, тем, что не останавливался ни
перед какими обманами и злодеяниями, – то выходит, что становится управителем
100-миллионного народа не человек, способный к этому, а внук и потомок того
человека, который выдающимися способностями или злодеяниями или и тем и другим
вместе, как это чаще всего бывало, достиг власти, – хотя бы этот потомок не имел
ни малейших способностей управлять, а был бы самым глупым и дрянным человеком.
Положение это, если прямо посмотреть на него, представляется действительно
бессмысленным мечтанием.

Ни один разумный человек не сядет в экипаж, если не знает, что кучер умеет
править, и в поезд железной дороги, если машинист не умеет ездить, а только сын
кучера или машиниста, который когда-то, по мнению некоторых, умел ездить; и тем
менее не поедет в море на пароходе с капитаном, права которого на управление
кораблем состоят только в том, что он – внучатный племянник человека, который
когда-то управлял кораблем. Ни один разумный человек не вверит себя и свою семью
в руки таких кучеров, машинистов, капитанов, а все мы живем в государстве,
которое управляется, и неограниченно, такими сыновьями и внучатыми племянниками
не только не хороших правителей, но на деле показавших свою неспособность к
управлению людей. Положение это действительно совершенно бессмысленно и может
быть оправдываемо только тем, что было время, когда люди верили, что эти
властители суть какие-то особенные, сверхъестественные или избранные богом
помазанные существа, которым нельзя не повиноваться. Но в наше время, – когда
никто уже не верит в сверхъестественное призвание этих людей к власти, никто не
верит в святость помазания и наследственности, когда история уже показала людям,
как свергали, прогоняли, казнили этих помазанников, – положение это не имеет
никаких оправданий, кроме того, что если предполагать, что верховная власть
необходима, то наследственность такой власти избавляет государство от интриг,
смут, междоусобий даже, которые неизбежны при другом роде избрания верховного
властителя, и что смуты и интриги обойдутся народу дороже и тяжелее, чем
неспособность, развращенность, жестокость управителей по наследству, если
неспособность их будет восполняться участием представителей народа, а
развращенность и жестокость их будет держаться в пределах ограничениями,
поставленными их власти.

И вот на желанья этих-то самых – нераздельных с наследственностью власти –
участия в делах правительства и ограничения власти (хотя эти желанья и были
скрыты под толстым слоем самой грубой лести), на эти-то желанья молодой царь с
решительностью и дерзостью ответил: «Не хочу, не позволю. Я сам».

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Эпизод 17-го января напоминает то, что часто случается с детьми. Ребенок начинает делать какое-нибудь непосильное ему дело. Старшие хотят помочь ему, сделать за него то, что он не в силах сделать, но ребенок капризничает, кричит визгливым голосом: «Я сам, сам», – и начинает делать; и тогда, если никто не помогает ему, то очень скоро ребенок образумливается, потому что или обжигается, или падает в воду, или расшибает себе нос и начинает плакать. И такое предоставление ребенку делать самому то, что он хочет делать, бывает если не опасно, то поучительно для него. Но беда в том, что при ребенке таком всегда бывают лстивые няньки, прислужницы, которые водят руками ребенка и делают за него то, что он хочет сам сделать, и он радуется, воображая, что он сделал сам, – и сам не научается, и другим часто делает вред.

То же бывает и с правителями. Если бы они действительно управляли сами, то управление их продолжалось бы недолго, они сейчас же бы наделали таких явных глупостей, что погубили бы других и себя, и царство их тотчас кончилось [бы], что и было бы очень полезно для всех. Но беда в том, что как у капризных детей есть няньки, делающие за них то, что они воображают сами делать, так и у царей всегда есть такие няньки – министры, начальники, дорожащие своими местами и властью, и знающие, что они пользуются ими только до тех пор, пока царь считается неограниченным. Считается и предполагается, что правит делами государства один царь; но ведь это только считается и предполагается: править делами государства один царь не может, потому что дела эти слишком сложны, он может только сделать все то, что ему вздумается по отношению тех дел, которые дойдут до него, и может назначать себе помощниками тех, кого ему вздумается; а править делами он не может потому, что это совершенно невозможно для одного человека. Правят действительно: министры, члены разных советов, директора и всякого рода начальники. Попадают же в эти министры и начальники люди никак не по достоинствам, а по проискам, интригам, большей частью женским, по связям, родству, угодливости и случайности. Лстецы и лгуны, пишущие статьи о святине самодержавия, о том, что эта форма (форма самая древняя, бывшая у всех народов) есть особенное священное достояние русского народа и что править народом царь должен неограниченно, но, к сожалению, никто из них не объясняет, как должно действовать самодержавие, как именно должен править царь сам, один своим народом. В прежнее время, когда славянофилы проповедовали самодержавие, то они проповедовали его нераздельно с земским собором*, и тогда, как ни наивны были мечтания славянофилов (сделавших много зла), понятно было, как должен был управлять самодержавный царь, узнававший от соборов нужды и волю народа. Но как может управлять теперь царь без соборов? Как коканский хан? Да это нельзя, потому что в коканском ханстве все дела можно было рассмотреть в одно утро, а в России в наше время для того, чтобы управлять государством, нужны десять тысяч ежедневных решений. Кто же поставляет эти решения? Чиновники. Кто же эти чиновники? Это люди, для достижения своих личных целей пролезающие во власть и руководимые только тем, чтобы им получить побольше денег. В последнее время люди эти до такой степени у нас в России пали в нравственном и умственном значении, что, если они прямо не воруют, как воровали те, которых обличили и прогнали, они даже не умеют притвориться, что преследуют какие-нибудь общие государственные интересы, они только стараются как можно дольше получать свои жалованья, квартирные, разъездные. Так что управляет государством не самодержавная власть, – какое-то особенное, священное лицо, мудрое, неподкупное, почитаемое народом, – а управляет в действительности стая жадных, пронырливых, безнравственных чиновников, пристроившихся к молодому, ничего не понимающему и не могущему попилить молодому мальчику, которому наговорили, что он может прекрасно управлять сам один. И он смело отклоняет всякое участие в управлении представителей народа и говорит: «Нет, я сам».

Так что выходит, что управляемы мы не только не волей народа, не только не самодержавным царем, стоящим выше всех интриг и личных желаний, как хотят представить нам царя настоящие славянофилы, – но управляемы мы несколькими десятками самых безнравственных, хитрых, корыстных людей, не имеющих за себя ни, как прежде, родовитости, ни даже образования и ума, как тому свидетельствуют разные Дурново, Кривошеины, Деляновы и т. п., а управляемы теми, которые одарены теми способностями посредственности и низости, при которых только, как это верно определил Бомарше, можно достигнуть высших мест власти: *Médiocre et rampant, et on parvient à tout.* [19] Можно подчиняться и повиноваться одному человеку, поставленному своим рождением в особенное положение, но оскорбительно и унижительно повиноваться и подчиняться людям, нашим сверстникам, на наших глазах разными подлостями и гадостями вылезшим на высшие места и захватившим власть. Можно было скрепя сердце подчиниться Иоанну Грозному и Петру Третьему, но

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1
подчиняться и исполнять волю Малюты Скуратова и немецких капралов, любимцев
Петра III – обидно.

В делах, нарушающих волю бога, – в делах, противных этой воле, я не могу подчиняться и повиноваться никому; но в делах, не нарушающих волю бога, я готов подчиняться и повиноваться царю, какой бы он ни был. Он не сам стал на свое место. Его поставили на это место законы страны, составленные или одобренные нашими предками. Но зачем же я буду подчиняться людям, заведомо подлым или глупым, или то и другое вместе, которые 30-летней подлостью пролезли во власть и предписывают мне законы и образ действий? Мне говорят, что по высочайшему повелению мне предписано [не] издавать таких-то сочинений, не собираться на молитву, не учить моих детей, как я считаю хорошим, а по таким-то началам и книгам, которые определяет г-н Победоносцев; мне говорят, что по высочайшему повелению я должен отдавать подати на постройку броненосцев, должен отдать своих детей или имение тому и тому-то, или самому перестать жить, где я хочу, а жить в назначенном мне месте. Все это еще можно бы было перенести, если бы это точно было повеление царя; но ведь я знаю, что высочайшее повеление тут только слова, что делается это вовсе не тем царем, который номинально управляет нами, а делается это г-ном Победоносцевым, Рихтером, Муравьевым и т. п., которых прошедшее я знаю давно, и так знаю, что я не желаю иметь с ними ничего общего. И этим-то людям я должен повиноваться и отдать им все, что есть у меня дорогого в жизни.

Но и это бы можно было перенести, если бы дело шло только об унижении своем. Но, к сожалению, дело не в одном этом. Царствовать и управлять народом нельзя без того, чтобы не развращать, не одурять народ и не развращать и не одурять его тем в большей степени, чем несовершенно образ правления, чем меньше управители выражают собою волю народа. А так как у нас самое бессмысленное и далекое от выражения воли народа правление, то при нашем управлении необходимо самое большое напряжение деятельности для одурения и развращения народа. И вот это одурение и развращение народа, совершающееся в таких огромных размерах в России, и не должны переносить люди, видящие средства этого одурения и развращения и последствия его.

Комментарии

Публицистика Льва Толстого

1

В 1852 г., в самом начале творческого пути. Толстой уверенно обозначил цель своей жизни: он не мечтает о литературной славе («славы я не хочу и презираю ее»), но жаждет «принимать большое влияние в счастье и пользе людей». [20] Позднее, став всемирно прославленным писателем, он много раз говорил, что не считает себя «литератором»: «Лермонтов и я – не литераторы». Главными ему казались задачи более значительные, чем служение искусству, даже и одухотворенному высокими идеалами. Как писатель он постоянно чувствовал нравственную личную ответственность за состояние мира, за жизнь всех людей. В публицистических статьях и книгах эта самая характерная, быть может, черта творческого облика Толстого проявилась особенно ярко.

Важнейшие исторические события русской жизни во второй половине XIX – начале XX в. становились фактами биографии Толстого. Он считал себя ответственным за все: за состояние армии во время севастопольской обороны и освобождение крестьян от крепостной зависимости, за народное образование, перепись московского населения и ужасы городской нищеты, за голод крестьянского населения и 36-часовой рабочий день железнодорожных грузчиков, за империалистические войны и смертные казни, за судьбу России и всего мира.

Страстные вопросы: «Так что же нам делать?», «Что же делать?», «Где выход?», «Неужели это так надо?» и горячие призывы «Не убий!», «Одумайтесь!», «Пора понять» Толстой ставит в заглавия своих публицистических сочинений.

Всякий раз Толстой говорит о себе и от себя, потому что чувствует себя свидетелем народных бедствий, ответственным за эти бедствия. Почти постоянно, обращаясь к читателям, он не только размышляет, а рассказывает о себе, своих мыслях и переживаниях.

«Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 году переехал на житье в Москву, меня удивила городская бедность. Я знаю деревенскую бедность; но городская была для меня нова и непонятна – так начата книга «Так что же нам делать?».

«Мы ночевали у 95-летнего солдата. Он служил при Александре I и Николае», – сказано в начале статьи «Николай Палкин», и затем следует действительно услышанный самим Толстым во время пешеходного путешествия из Москвы в Ясную Поляну рассказ про страшное наказание шпицрутенами.

«Мне нужно сорвать с глаз людей завесу, которая скрывает от них их человеческие обязанности» (т. 26, с. 564), – писал Толстой. «Срывание всех и всяческих масок» – так назовет В. И. Ленин главнейшую черту метода Толстого в статье 1908 г. «Лев Толстой, как зеркало русской революции».

Но могучая сила критики противоречиво сочеталась в публицистике, как и во всем творчестве Толстого, с наивными «рецептами спасения человечества». Обличая главный, «великий грех» эксплуататорского общества – частную собственность на землю, он надеялся, что горячее слово убеждения заставит землевладельцев добровольно отказаться от этого тяжкого греха. Критикуя весь существующий строй насилия и угнетения, Толстой полагал, что несправедливый строй уничтожится сам собой, если отдельные люди, сначала один, потом многие, откажутся ему подчиняться. Гневно осуждая захватнические войны империалистов, он также обращался лишь к совести поработителей и смирению порабощенных, надеясь победить зло непотребством, вернее, пассивным сопротивлением ему. Разоблачая ложь и лицемерие властвующих классов, фальшь господствующей религии, проповедовал новую, «очищенную» религию, возвращенную к «исконным» евангельским заповедям.

Стремление к нравственному суду, сочетание критики и морализаторства – вообще особенная черта Толстого. Она явственно видна в самых первых его публицистических сочинениях: «Проект о переформировании армии» (1855) и «Заметка о дворянском вопросе» (1858).

Участник героической обороны Севастополя, Толстой был потрясен величием духа его защитников и слабостью военной организации, приведшей Россию к поражению. Свой «Проект» он намеревался передать высшему военному, начальству, чтобы, как всегда, «сорвать завесу» с мнимого благополучия. Записка осталась незаконченной.

В ней критически разобраны психологические, моральные черты «православного воинства». Солдаты разделены на три типа: «угнетенные», «угнетающие» и «отчаянные», офицеры – «по необходимости», «беззаботные» и «аферисты»; генералы – «терпеливые» и «счастливые». Эта сосредоточенность на отрицательном проникнута душевной болью за народ, достойный лучшей исторической участи, способный на героические свершения. Об этом героизме духа сам Толстой горячо писал в Севастопольских рассказах, дневниках и письмах того времени.

В замечательном очерке «Как умирают русские солдаты (Тревога)» об этом сказано так: «На лицах солдат и офицера я заметил особенное выражение сознания собственного достоинства и гордости»; и о бесстрашии людей, которые идут навстречу смерти «без хвастовства, без желания отуманиться, спокойно и просто». Заканчивался очерк твердо выраженной уверенностью: «Велики судьбы славянского народа! Не даром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..» (т. 5, с. 233–236).

В Севастополе Толстому стало ясно, что Россия «или должна пасть, или совершенно преобразоваться» (т. 47, с. 31).

В трактате «Так что же нам делать?», вспоминая времена крепостного права, Толстой писал, что он еще тогда «понял безнравственность этого положения», старался избавиться от него и другим «рабовладельцам» стремился «всеми средствами внушать... незаконность и бесчеловечность их воображаемых прав». Одним из этих средств была «Записка о дворянском вопросе».

Когда же царский манифест был опубликован, Толстой испытал горькое разочарование и писал А. И. Герцену, что это «совершенно напрасная болтовня» (т. 60, с. 377).

Сам Толстой в это время находился за границей. В Ясной Поляне и во всем Крапивенском уезде он открыл школы для крестьянских детей, и надо было знать, как организовано это важнейшее, с его тогдашней точки зрения, дело в других странах. Он много думает сам об этом предмете, разговаривает и переписывается с Герценом, Прудоном – и убеждается, что в деле народного просвещения, как и во всем историческом развитии, России предназначены иные, новые пути. В сущности,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 теоретические статьи по вопросам педагогики – это размышления Толстого о судьбах России, в сопоставлении с развитием стран Европы и Востока. Те же проблемы будут волновать его и позднее, когда новая революционная ситуация приведет к 1905 году. Сложная, противоречивая, но и оригинальная, во многом – провидческая позиция Толстого заслуживает особого разбора – этому будет посвящена третья глава нашей статьи.

Коренные исторические сдвиги Толстой неизменно связывал с нравственными возможностями каждого человека. Совершаются, должны совершиться большие общественные перемены; проницательный взгляд видит и чуткая совесть предчувствует эти перемены, и нужно уметь соответствовать этим переменам, быть готовым к новой жизни, на новых основах.

В статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» В. И. Ленин писал: «Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его мирозерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещицкой знати в России, – он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь». [21]

Духовная революция, происшедшая в мировоззрении Толстого на рубеже 70–80-х годов прошлого века, соответствовала историческим сдвигам в народной жизни, в общественном сознании и по-своему предвещала будущие революционные взрывы во всем устройстве жизни.

Критическая сила публицистики Толстого в поздние годы, после перелома в мировоззрении, привела к прямому обличению всех существующих порядков в России и во всем эксплуататорском обществе. В его творчестве 1880–1900-х годов, по мере обострения социальных противоречий и приближения первой русской революции, именно публицистика начинает играть особенно большую роль. Одновременно с обличительным пафосом в статьях, трактатах усиливается голос Толстого–проповедника, учителя жизни, моралиста, отстаивающего теорию ненасильственного сопротивления злу и нравственного самоусовершенствования.

Не случаен тот факт, что, подобно «Исповеди» Руссо, родившейся в период французской революции конца XVIII в., столетий спустя, в преддверии русской революции Толстой написал свою «Исповедь».

«Исповедь» – одна из самых глубоких и сильных книг Льва Толстого, книга о смысле жизни и личной ответственности за ее устройство. Она писалась в 1879 г., когда Толстой, пережив мучительный идейный и нравственный кризис, пришел к новому пониманию смысла жизни – своей собственной и каждого человека вообще. Прошлое предстало перед судом возмущенной совести.

К тому времени как «Исповедь» была начата и тяжкие душевные переживания и самое обретение «веры» были позади, Толстой поведал обо всем этом не с целью уяснить вопрос для себя (для него, казалось, вопрос был уже решен), но для того, чтобы разделить с людьми опыт своей жизни, открыть им то, что сам он считал обретенной истиной. Это не только исповедь, но и проповедь. Страстный, горячий голос проповедника слышится в каждой строке книги.

«Исповедь» была преисполнена такой правды, с такой страстью отрицала тогдашнюю официальную религию, что, конечно, напечатать ее оказалось невозможно. Спустя два года Толстой записал: «Но этой книги, в которой я рассказывал, что я пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать в России, как мне сказал один опытный и умный старый редактор журнала. Он прочел начало моей книги, ему понравилось. Так как он просил моего сотрудничества, я сказал: так вот, напечатайте. Он поднял руки и воскликнул: «Батюшка! Да за это и журнал мой сожгут, да и меня с ним». – Так я и не печатаю» (т. 49, с. 9).

«Исповедь» названа в подзаголовке «Вступлением к ненапечатанному сочинению». В конце Толстой говорит о «следующих частях сочинения», которое, «если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано». Следующие части – это религиозно-философские трактаты «Исследование

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 догматического богословия», «В чем моя вера?», «Соединение и перевод четырех евангелий». Но фактически «Исповедь» – это вступление ко всему последующему творчеству Толстого, к «Смерти Ивана Ильича», роману «Воскресение», к обличительным статьям, за которые в 1901 г. синод отлучил великого писателя от церкви, а черносотенцы угрожали физической расправой.

В «Исповеди» Толстой рассказал, что отчаяние, которое овладело им в середине 70-х годов и предшествовало коренному изменению его взглядов, было сходно с душевным состоянием, пережитым на много лет раньше, после смерти брата Николая, в начале 60-х годов. Но если тогда, по словам Толстого, неизведанные им радости и заботы семейной жизни вывели его из этого отчаяния, то в 70-е годы ему стало ясно, что семейное счастье было для него мнимым, или, во всяком случае, временным спасением от всеобщей жизненной неурядицы, от предчувствия социальных катастроф.

В трактате «В чем моя вера?», созданном сразу после «Исповеди», Толстой писал, что «все цивилизованное большинство людей осталось для жизни с одной верой в городского и урядника» и лишь революционеры, считающиеся самыми зловерными, опасными и, главное, неверующими людьми, являются «лучшими людьми нашего времени» и хотя не принимают главной основы христианской веры – непротivления злу насилием, но не покоряются «безропотно тому, что велят, и потому это – единственные люди нашего мира, живущие не животной, а разумной жизнью, – единственные верующие люди» (т. 23, с. 447–448).

В «Исповеди» Толстой рассказывал о себе, но, конечно, не свою биографию. Писалась книга о духовном переломе, о том, как он, здоровый, благополучный, счастливый человек и знаменитый литератор, увидел бессмыслицу всей своей жизни, пережил мучительный кризис и нашел выход в новом мирозерцании, новом взгляде на жизнь.

Он рассказывал не все, а лишь то, что связано в его жизни с верой и неверием, т. е. с признанием или отрицанием высшего смысла человеческого бытия. Сравнивая «Исповедь» Толстого с ныне хорошо известной всей историей его жизни и творчества, нельзя не удивиться жестоким приговорам, какие он выносил сам себе. На первых же страницах он «признавался»: «Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал». С точки зрения биографа, это неверно. Речь ведь идет о человеке, жизненным и писательским девизом которого с молодых лет была правда и которого прежде всего отличала, по словам проницательного современника – Н. Г. Чернышевского – «чистота нравственного чувства».

О начале своей литературной работы Толстой говорил: «В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости... Для того, чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал». Первым читателям «Исповеди» были незнакомы известные теперь дневники и письма молодого Толстого, опровергающие эти жестокие слова. В Дневнике 1855 г., например, отмечено (после публикации рассказа «Севастополь в мае», очень пострадавшего от цензуры): «Я, кажется, сильно на примете у синих. [22] За свои статьи. Желаю, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее – без мысли и, главное, без цели». Писательская задача понималась так: «Добро, которое я могу сделать своими сочинениями» (т. 47, с. 60).

Несправедливо суровые характеристики даны и той литературной среде, в которую он попал, приехав из Севастополя в Петербург. Дальше в «Исповеди», рассказывая о «соблазне писательства», Толстой говорил об огромном денежном вознаграждении и рукоплесканиях за «ничтожный труд». Опять-таки известно, какой колоссальный, поистине титанический труд был вложен в создание рассказов, повестей и романов, от которых он теперь с такой горячностью отрекался, как от праздной забавы.

И тем не менее Толстой писал правду, а его «Исповедь» – одна из самых искренних книг мировой литературы. Долгим опытом жизни он убедился, что только победа над собой делает человека сильным.

Толстой посмотрел на прошлую свою жизнь и на нынешнюю жизнь людей своего круга с высоты нового мирозерцания и не нашел в ней того смысла, какой он теперь придавал всякому человеческому существованию. Он осудил ее в той мере, в какой она подчинялась велениям существующей власти, догмам церкви, господствующему

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 нравственному варварству. Главная идейная и литературная задача «Исповеди» – обличить свою прошлую жизнь, чтобы тем самым отвергнуть все жизненное устройство общества, к которому по рождению и воспитанию принадлежал он сам. В письме к Н. Н. Страхову, советуя ему описать свою жизнь, Толстой заметил: «Но только надо доставить – возбудить к своей жизни отвращение всех читателей» (т. 62, с. 500).

«Исповедь» – не религиозно-философский трактат, как принято называть эту книгу. Сам Толстой в первоначальных вариантах совершенно ясно сказал о своей цели: «Если бы я писал книгу философскую, я бы сказал те выводы, которыми я опроверг свое отчаяние (я даже и сделал было это, но вычеркнул). Но если бы я писал богословское сочинение, я бы сказал, что бог меня спас. Но я хочу описать ход моей душевной жизни как можно правдивее и потому говорю, что остановило меня от самоубийства» (т. 23, с. 499).

В «Исповеди» ставятся и философские, и религиозные вопросы (о соотношении конечного и бесконечного, о вере и безверии), но главный вопрос – нравственный и социальный: о смысле жизни, о добре и зле, о любви к людям и единении с ними.

«Исповедь» Льва Толстого – это суровая история души, наделенной нечеловеческой чуткостью. Справедливо было сказано, что его чуткость можно сравнить с большим и тонким стеклянным колоколом, звучащим при малейшей сотрясении.[23] В «Исповеди» колокол звучит как набат.

В «Исповеди» еще нет того всестороннего обличения, какое придет потом, но нет и того ригористичного учительства, каким будут проникнуты позднейшие сочинения Толстого. Эта книга о поиске и обретении истины, о внутренней борьбе и только что достигнутой победе. Толстой вложил в нее весь жар своей души. Видевший его осенью 1879 г. Страхов писал с восхищенным удивлением: «Ваши мысли волнуют вас так, как будто вам не 50, а 20-ть лет».[24]

Сам Толстой называет случившийся с ним духовный переворот обращением к вере, к богу. Но важны не слова, а их смысл. Совершенно ясно, что вера Толстого не только не имеет ничего общего с официальной церковностью, но прямо отрицает ее. Одновременно с «Исповедью» писалось «Исследование догматического богословия»-трактат, в котором Толстой не оставил камня на камне от догматов официальной церкви, подвергнув их беспощадному суду разума и совести. И в «Исповеди» о церковном обмане сказано открыто и сильно.

Позднее о периоде «Исповеди» Толстой записал в Дневнике: «Вспомнил, как сущность обращения моего в христианство было, сознание братства людей и ужас перед той небратской жизнью, в которой я застал себя... Это было одно из самых сильных чувств, которые я испытал когда-либо» (т. 55, с. 164).

Вера Толстого – это живое нравственное чувство, ответ на самый простой и одновременно самый главный вопрос жизни: что хорошо и что дурно, твердое и ясное знание ее смысла. Конечно, рассуждения Толстого о том, что смысл жизни – в отвращении от зла и обращении к добру, достаточно отвлечены. Но чрезвычайно важно, какой конкретный смысл вкладывал Толстой в эти отвлеченности: «зло» и «благо».

Реальное содержание религиозной толстовской терминологии лучше всего раскрывается словами самого Толстого: «Когда я говорю религиозный человек, я имею в виду просто высоконравственный человек»; «Когда я говорю бог, я имею в виду добро»; «Когда я пишу о царстве божием, я имею в виду до конца нравственные отношения между людьми».

Современный исследователь справедливо утверждает: «Религия Толстого есть не столько вера (хотя в ней, конечно, есть элемент религиозной веры), сколько протест... Толстовская «вера» – только синоним силы жизни, осмысленного существования, условие сознающей свое назначение деятельности».[25]

«Спасло меня только то, – писал Толстой, – что я успел вырваться из своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь».

С утверждением нового взгляда на жизнь потребовалось заново решать и все «вопросы жизни».

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1

Главная цель, по Толстому, – единение со всеми людьми. Истина – «единение в любви». На новой основе он вернулся к детской своей мечте о «муравейном братстве». В старости, вспоминая детские игры с братьями и сестрой, он написал: «Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же» (т. 34, с. 387).

Такое единение было легко и радостно, поскольку речь шла о трудовом народе. Но нельзя было стать братом тех людей, которые властвовали, судили, казнили, развязывали братоубийственные войны.

Согласно общему смыслу учения, их тоже надо было любить как заблудших братьев. Толстой стремился к этому в жизни и настойчиво проповедовал это в своих позднейших, после «Исповеди», сочинениях. Но это плохо удавалось. Естественнее было обличать их, критиковать – это он и не уставал делать в последние тридцать лет жизни, хотя временами и осуждал свое «озлобление спора».

Отныне тяжкое сознание собственной вины и вины своего класса перед народом не покидало Толстого. Настроения «кающегося дворянина», несомненно, свойственны «Исповеди» и всему творчеству последующих лет. Но гораздо сильнее звучит в них горячий голос обличения, протеста.

О том периоде, когда писалась «Исповедь», С. А. Толстая вспоминала в автобиографии «Моя жизнь»:

«Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах, и точно умышленно искал везде страдания людей, насилие над ними, и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, все осуждал, за все страдал сам, и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным». [26]

Проповедь христианской, всепрощающей любви и беспощадная критика существующего несправедливого устройства жизни – это одновременно кричащее противоречие во взглядах Толстого и нерасторжимая их связь.

Историческая неизбежность этого и других противоречий Толстого была глубоко вскрыта В. И. Лениным в цикле его статей, написанных в 1908–1911 гг. Русские либералы и махисты объявили тогда «всею Толстого – своей совестью», писали о его «чисто человеческой религии», о достигнутом им синтезе, сетовали против «озлобления спора» вокруг имени Толстого. Ленин дал им резкую отповедь.

«Именно синтеза, – писал Ленин в статье «Герои «оговорочки», – ни в философских основах своего мирозерцания, ни в своем общественно-политическом учении Толстой не сумел, вернее: не мог найти». [27]

Значение того переворота, о котором рассказано в «Исповеди», огромно. Если бы результатом «духовного рождения» Толстого было лишь то, что величайший русский писатель, оставаясь самим собою, все же круто изменил направление пути и начало этого поворота обозначил «Исповедью», – одного этого было бы достаточно, чтобы считать книгу выдающимся литературным произведением.

Но книга Толстого имеет поистине мировое значение.

Оно, разумеется, меньше всего связано с тем, что в России и в некоторых других странах небольшая группа людей («толстовцев») пыталась в быту осуществить учение Толстого, организуя земледельческие коммуны. В общественной жизни мира это крохотное по своим размерам и в сущности бессильное движение не сыграло сколько-нибудь серьезной роли.

Важно другое. Идеи Толстого нашли отклик в миллионах живых сердец. Рассказом о том, как «проснулся» он сам, Толстой будил мир.

2

Будить совесть других людей Толстой считал нужным не только рассказом о себе, но прямым обращением к ним. Характерны в этом смысле сами заглавия статей: «Царю и его помощникам. Обращение Льва Николаевича Толстого» (1901); «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу» (1906).

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Все люди – по мысли Толстого – должны понять, что существует связь между «гибелью одних и празднованием других», что нельзя «потакать царствующему злу», прятать совесть в карман и разными удобными теориями вроде теории Мальтуса оправдывать несправедливость. В трактате «Так что же нам делать?» об этом сказано сильно и прямо:

«Мы живем так, как будто нет никакой связи между умирающей прачкой, 14-летней проституткой, измученными деланьем папирос женщинами, напряженной, непосильной, без достаточной пищи работой старух и детей вокруг нас; мы живем – наслаждаемся, роскошествуем, как будто нет связи между этим и нашей жизнью; мы не хотим видеть того, что не будь нашей праздной, роскошной и развратной жизни, не будет и этого непосильного труда, а не будь непосильного труда, не будет нашей жизни».

И о том же – в статье, написанной 15 лет спустя, – «Рабство нашего времени»:

«Если только люди поймут, что нельзя пользоваться для своих удовольствий жизнью своих братьев, они сумеют применить все успехи техники так, чтобы не губить жизнью своих братьев, сумеют устроить жизнь так, чтобы воспользоваться всеми теми выработанными орудиями власти над природой, которыми можно пользоваться, не удерживая в рабство своих братьев».

В современном Толстому мире «удивлялись» только мертвые, «живые не видят». Толстой хотел, чтобы живые увидели. В трактате «Так что же нам делать?» он разбирает все по порядку: экономические условия, значение денег, положение науки и искусства, собираясь показать, что все существующие институты служат «злу» – порабощению одних людей другими. О своих собратях по роду деятельности он пишет с ядовитой иронией: «Нам представляется диким то, чтобы ученый или художник пахал или возил навоз. Нам кажется, что все погибнет, и вытрясется на телеге его мудрость, и опачкаются в навозе те великие художественные образы, которые он носит в своей груди».

Он призывает современников «не бояться правды», «выучиться не жить на шею другим», перестать «оскорблять и обижать» народ.

Сила книги «Так что же нам делать?», как и других публицистических сочинений Толстого, не только в критике, но и в убеждении, что по-старому жизнь продолжаться не может: «мы стоим уже на рубже новой жизни».

Говоря о «назначении и благе человека», Толстой опирается, по его собственным словам, на доводы простых русских людей, умных крестьян – таких, как Сютаев и Бондарев. «Все в тебе» и «в поте лица снеси хлеб» – эти незамысловатые слова точно обозначают меру нравственной ответственности и необходимость участия в земледельческом – важнейшем для человека – труде. Позднее, в специальной статье, написанной для энциклопедического словаря, он скажет, что мысли Бондарева о трудолюбии и тунеядстве, о мозольном хлебном труде значительнее того, что говорили все ученые люди, упомянутые в лексиконе.

Толстой спорит с теорией капиталистического прогресса и отрицает политико-экономические учения, ссылаясь на «главную науку» – «о том, что нужнее всего знать человеку».

Но, критикуя точно и беспощадно, он «рассуждает отвлеченно», «допускает только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии». [28] И не случайно в трактате много раз упоминаются имена Конфуция, Будды, Моисея, Сократа, Христа, Магомета.

На последних страницах книги Толстой выражает твердую уверенность: «Совесть людей не может быть успокоена новыми придумками, а может быть успокоена только переменной жизни, при которой не нужно будет и не в чем будет оправдываться». Нельзя одновременно служить богу и мамоне. Счастье человека – в том, чтобы жертвовать собой, отказываясь от эгоистической жизни только для себя и своих близких. Таким образом решение социальных вопросов переводится в область исключительно нравственную.

Толстой страстно мечтает о том, чтобы указать пути, как сделать счастливой жизнь каждого человека и всех людей. Для этого, по его мнению, нужно одно: не быть виноватым друг перед другом, не поддерживать эгоистический, несправедливый порядок жизни, любить не себя, а других, всех, разумом, преодолевать чувственные

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1
влечения.

Эта мысль – главная в философском трактате «О жизни» (1880–1887). желание себе блага – основа жизни; но человеку нужно такое несомненное благо, которое не нарушалось бы борьбой, страданиями и смертью. Благо это, по Толстому, дается «подчинением животной личности закону разума». Он советует каждому человеку и всем людям «поверить в крылья», «поднимающие над бездной». И горячо спорит с пессимистами, утверждающими, что зло господствует в мире.

Книга «О жизни» призвана была внушить это настроение читателям. 20 мая 1887 г. Толстой писал по этому поводу Н. Н. Страхову: «Мне очень хорошо жить на свете, т. е. умирать на этом свете, и вам того же не только желаю, но требую от вас. Человек обязан быть счастлив. Если он не счастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранил этого неудобства или недоразумения» (т. 64, с. 48).

В книге «О жизни» Толстой вновь и вновь повторяет свою излюбленную мысль, что человек может быть счастлив и спокоен, если он сумеет соединить свою жизнь с «жизнью мира». Тогда обретаются «жизнь, не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом». Из первоначального заглавия «О жизни и смерти» Толстой выбросил слово «смерть», как ненужное.

Та бездна, которая пугала самого Толстого и была показана с потрясающей силой в повестях «Записки сумасшедшего» и «Смерть Ивана Ильича», здесь преодолена высотой полета мысли. Противоречие не разрешено, а снято.

Философски отвлеченный трактат на все вопросы бытия дает положительный ответ. В последней главе – «Страдания телесные составляют необходимое условие жизни и блага людей» – говорится: «Но все-таки больно, телесно больно. Зачем эта боль?» – спрашивают люди. «А затем, что это нам не только нужно, но что нам нельзя бы жить без того, чтобы нам не бывало больно».

В повести «Смерть Ивана Ильича» о том же рассказано трагичнее, но и человечнее: «Что это? Неужели правда, что смерть?» И внутренний голос отвечал: да, правда. «Зачем эти муки?» И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было» (т. 26, с. 107). Заканчивается повесть все же просветлением. «Кончена смерть. Ее нет больше», – чувствует Иван Ильич, пожалевший жену и сына. Но в повести это – мгновение перед самой смертью; трактатом Толстой хотел доказать, что такую может и обязана быть вся жизнь. И тогда нет смерти, она не страшна.

После книги «О жизни» проходит всего несколько лет и спокойствие покидает Толстого. Он увидел такие страдания, почувствовал такую боль, что вновь возникла потребность обличать, не покоряться беде, деятельно помогать. Это случилось в 1891–1892 гг., когда во многих губерниях России разразился голод.

С самого начала Толстой отверг, как нелепую, мысль о возможности прокормить народ за счет подачек богачей.

В Дневнике 1891 г. он записал: «Нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему» (т. 51, с. 57), а в первой же статье о голоде уверенно сказал: «Народ голоден оттого, что мы слишком сыты».

Но надо было что-то делать, и быстро.

17 сентября после рассказов земского деятеля Г. Е. Львова о голоде Толстой «не спал до 4 часов – все думал о голоде» и решил устраивать бесплатные столовые для голодающих. 26 сентября, вернувшись в Ясную Поляну после поездок по голодающим деревням, он начал статью «О голоде».

Здесь он разоблачил лицемерие господствующих классов, которые делают вид, что озабочены голодом, встревожены положением народа, а в действительности более чем равнодушны к совершающемуся бедствию и стараются всеми средствами еще сильнее закабалить крестьян. Между эксплуататорами и народом нет иных отношений, кроме отношений господина и раба.

В статье Толстой указывает, что хищническим хозяйничаньем помещиков и капиталистов крестьяне доведены до крайней нужды и разорения. Уже в самом начале осени, рассказывает он на основе личных наблюдений, в одной из деревень

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Ефремовского уезда «из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, которые им продают из склада земства, по 60 копеек с пуда». Толстой утверждает, что в таком положении постоянно, а не только в голодный год находятся миллионы крестьян России. Он разоблачает клевету господствующих классов, будто народ голоден оттого, что ленив, пьянствует, дик и невежествен. Народ голоден оттого, что его душат малоземелье, подати, солдатчина, что «распределение, производимое законами о приобретении собственности, труде и отношениях сословий, неправильно». Улучшить положение народа можно лишь тем, чтобы перестать грабить и обманывать его. А взять у господ часть их богатств и раздать голодающим – все равно, что заставить паразита кормить то растение, которым он питается. «Мы, высшие классы, живущие все им, не могущие ступить шагу без него, мы его будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное», – восклицает Толстой.

Именно эти слова имел в виду В. И. Ленин, когда в статье «Признаки банкротства» писал: «В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, нелепая идея». [29]

Где же действительный выход?

Толстой думает, что господа могут добровольно «перестать делать то, что губит народ», возратить награбленное, изменить свою жизнь и тем самым разорвать кастовую черту, отделяющую их от народа. Он обращается к «высшим классам» с призывом: отнестись к народу «не только как к равным, но к лучшим нашим братьям, таким, перед которыми мы давно виноваты», прийти к ним «с раскаянием, смирением и любовью», поступить подобно мученику Петру, который, раскаявшись в своем жестокосердии, отказался от всего богатства и сам продался в рабство.

Но ни слова гневной правды, ни добрый призыв не могли быть услышаны: статью, набранную в журнале «Вопросы философии и психологии» (с редактором журнала Н. Я. Гротом Толстой близко сошелся во время работы над книгой «О жизни»), царская цензура запретила. Когда же в лондонской «Daily Telegraph» она появилась в переводе Э. Диллона под заглавием «Почему голодают русские крестьяне?», реакционные «Московские ведомости» перепечатали выдержки из статьи, в обратном переводе с английского, сопроводив их своим «комментарием»: «Письма гр. Толстого... являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».

В придворных сферах начались разговоры, что Толстого нужно выслать или посадить в дом умалишенных.

Министр внутренних дел И. Н. Дурново, как положено, сделал письменный доклад Александру III: письмо Толстого о голоде «по своему содержанию должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям», но «привлечение в настоящее время графа Толстого к ответственности может повлечь нежелательное смятение в умах». Александр III положил резолюцию: «Оставить на этот раз без последствий».

В конце этой истории Толстой, сознавая свою правоту, написал 29 февраля 1892 г.: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уж 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет... То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной все, что есть просвещенного и честного во всем мире, что говорит сердце каждого неспорченного человека и что говорит христианство, которое исповедуют те, которые ужасаются» (т. 84, с. 128).

В четырех уездах Тульской и Рязанской губерний – Епифанском, Ефремовском, Данковском и Скопинском – силами Толстого и его помощников к весне 1892 г. было открыто 187 столовых, в них ежедневно кормилось более 9000 человек. Об этой практической работе он написал особую статью – «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Она появилась в сборнике «Помощь голодающим» (издан

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой (1892 г. «Русскими ведомостями»).

А. П. Чехов откликнулся на эту статью в одном из писем: «Толстой-то, Толстой! Это, по нынешним временам, не человек, а человечище, Юпитер. В «Сборник» он дал статью насчет столовых, и вся эта статья состоит из советов и практических указаний, до такой степени дельных, простых и разумных, что, по выражению редактора «Русских ведомостей» Соболевского, статья эта должна быть напечатана не в «Сборнике», а в «Правительственном вестнике». [30]

Весной и в начале лета 1892 г. в Бегичевке продолжалась та же деятельность: открывались еще столовые (их было уже 212), началась бесплатная раздача лошадей голодающим крестьянам, выдача для посева семян овса, картофеля и т. п. Была засуха, и Толстой предвидел на будущий год «то же бедствие» (т. 66, с. 218).

4 мая в Бегичевку приехала экспедиция генерала М. Н. Анненкова – для исследования причин обмеления Дона. Крестьяне думали, что люди эти появились, чтобы арестовать Толстого. Как рассказывает В. М. Величкина («В голодный год с Львом Толстым»), вокруг бегичевского дома собрались целые толпы народа – они решили во что бы то ни стало не выдавать Льва Николаевича, так что их с трудом удалось успокоить.

26 мая, оглядываясь на прожитые в Бегичевке (в этот приезд) полтора месяца, Толстой записал в Дневнике, что время это для него «прошло как день».

Позднее Толстой говорил, что самые счастливые периоды в его жизни были те, когда он всего себя отдавал на служение людям: школа, работа на голоде.

В 1891/92 гг. он проявил те черты своей личности, о которых в одном из писем горячо сказал А. П. Чехов: «Надо иметь смелость и авторитет Толстого, чтобы идти наперекор всяким запрещениям и настроениям и делать то, что велит долг». [31]

В этот тяжелый для России и русского народа год Толстой пришел к несомненному убеждению, что жизнь не может продолжаться в старых формах и дело подходит «к развязке».

3

«Какая будет развязка, не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, – я уверен», – писал Толстой в 1892 г. (т. 66, с. 224).

Развязкой, как показала история, стала революция. Толстой думал о ней давно, начиная со времен крестьянских волнений накануне отмены крепостного права; думал и писал в 1881 г., когда народовольцами был убит «царь-освободитель», и с тех пор, в сущности, постоянно. Думал и мечтал предотвратить, указывая на другие, бескровные пути преобразования мира. Всегда при этом он был уверен, что именно России предстоит решить те громадной важности задачи, которые не были решены в Европе и Америке даже и после революций.

В статьях начала 60-х годов, кроме вопросов педагогических (соотношение воспитания и образования, методы обучения грамоте, свобода в приемах преподавания), Толстой ставит главнейший, с его точки зрения, вопрос – о праве народа решать дело своего образования, как и всего исторического развития. Идет спор не только с консерваторами и либералами-«прогрессистами», но и с революционными демократами.

Собственная позиция Толстого противоречива, сильна и уязвима одновременно.

Ее сильная сторона – в глубоком, убежденном демократизме. О своей любви к народу и крестьянским детям, об их преимуществах перед господскими детьми Толстой говорит горячо и сильно:

«Преимущество ума и знаний всегда на стороне крестьянского мальчика, никогда не учившегося, в сравнении с барским мальчиком, учившимся у гувернера с пяти лет».

«Люди народа – свежее, сильнее, могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и, главное – нужнее людей, как бы то ни было воспитанных».

«...В поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров».

Поэтому, уверенно заявляет Толстой, он лично «должен склониться на сторону народа».

Но в ходе рассуждений выясняется, что народ, сторону которого принимает яснополянский педагог и философ, это исключительно земледельческое, патриархально думающее и живущее русское крестьянство.

С позиций этого патриархального крестьянства Толстой отрицает теорию прогресса и не считает, что доказано, будто «путь, по которому шли европейские народы, есть наилучший путь», что «человечество идет одинаковым путем». «Весь Восток образовывался и образовывается совершенно иными путями, чем европейское человечество».

Здесь открываются противоречия.

Толстой мог только предвидеть, а теперь мы знаем, что России действительно не суждено было повторить европейский путь. Пройдя форсированным темпом, в несколько десятилетий, капиталистическое развитие, Россия лишь на короткий срок стала буржуазной, капиталистической страной. При этом чрезвычайно сильны были пережитки феодализма, а весь этот период (1861–1904) явился эпохой подготовки первой русской революции. Отмена крепостного права сопровождалась революционной ситуацией, снова возникшей спустя 20 лет, чтобы завершиться 1905-м, а вскоре и 1917 годом. О том, что нет универсальных путей движения человечества вперед, свидетельствует и XX век, когда в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки совершается переход от феодализма и колониальной зависимости к социализму. Но совершается после и в результате революций. Толстой же отрицает революционное «насилие», ссылаясь на бесплодность европейских переворотов и «неподвижный Восток».

Толстой, конечно, прав, когда пишет, что «народ сам собой везде учится», что сын крестьянина, дьячка, скотовода-киргиза больше подготовлен к практической жизни: «смолоду уже становится в прямые отношения с жизнью, с природой и людьми, смолоду учится плодотворно, работая». Но с этой позиции он отрицает вообще пользу «университетского образования», поскольку в университетах, на его взгляд, готовятся «ненужные для жизни», «раздраженные, больные либералы».

Он пишет с полным правом: «Никто никогда не думал об учреждении университетов на основании потребности народа. Это было и невозможно, потому что потребность народа была и остается неизвестною». Но его собственная попытка создать в Ясной Поляне «университет в лаптях» не осуществилась. И яснополянская школа, при всем ее значении – историческом и лично для Толстого, не могла повлиять на решение народной судьбы. Те самые мальчики, о которых с таким восторгом рассказывал, писатель в статьях «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» и «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», приобщились благодаря своему учителю даже к творчеству, но в жизни, тогдашней российской жизни, не смогли, избавиться от нищеты и несчастий.

Название статьи о яснополянской школе за ноябрь и декабрь месяцы заставляет вспомнить Севастопольские рассказы: «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года».

И здесь сражение было проиграно: школа закрылась, народ остался предоставленным своей судьбе. Но школа, по словам Толстого, его «сильно образовала». В 60-е годы он создает «Войну и мир» с «главной – мыслью народной», а размышляя о будущем России, вспоминает казачество. Для яснополянской школы образцом тоже были казачьи общины. «Будущность России – казачество: свобода, равенство и обязательная военная служба каждого» (т. 47, с. 204).

Свобода означала при этом главное для русского крестьянина и для России, остававшейся и во второй половине XIX в. крестьянской страной: освобождение земли от частной собственности. «Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана» (т. 48, с. 85).

В статье «О народном образовании» Толстой утверждает: «неизменный закон движения вперед образования» – «потребность к равенству». А в статье «Прогресс и определение образования» дает свою формулировку прогресса вообще: «Закон

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
прогресса, или совершенствования, написан в душе каждого человека и, только вследствие заблуждения, переносится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен каждому; перенесенный в историю, он делается праздною, пустой болтовней, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фатализма».

Ссылаясь на «Историю цивилизации в Англии» Генри Томаса Бокля, английского историка первой половины XIX в., и споря с ним, Толстой выражает уверенность, что русские не обязаны подлежать тому же закону движения цивилизации, которому подлежат европейские народы. К тому же, по мысли Толстого, еще не доказано, что движение вперед ложной и ненужной народу цивилизации есть благо.

Эта же мысль и вся аргументация повторены спустя сорок лет в статье «Рабство нашего времени», где Толстой критикует политическую экономию, которая за образец общего порядка берет не «положение людей всего мира за все историческое время», а положение людей в «маленькой, находящейся в самом исключительном положении Англии в конце прошлого и начале нынешнего столетия».

Как же освободиться от рабства? Как уничтожить частную собственность на землю?

Эти вопросы – главные в публицистике Толстого 1900-х годов.

Он по-прежнему уверен, что капиталистический путь не подходит для России. Советует всем людям: и рабочим, и капиталистам – исправлять самих себя, не участвовать в насилии, стремиться к жизненному идеалу – «общению людей, основанному на разумном согласии». Обращаясь ко всем русским людям: правительству, революционерам и народу, Толстой утверждает: «Для того, чтобы положение людей стало лучше, надо, чтобы сами люди стали лучше», как для того, чтобы согрелся сосуд воды, надо, чтобы все капли его согрелись.

Для улучшения всей общественной жизни нужно «личное усилие», а не изменение внешних форм: «Чем выше в религиозно-нравственном отношении будут люди, тем лучше будут те общественные формы, в которые они сложатся...»

Как справедливо сказано в книге М. Б. Храпченко, «от идей возрождения человека Толстой приходит к принципам обновления жизни общества в целом, освобождения человечества от современного рабства, от власти частной собственности. Средства уничтожения общественного зла, предлагавшиеся писателем, были явно утопичными, но его анализ социальной жизни отличался необыкновенной проницательностью. Толстой отвергал революционный путь уничтожения несправедливой власти господствующих классов, революционный путь создания нового общества, но он не только видел неизбежность крушения старого порядка, не только горячо обличал его, но и страстно верил в торжество подлинно человеческих принципов жизни». [32]

В год первой русской революции Толстой работает над статьями, где мечтает рассказать людям, как они могут стать счастливыми. По легенде, услышанной еще в детстве, счастье людей зависит от той доброй тайны, которая написана на зеленой палочке; палочка зарыта на краю обрыва (именно там Толстой завещал похоронить его)? Обращаясь от легенды к действительности, он выдвигает два главных, с его точки зрения, требования: в области экономической – освобождение земли от права собственности, в области политической – уничтожение «всякого насильнического правительства» («Об общественном движении в России»). Тут особенно важно слово «насильническое». Толстой вовсе не был анархистом; он был уверен, что народ, освободившись от «разбойнических» форм правления, сам устроит свою жизнь и найдет нужные формы этого нового устройства.

Владение землею – «великий грех». Так названа одна из статей 1905 г., где, оценивая происходящие события, Толстой пишет: «Россия переживает важное, долженствующее иметь громадные последствия время».

Он по-прежнему думает, что земледельческая Россия всегда останется страной мелких крестьянских тружеников, лишь наделенных землею. «Разрешение этого великого, всемирного греха, разрешение, которое будет эрой в истории человечества, предстоит именно русскому, славянскому народу, по своему духовному и экономическому складу предназначенному для этого великого, всемирного дела».

«Великое историческое призвание» русского народа Толстой видит в том, что он «укажет другим народам путь разумной, свободной и счастливой жизни вне промышленного, фабричного, капиталистического насилия и рабства».

Слова звучат как пророчество.

Но, идеалист и утопист в самых глубоких основах своего мирозерцания, Толстой продолжает спорить с историей и теми действительными путями, которые она пролагала в России. Освобождение земли могло прийти только через революцию. Толстой же «единственным возможным решением земельного вопроса» и в 1906 г. выдвигает теорию американского экономиста Генри Джорджа, предлагавшего ввести «единый» прогрессивный налог на землю. Между тем еще раньше, в статье «Рабство нашего времени», он сам высказывал основательные (и справедливые) сомнения в том, что таким образом можно освободить людей от рабства.

В 1905 г., в самый разгар революционных событий начала века, Толстой пишет В. В. Стасову: «Я во всей этой революции, состою в звании, добро и самовольно принятом на себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую» (т. 76, с. 45).

Он по-прежнему обличает жестокость и неразумие правительства, высоко оценивает самоотверженность революционеров, но мечтает, вопреки совершающимся событиям, убедить правящие классы добровольно отказаться от власти и связанного с нею «греха», а революционеров и народ отвлечь от «насильственных» действий.

Под натиском революционных событий 1905–1907 гг. «крепостная, пребывавшая в медвежьей спячке, патриархальная, благочестивая и покорная Россия совлекла с себя ветхого Адама». [33] В статье «К оценке русской революции» Ленин писал: «Наше крестьянство создало в первый же период русской революции аграрное движение несравненно более сильное, определенное, политически сознательное, чем в предыдущих буржуазных революциях XIX века». [34] Во время революции 1905 г. «великорусский мужик начал... становиться демократом, начал свергать попа и помещика». [35] Революция потерпела поражение, за нею последовал временный спад революционного движения. Но она всколыхнула крестьянские массы, разбудила их к новой исторической деятельности.

Крестьянство освобождалось от патриархальных взглядов самим ходом экономического развития страны: рост капитализма и пролетаризация крестьянства с неизбежностью разрушали патриархальную феодальную идеологию. В 1908 г. Ленин писал: «В самом крестьянстве рост обмена, господства рынка и власти денег все более вытесняет патриархальную старину и патриархальную толстовскую идеологию». [36]

Начало XX в. ознаменовалось целым рядом революций в странах Востока, на «неподвижность» которых ссылался Толстой. Исторические события со всей очевидностью свидетельствовали, что «1905 год был началом конца «восточной» неподвижности. Именно поэтому этот год принес с собой исторический конец толстовщине, конец всей той эпохе, которая могла и должна была породить учение Толстого...». [37]

Самыми разнообразными путями доходили до Толстого вести о волнениях в среде многомиллионного крестьянства. В Ясной Поляне бывали теперь крестьяне, для которых, по словам самого Толстого, «недаром прошла революция». В Дневнике 1910 г. он записал: «Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидел несправедливость своего положения. Это – сказка о царе в новом платье. Ребенком, который сказал то, что есть, что царь голый, была революция» (т. 58, с. 24).

Жестокая расправа с революционерами и еще большее закабаление народа приводят Толстого, вопреки его отрицанию всякого насилия, к выводу: «Мучительное чувство бедности, – не бедности, а унижения, забитости народа. Простительна жестокость и безумие революционеров» (т. 57, с. 82).

С особенной, потрясающей силой начинает звучать голос Толстого, обличающего правительственную расправу с народом.

Всех людей Толстой–проповедник призывает усвоить «религиозное сознание», «любить друг друга», хотя с мучительной ясностью сознает, что «закон насилия» торжествует. В 1909 г. в Дневнике появляется горькая запись: «Главное же, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и пр.» (т. 57, с. 200).

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1

Его пугает бешеный рост милитаризма во всех европейских «цивилизованных» странах, и в 1909 г. он, 81-летний старец, собирается поехать на Стокгольмский конгресс мира, приготовив специальный доклад. Сторонникам мира он намеревался сказать: «Мы собрались здесь для того, чтобы бороться против войны... Как ни ничтожны могут показаться наши силы в сравнении с силами наших противников, победа наша так же несомненна, как несомненна победа света восходящего солнца над темнотою ночи».

В эти годы могучий голос Толстого-публициста звучит не в одной России, а во всем мире, повсюду обличая несправедливость, насилие, жестокость. Судьба абиссинцев, буров, индусов, борющихся с колониальным гнетом, волнует его не меньше, чем положение русского народа. Люди из разных стран обращаются к яснополянскому мыслителю и проповеднику, мечтая о нравственной поддержке, защите, словах утешения и правды.

В жизни самого Толстого непереносимой остроты достигает стыд от мучительного несоответствия своей жизни в барской усадьбе с исповедуемым идеалом.

В уходе из Ясной Поляны осенней ночью 1910 г. сошлось много сложных причин – общественных, семейных, личных. Но главная причина состояла в том, что Толстой желал остаток жизни провести так, в таких условиях, в каких постоянно находится рабочий народ.

Незадолго до ухода он записал в Дневнике, обращаясь к ненавистным эксплуататорам: «Они (народ) растение, а вы вредные, ядовитые наросты на нем. Они знают, что придет время, потому что рано или поздно он дождется или добьется своего» (т. 57, с. 267).

Эта вера в народ и его будущее освещает внутренним светом всю публицистику Льва Толстого.

Комментарии к произведениям

О жизни. Философский трактат «О жизни» был отпечатан в 1888 г. московской типографией А. И. Мамонтова, но книга была запрещена и уничтожена цензурой. Уцелело лишь три экземпляра.

Сам Толстой считал «О жизни» одной из главных своих книг. В октябре 1889 г. на вопрос географа и литератора В. В. Майнова он ответил: «Вы спрашивали, какое сочинение из своих я считаю более важным? Не могу сказать, какое из двух: «В чем моя вера?» или «О жизни» (т. 64, с. 317).

Подобно тому как «Исповедь» и «В чем моя вера?» воплотили принципы религиозно-нравственного учения Толстого, как оно сложилось после перелома в мировоззрении, а трактат «Так что же нам делать?» – социальные и эстетические его взгляды, в трактате «О жизни» сформулированы философские основы мирозерцания. Первоначально сочинение было озаглавлено «О жизни и смерти»; по мере развития общей концепции Толстой пришел к убеждению, что для человека, познавшего смысл жизни в исполнении высшего блага – служении нравственной истине, смерти не существует. Человека освобождает от смерти духовное рождение. Он вычеркнул слово «смерть» из названия трактата.

Истоки книги – в тех напряженных размышлениях о жизни и смерти, которые всегда занимали Толстого и обострились во время тяжелой болезни осенью 1886 г. Тогда же он получил письмо на эту тему от А. К. Дитерихс (ставшей вскоре женой В. Г. Черткова). 4 октября 1886 г. Толстой сообщил Черткову: «От Анны Константиновны давно уже получил длинное хорошее письмо и вместо того, чтобы коротко ответить, начал по пунктам на все ее мысли. А так как одна из мыслей была о жизни и о смерти, то, о чем я так много заново думал, то и начал об этом и до сих пор все пишу, т. е. думаю и записываю» (т. 85, с. 389).

Писание трактата «О жизни» превратилось в продолжительный, напряженный и увлеченный труд (сохранилось восемь папок, включающих 2237 листов рукописей и корректур).

В марте 1887 г. Толстой прочитал свой философский реферат в московском Психологическом обществе, где председательствовал знакомый ему молодой профессор – Н. Я. Грот. В то же время он заметил в одном из писем: «Хочется и надеюсь выразить совсем просто и ясно, что жизнь есть совсем не та путаница и страдания,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy которые мы себе представляем под этим словом, а нечто очень простое, ясное, легкое и всегда радостное» (т. 64, с. 28). «Месяца полтора ни о чем другом не думаю ни днем ни ночью... – написал Толстой тогда Черткову. – Работаю для себя и для других: себе наверное многое уяснил, во многом себя утвердил и потому надеюсь, что хоть немного также подействует и на некоторых других» (т. 86, с. 42). Он надеялся, что его книга «прибавит счастья людям»: «Видите, какие гордые мысли. Что делать, они есть и они-то поощряют к работе» (т. 64, с. 32).

Уехав в 1887 г., раньше обычного, 31 марта, из Москвы в Ясную Поляну, Толстой продолжал работать над трактатом, уже решив, что будет печатать его не в журнале, а отдельной книгой. Много заботится он об изложении, его простоте – «чтобы Тит понял. И как тогда все сокращается и уясняется. От общения с профессорами многословие, труднословие и неясность, от общения с мужиками сжатость, красота языка и ясность» (т. 84, с. 25).

В апреле с рукописью Толстого познакомился художник Н. Н. Ге. Толстому он написал: «Я прочел о жизни и смерти, все там до того верно, что я иначе не мог думать и многое буквально говорил сам. Это у вас восторг! Это сама правда! Не думать так нельзя» («Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка». М. – Л., 1930, с. 99). Такое же сильное впечатление произвели мысли Толстого на И. Е. Репина, посетившего Ясную Поляну 9–16 августа 1887 г.: «Как бы я желал прочесть ваши мысли «О жизни». Я тогда только разохотился перед самым отъездом... Как какой-то необыкновенно чистый, разительный сон...» («И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей». М. – Л., 1949, с. 14).

Работа над книгой «О жизни» приносила Толстому душевное спокойствие и удовлетворение. 20 мая он написал Н. Н. Страхову: «Человек обязан быть счастливым. Если он не счастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранил этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберешься неразрешимых вопросов: и зачем я на свете, и зачем весь мир? и т. п. А если счастлив, то «покорно благодарю и вам того же желаю», вот и все вопросы» (т. 64, с. 48). Оказавшись летом 1887 г. в Ясной Поляне, Н. Н. Страхов тоже прочитал рукопись книги и затем поделился впечатлением со своим другом, поэтом А. Н. Майковым: «Писание Л. Н. привело меня в восхищение; оно не только важно по мыслям, не только написано с тою заразительною задумчивостью и простотою, с которою только он умеет писать, но и свободно от преувеличений, беспорядка, непоследовательности, которые так у него обыкновенны в его прозе. В сентябре он думает его напечатать, разогнав на требуемые 10 печатных листов; [38] в нем нет ничего нецензурного – но тут наверное рассчитывать, конечно, трудно» («Русская литература 1870–1890 годов». Свердловск, 1977, с. 138–139).

Против обыкновения, Толстой работал над трактатом все лето. 3 августа 1887 г. – дата окончания, проставленная в рукописи.

Работа над корректурами заняла еще три месяца, но уже в сентябре возникли опасения, что книгу не пропустят. Так оно и случилось, хотя в корректуре Толстой смягчил некоторые выражения. Духовную цензуру не удовлетворил главный смысл трактата «О жизни»: утверждение законов разума, совести – взамен религиозных доктрин. В апреле 1888 г. синод подтвердил решение московского духовно-цензурного комитета. Архиепископ херсонский Никанор, читавший книгу по поручению синода, написал в частном письме Н. Я. Гроту: «Мы без шуток собираемся провозгласить торжественную анафему... Толстому» («Н. Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах». СПб., 1911, с. 330).

«Жизнь есть любовь, и нет другой жизни, стоящей этого названия, – какая тема! А они – запретили вашу книгу», – огорчился Н. Н. Страхов в письме к Толстому («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., 1914, с. 372).

Еще в ноябре 1887 г. С. А. Толстая начала переводить «О жизни» на французский язык; издание появилось в Париже в 1889 г. Переведенная Изабеллой Хэпгуд, книга была напечатана в 1888 г. в Нью-Йорке, а затем появилась на датском, немецком, чешском и других языках. В России отрывки (с изъятием мест о Христе, тюрьмах, бомбах и т. п.) удалось напечатать в № 1–6 за 1889 г. петербургской газеты «Неделя». Полное русское издание выпустил в Женеве М. Элпидин (1891). В Собрание сочинений Толстого трактат вошел лишь в 1913 г. (т. XIII, изд. П. И. Бирюкова).

Благодаря книге «О жизни» Толстой познакомился с известным американским

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1 общественным деятелем и литератором Эрнестом Кросби. Служа в Александрии (Египет) представителем Соединенных Штатов Америки в международном суде, Кросби прочел французский перевод, написал Толстому взволнованное письмо, а в 1894 г. посетил его в Ясной Поляне. «Книга «О жизни» помогла ему жить», – отмечено в Дневнике Толстого 27 мая 1891 г.

Пора опомниться! Статья явилась заключением к брошюре американского священника, бывшего профессора химии Л. П. Пакина «О вреде спиртных напитков», изданной «Посредником» в самом конце 1888 или начале 1889 г.

Борьба с пьянством – и в народе, и в интеллигентной среде – составляла одну из важных задач в программе изданий «Посредника». В 1887 г. по инициативе Толстого было создано общество трезвости. Тогда же Толстой составил обращение к желающим вступить в общество – «Согласие против пьянства» (т. 90, с. 132) и первым подписал его.

Перевод брошюры Пакина (сделанный с французского языка) Толстой изменял, дополнял в рукописи и корректурах. В письмах к В. Г. Черткову от 8 и 9 февраля 1888 г. он рассказывал об этой работе. Написанное Толстым заключение потом перепечатывалось в виде отдельной статьи – в составе других сборников (например, «Грех и безумие пьянства». М., 1890).

Работая над брошюрой о вреде пьянства, Толстой писал художникам – И. Е. Репину и Н. Н. Ге, прося о рисунках: «...хочется под корень взять. Вот огромной важности предмет» (т. 64, с. 145–146).

В начале 1889 г. с призывом отказаться от вина Толстой обратился к студенческой молодежи, напечатав статью «Праздник просвещения 12-го января» (появилась в так называемый Татьянин день, отмечаемый ежегодно как день основания Московского университета).

5 ноября 1889 г. в Дневнике Толстой отметил: «Хотел еще написать к Татьянинному дню статью о том, чтобы празднующие отпраздновали бы учреждением общества трезвости с забранием в свои руки кабаков и трактиров, как в Швеции» (т. 50, с. 173). Этот замысел осуществлен не был, но в 1891 г. написана статья «Для чего люди одурманиваются?» – предисловие к книге доктора П. С. Алексеева «О пьянстве».

О голоде. В 1891 г. многие губернии России поразил голод. Уже летом стали появляться тревожные вести о надвигающемся бедствии. Однако ни правительство, ни земство, ни официальная печать не проявляли беспокойства. В одной из статей августовской книжки консервативного журнала «Русский вестник» сообщалось: «Теперь недород хлебов поразил более десяти губерний, и никому не приходит в голову мысль о непосильности для государства борьбы с голодом... Печать исполняет свою обязанность, спокойно обсуждая меры необходимой помощи». Либерально-народническая «Русская мысль» так же «спокойно обсуждала меры необходимой помощи» и все свои упования и надежды возлагала на «чуткость» правительства. «Русские ведомости», в свойственном им тоне «умеренности», тоже старались не «пугать» общественное мнение надвигающимся голодом и горячо протестовали против запрещения вывоза хлеба за границу. Даже в ноябре 1891 г., когда многие губернии охватил жесточайший голод, «Русская мысль» оптимистически утверждала: «Итак, нет причины отчаиваться и опускать руки; пусть только пойдут широким руслом частные пожертвования – и наиболее острый кризис без особого труда будет осилен».

У Толстого первое упоминание о голоде – в Дневнике 25 июня: «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно! Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие – высказаться, или страх; но добра нет» (т. 52, с. 43).

Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, возглавлялись помещиками и интеллигентами, настроенными либерально, а часто и консервативно. Они не только не требовали от правительства серьезной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами сокращали «едоков» – число крестьян, нуждающихся в продовольственной и денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1 преувеличенными или излишними и эти урезанные требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней.

Эти бесполезные разговоры о помощи голодающим, малозначащие средства помощи и вызвали возмущение Толстого. Зная глубоко и точно жизнь русской деревни, он понимал, что голод – не случайность, произошедшая от неурожая, а неизбежное и, в сущности, постоянное бедствие, что хищническим хозяйничаньем: помещиков и капиталистов крестьяне доведены до крайней нужды и разорения.

В 1902 г. в статье «Признаки банкротства» В. И. Ленин писал: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности... С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой... Государственный строй, искони державшийся на пассивной поддержке миллионов крестьянства, привел последнее к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не в состоянии прокормиться» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 278–279).

В июле, отвечая Н. С. Лескову на его вопрос, что ему делать для борьбы с голодом, Толстой советовал: «...написать то, что тронуло бы сердца богатых». Сам он уже тогда мечтал «написать такое» (т. 66, с. 12). В сентябре он отправился по голодающим деревням, пришел к несомненному убеждению, что надо спасти народ, устраивая бесплатные столовые, а 26 сентября, вернувшись в Ясную Поляну, начал обличительную статью «О голоде». Работа продолжалась, с небольшими перерывами, всю первую половину октября. 8 октября в одном из писем о статье сказано так: «...выходит совсем не о голоде, а о нашем грехе разделения с братьями. И статья разрастается, очень занимает меня и становится нецензурною» (т. 66, с. 52). 15 октября рукопись была отправлена Н. Я. Гроту для помещения в журнале «Вопросы философии и психологии». 24 октября на номер журнала, где была набрана статья, московская цензура наложила арест.

Резко критикуя социальный строй, обрекающий деревенских тружеников на голод и вымирание, нарисовав потрясающие картины народных бедствий (позднее они будут повторены в романе «Воскресение»), Толстой и эту статью закончил морализаторским обращением к богатым людям: добровольно отказаться от своих кастовых привилегий, прийти к своим «братьям» с раскаянием и любовью, выдвинув вновь проповедь нравственного самоусовершенствования как средство решения общественных проблем.

17 ноября Н. Я. Грот сообщил С. А. Толстой, что во все газеты разослан приказ от Главного управления по делам печати не публиковать ни одной статьи Толстого. Сам Толстой находился в это время в Бегичевке Рязанской губернии, занимаясь организацией помощи голодающим. Тот же Грот написал 21 ноября в Бегичевку о «мерзостях», творящихся в Петербурге вокруг дела о голоде, и называл Толстого «духовным царем», на которого возлагаются все надежды лучших людей России в это трудное время.

Попытку напечатать хотя бы отрывки из статьи «О голоде» предпринял редактор газеты «Неделя» П. А. Гайдебуров. В январском номере «Книжек Недели» за 1892 год они появились под названием «Помощь голодным».

Полностью статья напечатана впервые на английском языке – в лондонской «Daily Telegraph» 14(26) января 1892 г. под заглавием «Почему голодают русские крестьяне». Для перевода на английский, французский и датский языки Толстой просил отдать статью еще 25 ноября, надеясь, что, опубликованная за границей, она будет в обратном переводе перепечатываться русскими газетами.

Реакционные «Московские ведомости» перепечатали 22 января 1892 г. выдержки из статьи, но сопроводили их своим «комментарием», обвинив Толстого в пропаганде социализма (см. выше, с. 256).

Советник при министре иностранных дел В. Н. Ламздорф отметил в эти дни в своем дневнике, что газеты получили распоряжение не перепечатывать статьи Толстого из «Московских ведомостей» и не помещать никаких комментариев: «Со всех сторон просят этот номер на прочтение; его нельзя приобрести ни за какие деньги; говорят, в Москве за номер этой газеты предлагают до 25 рублей». 31 января тот же Ламздорф записал, что «прокламации, захваченные на днях, находились в прямой связи с мыслями, высказанными Толстым. Это доказало действительную опасность

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stou1 письма. В связи с этим в городе было произведено несколько обысков» (В. Н. Ламздорф. Дневник. М. – Л., 1934, с. 248, 254, 261).

Либерально настроенный Н. Я. Грот, собиравшийся раньше печатать в редактируемом им журнале статью Толстого, написал ему 30 января, что «весь Петербург уже целую неделю только и говорит», что про статью о голоде: «Все богатые тунеядцы раздражены против вас донельзя». «Но надо сказать, – добавлял Грот, – что и вы виноваты немножко. Ваши письма все-таки полны раздражения, злобы и презрения к богачам... Вы... когда пишете то не спокойны вполне и даете направо и налево пощечины» (ГМТ).

Вынужденный послать письмо в «Правительственный вестник» (об искажениях в тексте его статьи вследствие двукратного перевода), Толстой просил ничего не изменять в этом обращении. «Всякое слово я обдумал внимательно и сказал всю правду и только правду», – писал он 12 февраля 1891 г. (т. 84, с. 118).

Глубокой правдой статьи «О голоде» восхищался В. В. Стасов, представитель передовых кругов русского общества: «В статье были такие чудные картины крестьянского житья-бытья, крестьянских бед, нехваток и т. д., что я был в великом восхищении» (письмо Стасова к С. А. Давыдовой. – «Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову». Сборник воспоминаний. СПб., 1906, с. 105).

Ходившая по рукам запрещенная статья, другие статьи Толстого о голоде, печатное обращение С. А. Толстой вызвали большой приток пожертвований: до весны 1892 г. была получена 141 тысяча рублей, а также продовольствие, одежда.

Пожертвования шли не только из разных концов и от разных лиц России, но также из-за границы. 4 ноября 1891 г. было отправлено благодарственное письмо издателю Ануину Фишеру, который просил Толстого быть доверенным лицом и посредником между руководителями сбора пожертвований в Англии и организациями в России, оказывающими помощь голодающим: «Я очень тронут тою симпатией, которую выражает английский народ к бедствию, постигшему ныне Россию. Для меня большая радость видеть, что братство людей не есть пустое слово, а факт» (т. 66, с. 76).

В Соединенных Штатах Америки также был организован сбор средств, деятельное участие в нем принимала переводчица Изабелла Хэпгуд. 19 ноября Толстой сообщил В. В. Рахманову, что из Америки отправлены в Россию семь пароходов, груженных кукурузой. 13 (25) января 1892 г. Мак Рив, секретарь Комитета мировой торговли штата Миннесота, сообщал Толстому об организации среди мукомолов Америки сбора пожертвований мукой.

Стыдно. Статья напечатана (с большими искажениями и сокращениями) 28 декабря 1895 г. в петербургской газете «Биржевые ведомости». Полностью – в «Листках Свободного слова», 1899, № 4 (Лондон). В 1911 г. вошла в Собрание сочинений Толстого.

В последние 25 лет жизни к Толстому часто обращались разные люди – из России и многих стран мира – за нравственной и материальной поддержкой, с рассказами о невзгодах и духовных сомнениях, с просьбами о заступничестве. Многие публицистические выступления Толстого явились откликами на эти обращения.

22 апреля 1895 г. сельские учителя каневского уезда Киевской губернии В. Ю. Шимановский, С. Т. Губернарчук и Д. Е. Гунько направили Толстому возмущенное письмо о телесных наказаниях людей «крестьянского сословия». Сам Толстой не раз выражал в печати негодование тем, что трудовые люди, крестьяне подвергаются позорному наказанию – за любую провинность и в особенности за неповиновение властям. В сентябре 1892 г., по дороге в Бегичевку, на станции Узловая он встретился с экстренным поездом карательной экспедиции тульского губернатора, ехавшей «усмирять» крестьян села Бобрики. Крестьяне воспротивились порубке их леса помещиком, и теперь 400 солдат в боевом снаряжении и с розгами направлялись в село. Встреча произвела на Толстого мучительно тяжелое впечатление, и он выразил свое гневное чувство в XII главе трактата «Царство божие внутри вас», над которым тогда работал. О позорности и преступности самого права телесного наказания он писал в статьях о голоде, в частности – в 1893 г. в «Заключении к последнему отчету о помощи голодающим». Вопрос для него был ясен, отношение много раз высказано. Но 7 декабря 1895 г. в Дневнике отмечено: «Вчера написал статейку о сечении... Лег спать днем и только забылся, как будто толкнул кто,

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой поднялся и стал думать о сечении и написал» (т. 53, с. 72). В этом первом варианте статья была озаглавлена «Поругание человеческого достоинства». Потом заглавия менялись: «Возвращение к звериному образу», «Озверение русского общества», «Странный вопрос», «Одичание», «Декабристы и мы», пока, наконец, не появилось «Стыдно». Начиная с первого и до самого последнего варианта статья открывалась воспоминанием о Семеновском полке, о декабристах. Нет никакого сомнения в том, что работа над статьей началась потому именно в декабре 1895 г., что Толстой вспомнил о «лучших русских людях», которые семьдесят пять лет тому назад в своих полках отказались от телесного наказания солдат, заслужили их уважение и любовь, а в декабре 1825 г. вышли вместе с ними на Сенатскую площадь. 14 декабря 1895 г. – дата окончания, проставленная автором; но, судя по сохранившимся рукописям, работа продолжалась и во второй половине декабря. Своей статьей Толстой напоминал о годовщине декабрьского восстания.

Статья произвела большое впечатление на читающую Россию. Толстой получал благодарственные письма. 28 декабря (в день публикации статьи) бывший студент Харьковского ветеринарного института И. Ф. Лебединский (раньше писавший Толстому об истязаниях, которым он подвергся в полиции) благодарил за статью «Стыдно». Толстой ответил: «Я ненавижу так же, как и вы, то устройство, при котором возможны те насилия, которым вы подверглись, и все силы свои употребляю, не скажу – на борьбу с ним – это цель слишком частная, – а на деятельность, долженствующую разрушить это устройство и заменить его новым... Средство уничтожить это и всякое другое зло – в том, чтобы общественное мнение казнило презрением людей, подающих руку правительству в таких делах» (т. 69, с. 38–39).

В печати на статью откликнулся писатель А. И. Эртель. Он полагал, что Толстой не прав, когда пишет о нравственном падении русского общества сравнительно с началом XIX века и отрицает в борьбе со злом «путь прошений, заявлений и адресов». Вместе с тем Эртель утверждал, что толстовское «авторитетное слово, к которому привык прислушиваться весь цивилизованный мир, возымеет в деле освобождения русского народа от развращающего влияния телесного наказания отнюдь не меньшую силу, чем многочисленные ходатайства комитетов и земских собраний» («Неделя», 1896, № 3, 21 января).

Голод или не голод. Статья напечатана (с многочисленными сокращениями) в газете «Русь», 1898, № 4 и 5 от 2 и 3 июля. Отрывки появились в периодическом сборнике «Свободное слово», 1898, № 1 (издаивался в Англии В. Г. Чертковым и П. И. Бирюковым); полный текст – в № 12 того же сборника.

В 1898 г. в России вновь разразился голод. Снова повторилось то, что было в 1891–1892 гг., лишь с той разницей, что царское правительство, напуганное ростом революционного движения, особенно настойчиво пыталось доказать, что голода нет, и усилило преследование тех, кто пытался организовать помощь народу. Голод 1898 года особенно наглядно доказал «одну старую истину», о которой в 1901 г. В. И. Ленин писал в статье «Борьба с голодающими»: «...полицейское правительство боится всякого соприкосновения с народом сколько-нибудь независимой и честной интеллигенции, боится всякого правдивого и смелого слова, прямо обращенного к народу, подозревает – и подозревает совершенно справедливо, – что одна уже забота о действительном (а не мнимом) удовлетворении нужды будет равносильна агитации против правительства, ибо народ видит, что частные благотворители искренне хотят ему помочь, а чиновники царя мешают этому, урезают помощь, уменьшают размеры нужды, затрудняют устройство столовых и т. д.» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, с. 283).

Именно эти вопросы: хронически бедственное положение народа, взаимоотношения сочувствующей народу части общества и царской администрации – главные в статье «Голод или не голод?».

Работа над статьей проходила в мае – июне 1898 г., после того как завершилась практическая деятельность Толстого и его помощников по организации помощи голодающим. Толстой очень хотел, чтобы статья появилась в «Санкт-Петербургских ведомостях», – «государь, говорят, читает их» (т. 71, с. 370). Он сознательно не заострял текст (в одном из писем статья названа «слишком робкой»), но все равно появиться в официальном органе статья не могла ни в каком виде и с большим трудом В. П. Гайдебурову удалось поместить отрывки из нее в своей умеренно-либеральной газете «Русь».

Царю и его помощникам. Статья была опубликована в Лондоне в «Листках Свободного слова» (1901, апрель, № 20).

Заметки к задуманному обращению «Царю и его помощникам» Толстой начал делать еще в сентябре 1900 г. В конце ноября того же года ему довелось прочитать рукопись статьи М. П. Новикова «Голос крестьянина». В Дневнике записано: «...получил сильное впечатление: вспомнил то, что забыл:—жизнь народа: нужду, унижение и наши вины. Ах, если бы бог велел мне высказать все то, что я чувствую об этом» (т. 54, с. 65). Тогда же в записной книжке появились новые заметки к обращению.

В марте 1901 г. возникли крупные студенческие волнения, на площади у Казанского собора в Петербурге произошло избиение демонстрантов. Толстой написал приветственный адрес «Союзу писателей», закрытому за протест против этой расправы, отправил сочувственное письмо кн. Л. Д. Вяземскому, пытавшемуся остановить действия полиции и высланному из Петербурга. В письме того времени к В. Г. Черткову он так расценил совершающиеся события: «Самое замечательное в этом движении то, что народ на стороне студентов, или, скорее, на стороне выражения неудовольствия» (т. 88, с. 226). Верный своему учению о непротивлении злу насилем, Толстой полагал, что «надо соединяться не во имя вражды, а во имя взаимной любви» (там же); но требования студентов и угнетенного народа считал справедливыми, а расправу правительства с ними – бесчеловечной и бессмысленной. Более того: он считал, что обязан сформулировать и со своей стороны предъявить эти требования: в одной из рукописей статья озаглавлена «Желания народа».

В Дневнике 19 марта 1901 г. отмечено, что именно «студенческие истории, принявшие общественный характер», заставили «написать обращение к царю и его помощникам и программу» (т. 54, с. 90). Противоречия Толстого–публициста, гневно бичующего пороки социального строя, и Толстого–философа, ищущего всеобщего примирения, выразились в его утопической надежде, что «царь и его помощники» поймут безысходность существующего положения, справедливость народных требований и удовлетворят их добровольно, без кровопролития и борьбы. 15 марта 1901 г. – дата, проставленная под обращением «Царю и его помощникам». На другой день была начата статья «Чего желает прежде всего большинство людей русского народа» (осталась неоконченной, но была использована для обращения и послужила истоком другого публицистического выступления 1901 г. – статьи «Единственное средство», которую Толстой называл «народной программой»).

26 марта обращение «Царю и его помощникам» было направлено Николаю II, великим князьям и министрам. Ответа не последовало, а публикация письма–статьи в России была строго запрещена. Но широкое распространение получили литографированные и гектографированные списки. Толстой отметил по этому поводу с удовлетворением в записной книжке: «Напечатано сотни «Царю» (т. 54, с. 244). С одного из таких списков П. И. Бирюков напечатал обращение в Женеве, в приложении к журналу «Свободная мысль». Включенное в 1911 г. в Собрание сочинений, оно было изъято из уже отпечатанного тома. В России статья появилась лишь в 1917 г. (книгоиздательство «Звезда»), а затем перепечатано в книге «Лев Толстой и русские цари» (М., изд-во «Свобода и Единение», 1918).

Отмечая в статье «Карл Маркс и Лев Толстой» (1911) «огромную гражданскую заслугу» Толстого–публициста, Г. В. Плеханов ссылаясь на обращение «Царю и его помощникам», хотя критически цитировал заключительные строки, где содержится обращение «ко всем лицам, имеющим власть», не как к людям другого лагеря, а как «к невольным единомышленникам, сотоварищам нашим и братьям». «Это была правда, всей глубины которой не подозревал сам гр. Толстой». По мнению Плеханова, Толстой «был не только сыном нашей аристократии, он долго был ее идеологом, – правда, не во всех отношениях» (Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. 2. М., 1958, с. 406). Лишь в статьях В. И. Ленина были указаны действительные корни исторических иллюзий Толстого: «В нашей революции меньшая часть крестьянства действительно боролась, хоть сколько–нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей», – совсем в духе Льва Николаича Толстого!» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 211).

Ответ на определение синода от 20–22 февраля и на полученные мною по этому

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1
случаю письма. Статья была опубликована в «Листках Свободного слова» (1901, № 22, Лондон). С пропуском резких мест перепечатана церковным журналом «Миссионерское обозрение» (1901, № 6, Петербург).

«Определение святейшего синода» об отлучении Толстого от церкви появилось в «Церковных ведомостях» 24 февраля 1901 г., а на другой день почти все газеты вышли с полным текстом этого определения на первых полосах.

Причина отлучения кроется не только в том, что всевластный обер-прокурор синода Победоносцев узнал себя в мрачной фигуре Топорова из романа «Воскресение».

В течение двух десятилетий, предшествующих отлучению, звучал обличительный голос Толстого.

Православная церковь вступила в единоборство с Толстым именно из-за того, что сам он был отважным борцом за права угнетенного народа, за освобождение его от всякого рабства. Актом отлучения верховные служители церкви едва ли надеялись запугать и усмирить писателя. «Святейший синод» рассчитывал, что удастся подорвать авторитет Толстого, унижить его и тем ослабить его мощное воздействие на умы современников. Рассчитывали скомпрометировать личность защитника, чтобы подорвать его дело.

Начиная с 1899 г. в стране возникла революционная ситуация. Россия и ее народ быстро шли к первой своей революции. Страх перед революцией заставлял царское правительство совершать один безумный акт за другим: отлучать всемирно известного писателя, гордость русской литературы от церкви, начинать бессмысленную войну на Дальнем Востоке и т. п.

Впрочем, отлучение было проведено с некоторой робостью и неуверенно. Как свидетельствуют документы, торжественное анафемствование Толстого не провозглашалось с амвонов православных церквей ни в 1901 г., ни позднее. Прежде всего потому, что личная анафема, т. е. упоминание имен «грешников», была отменена в России задолго до 1901 г. Кроме того, с редактированием и публикацией текста отлучения церковники намеренно медлили и пропустили тот день (единственный в году), когда полагалось возглашать анафему (см.: Г. И. Петров. Отлучение Льва Толстого от церкви. М., «Знание», 1978). В рассказе А. И. Куприна «Анафема» некоторые эпизоды следует отнести, таким образом, к области художественного вымысла.

Но «Определение синода» существовало. Оно было напечатано и действовало, оно читалось с амвонов, входило в церковные проповеди. Оно было рассчитано на то, что пробудит ненависть к Толстому не только у кучки мракобесов, но и у множества простых русских людей. Когда в последующие после 1901-го годы анафема (общая, всем грешникам) возглашалась в церквях, в числе отступников подразумевался и Лев Толстой.

Но злобные выпады черносотенцев потонули в море сочувственных откликов.

В Петербурге, на XXIV Передвижной выставке, около портрета Толстого (работы И. Е. Репина) было множество цветов и собиралось особенно много людей. 25 марта «студент стал на стул и утыкал букетами всю раму... Потом стал говорить хвалебную речь, затем поднялись крики «ура», с хор посыпался дождь цветов; а следствием всего этого то, что портрет с выставки сняли и в Москве он не будет, а тем более в провинции» (С. А. Толстая. Дневники в 2-х томах, т. 2. М., 1978, с. 18).

Присутствовавшие на выставке послали «отлученному» приветственную телеграмму с 398 подписями (доставлена она не была; впоследствии Толстой получил ее по почте). Киевляне направили «величайшему и благороднейшему писателю нашего времени» адрес, где находилось более тысячи подписей. В Полтаве, где шла «Власть тьмы», публика устроила шумную овацию в честь Толстого.

В Музее Л. Н. Толстого до сих пор хранится глыба зеленого стекла, на которой рабочие Мальцевского стекольного завода написали крупными золотыми буквами: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый Лев Николаевич. И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают вас как хотят и от чего хотят фарисеи – первосвященники. Русские люди всегда будут гордиться, считая Вас своим великим, дорогим, любимым».

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
В передовой статье № 3 газеты «Искра» (апрель 1901 г.) говорилось: «На обе безумные выходы зарвавшегося правительства – отдачу студентов в солдаты и торжественное отлучение Толстого – пролетариат громко ответил выражением своей солидарности и с «бунтующими» студентами, и с отлученным писателем».

Свой ответ синоду Толстой начал спустя месяц после публикации отлучения – 24 марта, побуждаемый не столько сочувственными, сколько «увещательными» письмами. 30 марта он известил В. Г. Черткова: «Письма ко мне увещательные от лиц, считающих меня безбожником, вызвали меня к тому, чтобы написать ответ на постановление синода» (т. 88, с. 230). Свой «Ответ» Толстой наполнил новыми обличениями церкви, ее ложного учения, и в то же время он, отрицая всякую борьбу, призывал следовать истинам «очищенного» от церковных обманов христианства. Статья несколько раз дополнялась и переделывалась, закончена была 4 апреля, а на другой день отправлена в Англию Черткову для публикации. В России «Ответ на определение синода» появился в полном виде лишь в 1905 г. – в книге Е. Соловьева (Андреевича) «Л. Н. Толстой». СПб., изд. А. Е. Беляева.

[Воспоминания о суде над солдатом]. Статья написана в 1908 г. – в ответ на просьбу П. И. Бирюкова, работавшего над вторым томом «Биографии Л. Н. Толстого» (первый том уже был издан «Посредником» в 1906 г.). Биографа интересовал, важный факт: защита Толстым в 1866 г. рядового Василия Шабунина, ударившего офицера. Защитительная речь Толстого к тому времени уже неоднократно печаталась (см. т. 37, с. 473–477). Позднее Толстой вспоминал, что расплакался во время этой речи («У Толстого. 1904–1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковидкого». – «Литературное наследство», т. 90, кн. 1. М., 1979, с. 308).

Еще в 1889 г., читая в рукописи воспоминания очевидца казни Шабунина, Н. П. Овсянникова, Толстой отметил в Дневнике: «Написано дурно, но эпизод ужасен в простоте описания – контраста развращенных полковника и офицеров, командующих и завязывающих глаза, и баб и народа, служащего панифиды и кладущего деньги» (т. 50, с. 64).

Работа над статьей начата Толстым 1 мая и закончена 24 мая 1908 г. Бирюков смог напечатать ее во втором томе биографии (М., «Посредник», 1908) лишь с цензурными пропусками. Полностью «Воспоминания о суде над солдатом» напечатаны в 1917 г. в брошюре: Л. Н. Толстой. «Не могу молчать» – и другие статьи о смертной казни, издательством «Единение».

Незаконченное, наброски

[Николай Палкин]. Первый набросок статьи сделан в записной книжке, когда Толстой в начале апреля 1886 г. отправился, вместе с молодыми своими друзьями – М. А. Стаховичем и Н. Н. Ге-сыном, пешком из Москвы в Ясную Поляну. Однажды они ночевали у 95-летнего бывшего солдата, который рассказал, как истязали, прогоняя сквозь строй, солдат во времена царя Николая I, прозванного в народе Палкиным. Сам Толстой никогда не видел наказания шпицрутенами; рассказ николаевского солдата потряс Толстого (в ту же ночь он записал его в своей книжечке) и помнился долго: почти двадцать лет спустя был создан рассказ на ту же тему – «После бала». Работа над статьей продолжалась до начала 1887 г. Во всех черновых редакциях она заканчивалась обращением: «Опомнитесь, люди!»

Напечатать статью в России, конечно, было невозможно. Как сообщает биограф Толстого и его друг П. И. Бирюков, в начале 1888 г. он предложил Толстому издать статью подпольно или за границей. Толстой вначале согласился, но потом раздумал (П. И. Бирюков. Мои два греха. – «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 3. М., 1923, с. 50–53).

Без ведома Толстого копия «Николая Палкина» попала к студенту Московского университета М. А. Новоселову и была нелегально отгектографирована. Новоселов был арестован. Узнав об этом, Толстой отправился к начальнику московского жандармского управления и заявил ему, что преследования за распространение статьи должны быть прежде всего направлены против него как автора. В ответ жандармский генерал Слезкин сказал: «Граф! Слава ваша слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли ее вместить» (Л. П. Никифоров. Воспоминания о Л. Н. Толстом. – «Л. Н. Толстой». Юбилейный сборник. М. – Л., 1928, с. 220). Новоселов был вскоре освобожден, хотя находился год под гласным надзором полиции. С одобрения царя московскому губернатору В. А. Долгорукову было отправлено распоряжение «пригласить к себе гр. Толстого и, сделав ему должное внушение, предложить

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy вместе с тем представить немедленно все имеющиеся у него экземпляры этого издания». Одновременно департамент полиции направил начальнику московского жандармского управления бумагу, где предписывалось, что «никаких следственных действий» по отношению к Толстому как автору статьи «Николай Палкин» «принимать не следует». Через несколько дней последовало уже «совершенно конфиденциальное сообщение» московского генерал-губернатора министру внутренних дел, что он пытался исполнить приказание «через посредство» В. К. Истомина (управляющий канцелярией генерал-губернатора, знакомый с Толстым лично), но Толстой «прибыть добровольно для объяснений» отказался. От себя Долгоруков добавил: «Думаю, помимо высокого значения его таланта, что всякая репрессивная мера... окружит его ореолом страданий и тем будет наиболее содействовать распространению его мыслей и учения». Министр в свою очередь доложил дело Александру III, после чего пометил: «Высочайше поведено принять к сведению» («Дело департамента полиции о писателе гр. Л. Н. Толстом». – «Былое», 1918, № 9, с. 212–215).

Первым печатным изданием «Николая Палкина» оказалось женеvское издание М. К. Элпидина, выпущенное в 1891 г. В 1899 г. В. Г. Чертков издал статью в Англии, открыв ею антимилитаристский сборник, куда вошли еще рассказы «Работник Емельян и пустой барабан» и «Дорого стоит».

В России попытка напечатать статью была сделана в 1906 г., но октябрьскую книжку журнала «Всемирный вестник» конфисковали. Та же участь постигла брошюры, отпечатанные в том же году московской типографией Вильде и петербургским книгоиздательством «Обновление». Первым русским изданием стала брошюра, выпущенная в Петрограде в 1917 г. (издание подготовлено В. И. Срезневским по последней авторской рукописи).

Уже после Октябрьской революции статью «Николай Палкин» упомянул (в разговоре с В. Д. Бонч-Бруевичем) В. И. Ленин. Прочитав «Причитания Северного края», собранные Е. В. Барсовым, Ленин сказал о «Плачах завоенных, рекрутских и солдатских»: «Так и вспоминается «Николай Палкин» Толстого и «Орина, мать солдатская» Некрасова. Наши классики несомненно отсюда, из народного творчества, нередко черпали свое вдохновение» (В. Д. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин об устном народном творчестве. – В кн.: «В. И. Ленин в воспоминаниях писателей». М., 1980, с. 282).

Памяти И. И. Раевского. При жизни Толстого статья напечатана не была; опубликована в 1924 г.: «Огонек», № 17 (58) и «Красный архив», т. VI.

И. И. Раевский, один из главных организаторов и ближайших помощников Толстого в деле помощи голодающим крестьянам, умер 26 ноября 1891 г. На другой день Толстой начал некролог. В ночь с 27 на 28 ноября он написал С. А. Толстой в Ясную Поляну: «Ты уж знаешь страшное событие. Мне ужасно жалко его. Я очень, очень его полюбил. И не могу простить себе, что я так не понимал его прежде. Но зато как нам радостно, молодо, восторженно было часто последнее время вместе быть и работать. Я начал было нынче несколько слов о нем написать и хотел напечатать, и потом раздумал. Впрочем, не знаю» (т. 84, с. 105–106).

[Бессмысленные мечтания]. Статья начинается с указания на вызвавшее ее событие: речь вступившего на престол Николая II, обращенная к представителям земства. Толстой в Дневнике 29 января 1895 г. отметил: «Событие важное, которое, боюсь, для меня не останется без последствий, это дерзкая речь государя» (т. 53, с. 4). Выступление царя, отклонившего в резкой форме даже робкие предложения об участии земцев (как представителей народа) в управлении, было расценено Толстым как «необдуманный, дерзкий, мальчишеский поступок».

В те дни к Толстому приезжал прогрессивный журналист и редактор В. А. Поссе – с адресом, составленным группой либеральных ученых и литераторов. Они просили царя о «принятии русской литературы под сень закона... дабы русское печатное слово могло послужить главе, величию и благоденствию России». Прочитав адрес, Толстой сказал: «Такого адреса я подписать не могу... Хуже написать было трудно... Он ничего не может. Так ему и следует написать: «Ты ничего не можешь сделать, пока ты царь. Единственное, что сможешь сделать для народа и для себя, это – отказаться от престола, перестать быть царем» (В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М. – Л., 1929, с. 181).

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Когда либерально настроенная московская интеллигенция собралась для обсуждения протеста по поводу дерзкой речи царя, Толстой 26 января 1895 г. участвовал в этом совещании. Но совещание не привело ни к каким решениям и представилось Толстому «напрасным» (т. 53, с. 4).

Единственным публичным протестом стало упомянутое в статье «Бесмысленные мечтания» анонимное открытое письмо к царю. Оно было напечатано на гектографе в Петербурге и затем распространилось в России и за границей. Когда немецкий журналист Карл Грунский спросил Толстого, не он ли автор, 12 марта был послан ответ: «Письмо Николаю II написано не мною. Письмо очень хорошее. Оно очень верно было передано в немецких газетах. Я не знаю автора письма. Автор же его не я уже потому, что я всегда подписываю то, что пишу» (т. 68, с. 45).

Но мысль о протесте не оставляла Толстого. В тот же день, 12 марта, он сообщал Д. А. Хилкову: «Недавно я совсем было хотел написать письмо Николаю по случаю его речи земствам, но почувствовал, что руководило мною не доброе чувство, а, с одной стороны, раздражение, а с другой, желание вызвать на гонение, – и оставил... Может быть, так и не нужно, а может быть, придет случай и время, когда потребуется» (там же, с. 46).

Мысль о письме царю скоро была оставлена и 27 марта в Дневнике намечен замысел статьи о взаимоотношениях русского общества и царя: «Наследственность царей доказывает то, что нам не нужны их достоинства... Безумие наследственности властителей подобно тому, чтобы вручить управление кораблем сыну или внучатному племяннику хорошего капитана» (т. 53, с. 17–18). Статья была начата 7 мая, но осталась неоконченной.

Впервые опубликована в 1917 г. в газете «Утро России», № 134 и 136 от 1 и 3 июня, под заглавием «Бесмысленные мечтания», данным В. Г. Чертковым (в рукописях Толстого не озаглавлена).

Алфавитный указатель имен и названий[39]
Августин Блаженный Аврелий (354–430), христианский теолог и писатель, родоначальник христианской философии истории – 16: 10.

Агафья, обитательница Ржанова дома – 16: 200, 208.

Александр I Павлович (1777–1825), российский император с 1801 г. – 17: 219, 223, 224, 243.

Александр II Николаевич (1818–1881), российский император с 1855 г. – 16: 407–411, 424, 444–445; 17: 194, 211–213, 258.

Александр III Александрович (1845–1894), российский император с 1881 г. – 17: 233, 256, 282.

Александр Македонский (356–323 до н. э.), полководец, царь Македонии с 336 г. – 16: 39, 40, 42.

Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь с 1645 г. – 16: 161.

Амвросий (Ключарев Алексей Иосифович; род. в 1821 г.), архиепископ Харьковский – 17: 204.

Антонович Максим Алексеевич (1835–1918), литературный критик, публицист, революционный демократ – 16: 51.

Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый – 16: 9, 10, 13, 83, 265, 324; 17: 25.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – 16: 43, 51, 317.

Бернар Сара (1844–1923), французская драматическая актриса – 16: 177.

Берсы, родители С. А. Толстой – 17: 208.

Бетховен Людвиг ван (1770–1827) – 16: 355, 356.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stou1

«Библиотека для чтения», журнал (Петербург, 1834–1865), в 1861–1862 гг. изд. – А. Ф. Писемский – 16: 29.

Бирюков Павел Иванович (1860–1931), писатель, общественный деятель, друг и биограф Л. Н. Толстого – 17: 208, 282.

Биша Мари Франсуа Ксавье (1771–1802), французский анатом, физиолог и врач – 16: 320.

Блохин Григорий, крестьянин – 16: 371, 372, 391.

Бокль Генри, Томас (1821–1862), английский историк и социолог-позитивист – 16: 51, 75, 78, 87, 424; 17: 260.

– «История цивилизации в Англии» – 16: 87, 88, 424; 17: 260.

Бомарше Пьер Огюстен Карон де (1732–1799), французский драматург – 16: 419; 17: 240.

– «Женитьба Фигаро» (Фигаро) – 16: 48, 419.

Бондарев Тимофей Михайлович (1820–1898), крестьянин, философ-самоучка – 16: 371, 443; 17: 252, 253.

– «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца» – 16: 371, 443.

Бруно Джордано Филиппо (1548–1600), итальянский философ и поэт – 16: 315, 355.

Будда (Саккиа-Муни) – имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гуатаме (623–544 до н. э.) – 16: 128, 131–134, 158, 276, 350, 351, 354, 435; 17: 23, 25–27, 77, 135, 253.

Бэкон Фрэнсис (1561–1626), английский философ-материалист – 16: 13; 17: 25.

Бюхнер Людвиг (1824–1899), немецкий врач, естествоиспытатель и философ – 16: 51.

Вагнер Рихард (1813–1883), немецкий композитор, дирижер – 16: 335.

Ваня, трактирный слуга – 16: 183, 184, 203.

Василий Великий (Василий Кесарийский; ок. 330–379), церковный деятель, теолог и писатель – 16: 325.

Вергилий (Виргилий) Марон Публий (70–19 до н. э.), римский поэт – 16: 10.

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778), французский писатель, философ, историк – 16: 107, 430; 17: 161.

«Воспитание», педагогический журнал (Петербург и Москва, 1860–1863 гг.) – 16: 29, 30, 58, 418.

«Время», литературный и политический журнал (Петербург, в 1861–1863 гг. изд. М. М. Достоевским) – 16: 29, 81, 414.

Галилей Галилео (1564–1642), итальянский ученый, один из основателей точного естествознания – 16: 355; 17: 75.

Гартман Эдуард (1842–1906), немецкий философ-идеалист – 16: 371; 17: 76, 95.

Гебель Иоганн Петер (1760–1826), немецкий писатель – 16: 14, 415.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ, создатель теории диалектики – 16: 11, 67, 301, 311, 315, 316.

Генрих IV (1553–1610), французский король с 1589 г. – 16: 21, 22, 416.

Геккель Эрнст (1834–1919), немецкий биолог-эволюционист – 17: 215, 267, 281.

– «Естественная история миротворения» – 17: 215, 281.

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894), немецкий физик, физиолог, психолог – 17: 26.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) – 16: 51, 317, 414, 422, 424, 441, 446; 17: 244.

«Гирлянда», журнал (Петербург, 1846–1860 гг.) – 16: 81.

Глебов Ив., рецензент журнала «Воспитание» – 16: 30, 58.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – 16: 81, 116; 17: 116, 267.

– «Мертвые души» («Кифа Мокиевич») – 17: 11, 16, 267.

Гомер – 16: 76, 83, 354, 355.

– «Илиада» – 16: 67.

Гордон, английский губернатор островов Фиджи – 16: 245.

«Грамотей» – журнал (Москва, 1861–1876 гг.) – 16: 81.

Гус Ян (1371–1415), национальный герой чешского народа, идеолог чешской Реформации – 17: 128, 268.

Давид, царь Израильско-иудейского государства (кон. XI в. – ок. 950 до н. э.) – 16: 106, 354, 358.

Даль Владимир Иванович (1801–1872), писатель и этнограф, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» – 16: 82, 423, 424.

– «Письмо к издателю А. И. Кошелеву» – 16: 82, 423, 424.

Дамян (Жозеф де Вестер, Damiens; 1840–1889), бельгийский священник, миссионер – 17: 163, 272.

Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения о происхождении видов – 16: 301, 323; 17: 214, 281.

Декарт Рене (1596–1650), французский философ-рационалист, физик, математик, физиолог – 16: 140, 315, 433.

Делянов Иван Давидович (1818–1897), государственный деятель, в 1882–1897 гг. министр народного просвещения, проводивший реакционные контрреформы – 17: 240.

Демидовы, уральские промышленники, владельцы горных рудников и заводов – 16: 227.

Дервизы, владельцы концессий на строительство железных дорог в России – 16: 227.

Державин Гаврила Романович (1743–1816) – 16: 81.

Джордж Генри (1839–1897), американский экономист, социолог и публицист – 16: 274, 442; 17: 262.

Дистервег Адольф (1790–1866), немецкий педагог-демократ, последователь Песталоцци – 16: 31, 416.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – 16: 334.

Дурново Иван Николаевич (1834–1903), государственный деятель, реакционер, в 1889–1895 гг. министр внутренних дел, в 1895–1903 гг. председатель Кабинета

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1
министров – 17:240, 256.

Дюма Александр (Дюма-отец; 1803–1870), французский писатель – 16: 10.

– «Граф Монте-Кристо» – 16: 22.

– «Три мушкетера» – 16: 22.

Екатерина II Алексеевна (1729–1796), российская императрица с 1762 г. – 16: 313, 328, 408, 446; 17: 223, 226.

Ергольская Татьяна Александровна (1792–1874), троюродная тетка и воспитательница Л. Н. Толстого – 16: 109, 430, 432.

«Журнал для детей» (Петербург, 1851–1865 гг.) – 16: 81.

«Звездочка», журнал для детей (Петербург, 1842–1865 гг.) – 16: 81.

Зимины, купцы, владельцы Ржанова дома – 16: 180.

Зороастр (Заратуштра, VII в. до н. э.), пророк и реформатор древнеиранской религии, получившей название зороастризм – 17: 25.

Иван IV Васильевич (Иоанн Грозный; 1530–1584), русский царь с 1547 г. – 17: 240.

Иван Федотыч, содержатель трактира в Ржановом доме – 16:183, 184, 188–190, 205, 206, 208.

Иванов Александр Петрович (1836–1912), отставной артиллерийский поручик – 16: 282, 436, 442.

Иоанн Златоуст (около 350–407), византийский церковный деятель, епископ Константинополя – 16: 158, 435.

Какабо, король островов Фиджи – 16: 240–244.

Кант Иммануил (Kant; 1724–1804), немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии – 16: 11, 13, 149, 150, 322, 434; 17: 8, 267.

– «Критика практического разума» – 17: 8, 267.

– «Критика чистого разума» – 16: 149, 434.

Кассиодор (ок. 487 – ок. 578), писатель, ученый и государственный деятель остготского государства – 16: 72, 422.

Кесарь Юлий – см. Цезарь Гай Юлий.

Колокольцев Григорий Аполлонович (род. в 1845 г.), офицер, знакомый Л. Н. Толстого – 17: 208–211, 213, 281.

Кольридж Сэмюэль Тейлор (Coleridge; 1772–1834), английский поэт-романтик, критик и философ – 17: 199, 207, 280.

Константин Великий (ок. 285–337), римский император с 306 г. – 16: 336, 443.

Конт Огюст (1798–1857), французский философ, один из основоположников позитивизма и буржуазной социологии – 16: 301, 320–323, 324; 17: 25.

Конфуций (ок. 551–479 до н. э.), древнекитайский мыслитель – 16: 9, 315, 350, 351, 354, 358; 17: 22, 23, 25, 26, 48, 253.

Коперник Николай (1473–1543), польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира – 17: 75.

Костомаров Николай Иванович (1817–1885), украинский и русский историк, этнограф, писатель и критик – 16: 49, 419.

Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921), государственный деятель, в 1896–1905 гг. сотрудник Министерства внутренних дел, после Октябрьской революции контрреволюционер, белоэмигрант – 17: 240.

Ксенофонт (ок. 430–355 или 354 до н. э.), древнегреческий писатель и историк – 16: 265.

Лао-цзы (Лаодзи; VI–V вв. до н. э.), древнекитайский философ – 16: 276; 17: 23, 25, 26, 75.

Лейбниц Гетфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед – 16: 315.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – 16: 432; 17: 116, 242, 268.

– «И скучно и грустно» – 16:118, 432; 17:79, 268.

Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик – 16: 315.

Лукулл Луций Лициний (ок. 117 – ок. 56 до н. э.), римский полководец и политический деятель, славившийся своим богатством – 16: 297.

Льюис Джордж Генри (1817–1878), английский журналист, литературный критик и философ-позитивист – 16: 43, 51.

Людовик XVI (1754–1793), французский король в 1774–1792 гг. – 16: 8, 415.

Лютер Мартин (1483–1546), немецкий мыслитель, основоположник протестантизма в Германии – 16: 7, 9, 43, 70–72.

М. Володенька – см. Милютин В. А.

Магомет (Мухаммед; ок. 570–632), основатель ислама – 16: 350; 17: 253.

Мазепа Иван Степанович (1644–1709), гетман Украины в 1687–1708 гг. – 16: 52.

Макарий Великий (301–391), богослов – 16: 158, 435.

Маколей Томас Бабингтон (1800–1859), английский историк, публицист и политический деятель – 16: 43, 76, 84, 423.

– «История Англии от восшествия на престол Якова II» – 16: 76, 77, 423.

Мальтус Томас Роберт (1766–1834), английский экономист, основатель антинаучной теории мальтузианства – 16: 76, 317–319, 323, 423; 17: 252.

Малюта Скуратов – см. Скуратов-Вельский Григорий Лукьянович.

Марков Евгений Львович (1835–1903), писатель, педагог, критик и этнограф – 16: 66–73, 76, 88–91, 95, 96, 415, 420.

– «Теория и практика яснополянской школы» – 16: 66, 415, 420.

Менений Агриппа (конец VI–V в. до н. э.), римский политический деятель – 16: 320.

Микеланджело Буонарроти(1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт – 16: 355.

Милютин Владимир Алексеевич (1826–1855), знакомый Л. Н. Толстого – 16: 106, 430.

ие сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stou1
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912), государственный и военный деятель,
военный министр в 1861–1881 гг. – 16: 430; 17: 212.

Молешотт Якоб (1822–1893), немецкий физиолог и философ, вульгарный материалист – 16:51.

Мольер (Жан Батист Поклен; 1622–1673), французский драматург, актер и театральный деятель – 16:116, 443.

– «Лекарь поневоле» (Сганарель) – 16: 371, 443.

Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905), московский фабрикант, меценат – 17:177, 182.

Морозовы, капиталисты, владельцы текстильных предприятий – 16: 227.

Муравьев Николай Валерьянович (1850–1908), судебный деятель, в 1894–1905 гг. министр юстиции – 17: 241.

Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793–1886), декабрист – 17: 172, 274.

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796–1826), декабрист – 17: 171, 172, 274.

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795–1862), попечитель Казанского учебного округа в 1829–1845 гг. – 16:106.

Мэн-цзы (Менций; ок. 372–289 до н. э.), древнекитайский философ, последователь Конфуция – 17:26.

Наполеон I (Наполеон Бонапарт; 1769–1821), французский император (1804–1814, март – июнь 1815) – 16: 76, 415, 422.

Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт; 1808–1873), французский император в 1852–1870 гг. – 16:76, 79, 422–423.

«Народное чтение», журнал (Петербург, 1858–1862 гг.) – 16: 81.

«Наше время», политическая и литературная газета (Москва, 1861–1863 гг.) – 16: 81.

Нерон Клавдий Цезарь (37–68), римский император с 54 г. – 16: 328.

Никита Иванович, обитатель Ржанова дома – 16: 184.

Николай I Павлович (1796–1855), российский император с 1825 г. – 16:409, 444;17:219–221, 223, 224, 226, 243, 281.

Николай II Александрович (1868–1918), российский император в 1894–1917 гг. – 17: 193–198, 233–236, 238, 240,277, 284, 285.

Ободовский Александр Григорьевич (1796–1852), педагог и писатель – 16: 44, 419.

– «Учебная книга всеобщей географии» – 16: 44, 419.

Огарев Николай Платонович (1813–1877) – 16: 51, 414.

«Орел», журнал (Петербург, 1859 г.) – 16: 81.

Оттон I Баварский (1815–1867), король Греции в 1832–1862 гг. – 16: 79, 86, 423.

Павел I Петрович (1754–1801), российский император с 1796 г. – 17: 223.

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784–1865), английский государственный деятель, в 1855–1865 гг. премьер-министр – 16: 79, 86, 423.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1
Пармен Ермилыч, староста – 17:173.

Паскаль Блез (Pascal; 1623–1662), французский религиозный философ, писатель, математик и физик – 17:7, 31, 116, 267.

Пеллико Сильвио (1789–1854), итальянский писатель, карбонарий – 17: 101, 268.

Песталоцци Иоганн Генрих (1746–1827), швейцарский педагог-демократ – 16: 12, 17, 70.

Петр I Алексеевич (1672–1725), русский царь с 1682 г., российский император с 1721 г. – 16: 409.

Петр III Федорович (1728–1762), российский император с 1761 г. – 17:223, 224, 226, 240.

Петр, солдат – 16: 169.

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) – 16: 51, 421.

Платон (428 или 427–348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ – 16: 12, 13, 265, 433; 17: 103, 128.

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), реакционный государственный деятель, в 1880–1905 гг. обер-прокурор синода – 16: 437; 17: 241, 278.

Птолемей Клавдий (Птоломей; ок. 90 – ок. 160), древнегреческий ученый – 17: 75, 268.

Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742–1775), предводитель крестьянской войны 1773–1775 гг. в России – 16: 328.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – 16: 81, 116, 334, 414.

– «Борис Годунов» – 16: 81.

Раевский Иван Иванович (1835–1891), помещик Рязанской губернии, приятель Л. Н. Толстого – 17: 169, 228–232, 273, 283.

Рафаэль Санти (1483–1520) – итальянский живописец и архитектор – 16: 76.

Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892), французский писатель, историк религии, философ – 16: 391.

Ржаное, купец – 16: 180, 442.

Рихтер Оттон Борисович (1830–1908), генерал-адъютант, заведующий делами комиссии по принятию прошений и жалоб, передаваемых на высочайшее имя – 17: 241.

Робинзон, английский губернатор островов Фиджи – 16: 244, 245.

«Русские ведомости», политическая и литературная газета (Москва, 1863–1918 гг.) – 17: 177, 181, 182, 257, 269, 275–276.

«Русский вестник», литературный и политический журнал (Москва, 1856–1906 гг.), в 1856–1887 гг. – изд. М. Н. Катков – 16: 29, 66, 68, 81, 88, 89, 415, 420; 17:269.

«Русский мир», общественно-политическая и литературная газета (Петербург, 1859–1863 гг.) – 16:81.

«Русское слово», общественно-политический и литературно-художественный журнал (Петербург, 1859–1866 гг.) – 16: 81.

Руссо Жан-Жак (1712–1778), французский философ-просветитель, писатель – 16: 12, 13, 70–72, 315, 429; 17: 245.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Рюрик (IX в.), варяг, по русским летописным преданиям, один из основателей
русской княжеской династии – 16: 342.

Саккиа-Муни – см. Будда.

Семен, владимирский крестьянин – 16: 169, 225, 226, 230.

Сережа, ученик сапожника – 16: 197–199, 218.

Скайлер Евгений (1840–1890), американский дипломат, писатель и переводчик, автор статей о Л. Н. Толстом – 16: 389, 444.

Скуратов-Бельский Григорий Лукъянович (Малюта Скуратов;? – 1573), один из руководителей опричнины Ивана IV Грозного, активный организатор опричного террора – 17: 240.

«Современная летопись», воскресное приложение к газете «Московские ведомости» (1863–1871 гг.) – 16: 81.

Соколова Зинаида Сергеевна (Алексеева; 1865–1920), режиссер, педагог – 17: 177, 275.

«Современник», литературный и общественно-политический журнал, основанный в Петербурге в 1836 г. А. С. Пушкиным, в 1847–1866 гг. издавался Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым – 16: 29, 81, 413, 414, 417, 424, 430, 431.

«Современное слово», газета (Петербург, 1862 г.) – 16: 81.

Соколов Дмитрий Павлович, протоиерей – 16: 334, 443.

Сократ (470 или 469–399 до н. э.), древнегреческий философ – 16: 83, 128, 132, 276, 315, 350, 354, 433; 17: 111, 253.

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк – 16: 81, 423.

– «История России с древнейших времен» – 16: 81, 423.

Соломон (ум. ок. 928 до н. э.), царь Израильско-Иудейского царства в 965–928 до н. э. – 16: 128–130, 132, 133, 135, 137, 140, 143, 145, 146, 354, 433; 17: 75, 77.

Солон (между 640 и 635 – ок. 559 до н. э.), афинский политический деятель – 16: 354.

Спенсер Герберт (1820–1903), английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма – 16: 325, 328, 443; 17: 26.

– «Социальная статика» – 16: 325, 326, 443.

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677), нидерландский философ-материалист, атеист – 16: 315.

Спиридон Иванович, обитатель Ржанова дома – 16: 206.

Станкевич Николай Владимирович (1813–1840), общественный деятель, философ, поэт – 16: 317.

Стасюлевич Александр Матвеевич (ок. 1830–1867), знакомый Л. Н. Толстого – 17: 208, 209, 211, 281.

Сютаев Василий Кириллович (1819–1892), крестьянин, философ-самоучка – 16: 197, 217, 218, 222, 371, 426, 442; 17: 252.

Таннер, врач – 17: 152.

Толстая Александра Андреевна (1817–1904), двоюродная тетка Л. Н. Толстого,
Страница 143

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy
камер-фрейлина – 16: 416; 17: 211–213.

Толстая Мария Николаевна (1830–1912), сестра л. н. Толстого – 16: 217, 442.

Толстая Софья Андреевна (рожд. Берс; 1844–1919), 16: 115, 119, 175, 420, 427, 434, 437; 17: 208, 250, 267, 271, 272, 279, 283.

Толстая Софья Николаевна (рожд. Философова; 1867–1934), жена и. л. Толстого – 17: 177, 276.

Толстой Илья Львович (1866–1933), сын л. н. Толстого – 17: 177, 190, 276.

Толстой Николай Николаевич (1823–1860), брат л. н. Толстого – 16: 113, 412, 430–432; 17: 107–109, 246.

Толстой Сергей Николаевич (с.; 1826–1904), брат л. н. Толстого – 16: 108, 430.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – 16: 81, 334, 428, 445; 17: 178.

Фейербах Людвиг (1804–1872) – немецкий философ-материалист и атеист – 16: 51.

Фидий (Фидиас, V в. до н. э.), древнегреческий скульптор – 16: 76.

Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 1783–1867), митрополит московский – 16: 81, 334, 443.

– «Катехизис православной веры» – 16: 334, 443.

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814), немецкий философ-идеалист – 16: 11, 315.

Фома Аквинский (1225 или 1226–1274), философ и теолог – 16: 72.

Фребель Фридрих (1782–1852), немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания – 16: 12.

Фридрих II (1712–1786), прусский король с 1740 г., полководец – 16: 7, 313, 415.

Цезарь Гай Юлий (102 или 100 – 44 до н. э.), римский государственный и политический деятель, полководец и писатель – 16: 21, 22, 416.

Цицерон Марк Туллий (106 – 43 до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель – 16: 10.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – 16: 51, 413, 414; 17: 247.

Чингисхан (ок. 1155–1227), основатель монгольской империи, организатор завоевательных походов против народов Азии и Восточной Европы – 16: 328.

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904), историк, публицист, философ-идеалист – 16: 49, 419.

Шабунин Василий (Шибунин), рядовой 65-го Московского пехотного полка – 17: 208–213, 216, 280, 281.

Шекспир Вильям (1564–1616) – 16: 72, 116.

– «Гамлет» – 16: 72.

Шенье Андре Мари (1762–1794), французский поэт и публицист – 17: 116.

Шиллер Иоганн Кристофор Фридрих (1759–1805) – 16: 71, 422.

– «Разбойники» (Карл Моор) – 16: 70, 422.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
Шиль Софья Николаевна, писательница – 17: 182.

Шлейермахер Фридрих (1768–1834), немецкий протестантский теолог и философ – 16: 12.

Шопенгауэр Артур (1788–1860), немецкий философ-идеалист – 16: 128, 129, 132, 133, 135–137, 140, 143, 145, 150, 315, 370, 433, 434; 17: 76, 95.

Штиглицы, владельцы банков и текстильных фабрик в России – 16: 227.

Шуман Роберт (1810–1856), немецкий композитор – 16: 295.

Эпиктет (ок. 50 – ок. 138), римский философ-стоик – 16: 315; 17: 26.

Юнге Екатерина Федоровна (рожд. Толстая; 1843–1913), художница, троюродная сестра Л. Н. Толстого – 17: 182.

Юноша, командир 65-го Московского пехотного полка – 17: 208, 209, 211, 213.

Юсуповы, княжеский род в России XVI – нач. XX в. – 16: 227.

Янжул Иван Иванович (1846–1914), русский экономист и статистик – 16: 240, 424, 442.

– «Влияние финансовых учреждений на экономическое положение первобытных народов» – 16: 240, 442.

«Ясная Поляна», журнал, издавался в 1862 г. Л. Н. Толстым – 16: 29, 30, 34, 35, 48, 59, 66, 68, 70, 80, 412–416, 418, 420, 421.

«Daily News», английская газета – 17: 236.

Mihangoу, m-me, содержательница модного ателье – 16: 288.

«Times», английская газета – 17:236.

Примечания

1

Человек не что иное, как тростник, очень слабый по природе, но этот тростник мыслит. Незачем целой вселенной ополчаться, чтобы его раздавить. Пара, капли воды достаточно, чтобы его умертвить. Но если бы даже вселенная раздавила его, человек был бы еще более благороден, чем то, что его убивает, потому что он знает, что он умирает; а вселенная ничего не знает о том преимуществе, которое она имеет над ним. Итак, все наше достоинство состоит в мысли. В этом отношении мы должны возвышать себя, а не в отношении к пространству и времени, которое мы не сумели бы наполнить. Постараемся же научиться хорошо мыслить: вот принцип нравственности. Паскаль.

2

Две вещи наполняют душу постоянно новым и возрастающим удивлением и благоговением и тем больше, чем чаще и внимательнее занимается ими размышление: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. То и другое, как бы покрытые мраком или бездною, находящиеся вне моего горизонта, я не должен исследовать, а только предполагать; я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования. Первое начинается с того пункта, какой занимаю я во внешнем чувственном мире, и расширяет связь, в которой нахожусь я, в неизмеримую величину в сравнении с мирами миров и с системами систем и сверх того расширяет свое периодическое движение, его начало и продолжение в беспредельные времена. Второе начинается с моего невидимого «я», с моей личности и изображает меня в мире, который имеет истинную бесконечность и постигается только рассудком, и с которым, а через него и со всеми другими видимыми мирами, я познаю себя не только в случайной, как там, но во всеобщей и необходимой связи.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
кант. [Критика практического разума. Заключение.]

3

Единство разумного смысла определений жизни других просветителей человечества не представляется им лучшим доказательством истинности их учения, так как оно подрывает доверие к тем неразумным лжетолкованиям, которыми они заменяют сущность учения. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

4

Наука настоящая, знающая свое место и потому свой предмет, скромная и потому могущественная, никогда не говорила и не говорит этого. Наука физики говорит о законах и отношениях сил, не задаваясь вопросом о том, что есть сила, и не пытаясь объяснять сущность силы. Наука химии говорит об отношениях вещества, не задаваясь вопросом о том, что есть вещество, и не пытаясь определять его сущности. Наука биологии говорит о формах жизни, не задаваясь вопросом о том, что есть жизнь, и не пытаясь определять ее сущности. И сила, и вещество, и жизнь принимаются истинными науками не как предметы изучения, а как взятые за аксиомы из другой области знания точки опоры, на которых строится здание каждой отдельной науки. Так смотрит на предмет истинная наука, и эта наука не может иметь вредного, обращающего к невежеству, влияния на толпу. Но не так смотрит на свой предмет ложное мудрствование науки. «И вещество, и силу, и жизнь мы изучаем; а если мы изучаем их, то мы можем и познать их», говорят они, не соображая того, что они изучают не вещество, не силу, не жизнь, а только отношения и формы их. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

5

См. прибавление первое в конце книги: О ложном определении жизни. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

6

См. 2-е прибавление. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

7

См. 3-е прибавление в конце книги. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

8

Нет ничего обыкновеннее, как слышать рассуждения о зарождении и развитии жизни человеческой и жизни вообще во времени. Людям, рассуждающим так, кажется, что они стоят на самой твердой почве действительности, а между тем нет ничего фантастичнее рассуждения о развитии жизни во времени. Рассуждения эти подобны тому, что бы делал человек, который, желая измерять линию, не откладывал бы меру от той одной известной ему точки, на которой он стоит, а на бесконечной линии брал бы на различных от себя неопределенных расстояниях воображаемые точки и от них бы измерял пространство до себя. Разве не то же самое делают люди, рассуждая о зарождении и развитии жизни в человеке? В самом деле, где взять на этой бесконечной линии, каковою представляется развитие – из прошедшего – жизни человека, ту произвольную точку, с которой можно начать фантастическую историю развития этой жизни? В рождении или зарождении ребенка, или его родителей, или еще дальше в первобытном животном и протоплазме, в первом оторвавшемся от солнца куске? Ведь все рассуждения эти будут самые произвольные фантазии – измерения без меры. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

9

заколдованном кругу (фр.).

10

трудности там, где их нет (фр. – дословно; полдень в два часа).

11
возвратить награбленное, захваченное (фр.).

12
И почему именно этот глупый, дикий прием причинения боли, а не какой-нибудь другой: колоть иголками плечи или какое-либо другое место тела, сжимать в тиски руки или ноги или еще что-нибудь подобное? (Примеч. Л. Н. Толстого.)

13
Нам удалось купить на Юго-Восточной железной дороге 2 вагона муки по 75 коп., когда она была по 90 к. в нашем месте, и мука оказалась так необыкновенно хороша, что ею не нахвалятся и бабы, ставящие хлебы, так она в меске хороша, и столующиеся говорят, что хлеб из нее выходит пряник. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

14
Перевод см. в тексте статьи, с. 207.

15
Стоит только почитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидеть, что все эти обряды не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай, нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов; для того, чтобы родильница перестала быть нечистой, нужно произнести известные заклинания; чтобы был успех в деле или спокойное житье в новом доме, для того, чтобы хорошо родился хлеб, прекратилась засуха, для того, чтобы путешествие было благополучно, для того, чтобы излечиться от болезни, для того, чтобы облегчилось положение умершего на том свете, для всего этого и тысячи других обстоятельств есть известные заклинания, которые в известном месте и за известные приношения произносит священник. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

16
Речь Амвросия, епископа харьковского. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

17
стыдливость (фр.).

18
В рукописи далее написано: (Вписать речь). Воспроизводим эту речь по тексту газеты «Утро России» от 1 июня 1917 г. (№ 134).

19
Будь посредственным и раболепным и достигнешь всего (фр.).

20
Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 46, с. 102. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

21
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 39–40.

22
Жандармов.

23

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy
А. Фет. Мои воспоминания, ч. II. М., 1890, с. 170.

24

«Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., 1914, с. 230.

25

В. Ф. Асмус. Религиозно-философские трактаты Л. Н. Толстого. – Предисловие к кн.: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 23, с. IX–X.

26

С. А. Толстая. Моя жизнь, ч. III, с. 653 (Отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого).

27

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 91. Выражения «озлобление спора», употребленное Лениным в этой статье, взято как раз из «Исповеди».

28

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 101.

29

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 278.

30

А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма, т. 4. М., 1976, с. 322–323.

31

А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма, т. 4. М., 1976, с. 317.

32

М. Б. Храпченко. Лев Толстой как художник. М., 1978, с. 225–226.

33

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, с. 313.

34

Там же, т. 17, с. 39–40.

35

Там же, т. 26, с. 107.

36

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 213.

37

Там же, т. 20, с. 103.

38

Книга более десяти печатных листов освобождалась от предварительной цензуры.

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой to1stoy1
39

В указатель вошли имена и названия, встречающиеся в тексте и комментариях. Имена и названия, встречающиеся только в комментариях, в указатель не внесены. Ссылки на страницы комментариев набраны курсивом. Указатель составил А. Голубовский.

Комментарии

1

Pascal. – Выдержка взята из книги Блез Паскаля «Мысли» («Pensées»), которая, по признанию Толстого, произвела на него «огромное» впечатление в возрасте «с 50-ти до 63-х лет» (т. 66, с. 68). Впоследствии этот же фрагмент Толстой включил в «Круг чтения» – в переводе П. Д. Первова: Блез Паскаль. Мысли. СПб., 1888, с. 47.

2

Kant. – Книгу Иммануила Канта «Критика практического разума» Толстой прочел впервые (по-немецки) во время работы над трактатом «О жизни» и отзывался о ней восторженно в письмах к своим тогдашним друзьям (П. И. Бирюкову, Н. Я. Гроту, Н. Н. Страхову): «Это венец всей его глубокой разумной деятельности, и это-то никому неизвестно» (т. 64, с. 102). Открытием для Толстого стало то, что главное в учении Канта – не отрицание, но утверждение нравственных истин. Выдержка взята из «Заключения» книги Канта. Перевод дается по современному Толстому изданию: «Критика практического разума и основоположение к метафизике нравов Иммануила Канта». Полный перевод с примечаниями и приложением краткого очерка практической философии. Сост. Н. Смирнов, СПб., 1879, с. 190.

3

...Кифы Мокиевича. – Имеется в виду персонаж «Мертвых душ» Гоголя.

4

...монерой. – Так называл немецкий естествоиспытатель, дарвинист Эрнст Геккель простейшие одноклеточные организмы, без ядра.

5

...Птолommeевы круги. – По учению древнегреческого астронома Птолommeя, в центре вселенной находится неподвижная Земля, а звезды, Солнце, Луна и другие планеты располагаются на кругах небесной сферы.

6

...Любить... но кого же? – Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно».

7

...понял Сильвио Пеллико своего отдельного паука. – Итальянский поэт С. Пеллико, участвовавший в борьбе за объединение Италии и освобождение ее из-под власти Австрии, долгие годы провел в тюрьме. Он был арестован в Милане, где издавал запрещенный австрийской цензурой журнал. Толстой высоко ценил мемуары Пеллико «Мои темницы» и в 1887 г. предлагал В. Г. Черткову издать их в «Посреднике». Позднее в «Круге чтения» помещено рассуждение о «жалости» к животным: «как Сильвио Пеллико к пауку» (т. 42, с. 306).

8

...о Гусе, певшем на костре... – Ян Гус, идеолог чешской Реформации, был осужден церковным собором как еретик и в 1415 г. сожжен на костре. Он был вдохновителем народного движения в Чехии против немецкого засилья и католической церкви, открыто протестовал против индульгенций (отпущения грехов за плату), ратовал за правду и уравнение в правах мирян с духовенством.

9

...кшатрием и париём. – Индийское общество строго разделялось по кастам. Кшатрии – высшая военная знать; парии – бесправные угнетенные люди.

10

...умер Damien у прокаженных. – Бельгийский миссионер Дамиан умер в 1889 г. (в 49-летнем возрасте) на Гавайских островах, где он поселился среди прокаженных.

11

...различные Закхеи... – По евангельской легенде, сборщик податей Закхей обещал вчетверо воздать всем, кого он обидел при сборе пошлин.

12

...от моего приятеля, земского деятеля... – Речь идет об И. И. Раевском, имение которого в селе Бегичевка Рязанской губернии стало центром помощи голодающим. См. в наст. томе статью «Памяти И. И. Раевского».

13

...брат Сергея Ивановича, Матвей Иванович... – С. И. Муравьев-Апостол был казнен 13 июня 1826 г. Его брат, декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол, был приговорен к каторге, а затем к ссылке в Сибирь. С 1860 г. жил в Москве, где 9 февраля 1878 г. с ним встречался Толстой, возобновивший в ту пору работу над романом «Декабристы».

14

...письмо от г-жи Соколовой. – Письмо З. С. Соколовой (сестры К. С. Станиславского) было адресовано артистке Малого театра Е. Н. Полянской, которая и переслала его Толстому. 4 февраля 1898 г. Толстой отправил письмо в «Русские ведомости», сопроводив своим обращением к редактору. Там он писал: «...положение большинства нашего крестьянства таково, что очень трудно иногда бывает провести черту между тем, что можно назвать голодом, и нормальным состоянием, и что та помощь, которая особенно нужна в нынешнем году, была также нужна, хотя и в меньшей степени, и в прошлом, и во всякое время» (т. 71, с. 270). Опубликовано в газете 8 февраля.

15

...моему сыну и его жене... – И. Л. и С. Н. Толстым.

16

...всеобщая же перепись... – Производилась в 1897 г.

17

...правила усиленной охраны. – 29 июля 1899 г. в России были введены «Временные правила», предусматривающие наказания за общественные волнения и неповиновение властям.

18

Эпиграфом к статье послужило изречение английского поэта и моралиста С.-Т. Кольриджа.

19

...критически разобрал догматическое богословие... – Книга Толстого «Исследование догматического богословия», над которой он работал в 1879–1882 годах, называлась первоначально «Критика догматического богословия».

20

...написал в завещании... – Завещание было написано в дневнике 27 марта 1895 г. (т. 53, с. 14–15).

ние сочинений в 22 томах. Том 17. Избранные публицистические статьи. Лев Николаевич Толстой tolstoy1

21

...антиминсы... – Антиминс – церковная принадлежность: плат из льняной или шелковой материи с изображением Христа.

22

...расположенном в нашем соседстве. – 65-й Московский пехотный полк, где служил Г. А. Колокольцев, располагался в деревне Новая Колпна, недалеко от Ясной Поляны.

23

...отданным в солдаты... А. М. Стасюлевичем. – Толстой познакомился с А. М. Стасюлевичем в 1853 г. на Кавказе. Стасюлевич был разжалован в рядовые за то, что в его дежурство из тифлисской тюрьмы бежало несколько арестантов.

24

...о помиловании Шибунина. – фамилия расстрелянного писаря – Шабунин. Сохранилось подлинное «военно-судное дело» Шабунина (Военно-исторический архив, Москва. См.: Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957, с. 658).

25

...в рассказе о женщине, подлежащей избиению камнями. – Евангельская легенда.

26

...почувствовал это в Париже... – Толстой видел казнь гильотиной 6 апреля 1857 г. Казнен был повар франсуа Рише, совершивший два убийства с целью ограбления.

27

...Эрнст Геккель в своем знаменитом сочинении... – Книга Геккеля «Naturliche Schopfungsgeschichte», вышедшая в Берлине в 1868 г., к 1879 г. выдержала семь изданий. В России сочинения немецкого последователя Дарвина были популярны в 60-70-е годы.

28

Мне было под 30 лет... встретились, – вероятно, встреча произошла в Туле: сестра жены Раевского была замужем за тульским губернатором.

29 ...славянофилы проповедовали самодержавие... нераздельно с земским собором... – Русские славянофилы предлагали созыв Земского собора, избранного из всех слоев населения, как совещательного органа при царе.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://tolstoyleo.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!